

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: О. Н. Вялкова

6/2018

Содержание

ПРОЗА

- Геннадий БАШКУЕВ. Чемодан из Хайлара.**
Роман с одушевленными предметами. *Окончание.* 3
- Екатерина БЛЫНСКАЯ. Змий огнярь.** Повесть. 60
- Елена ЛОБАНОВА. Женщина в платье «коктейль».** Рассказ. 115

ПОЭЗИЯ

- Валентин НЕРВИН. В кинотеатре повторного фильма.** Стихи. 56
- Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Ночные радиостанции.** Стихи. 109
- Марина НЕМАРСКАЯ. Сергород.** Стихи. 127

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Юрий МАГАЛИФ. «Я все это видел и все это знаю...»** Стихи. 129
- Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Юрий Магалиф:**
писатель градообразующий. 135

ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР

- «Кузнецкая крепость» (Новокузнецк)*
- Татьяна ВЫСОЦКАЯ. Памятник Маяковскому:**
люди, судьбы, эпоха. 140
- «Огни над Бией» (Бийск)*
- Алексей АРГУНОВ. Советский рок как социальное явление.** 149

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Михаил ХЛЕБНИКОВ. «Не бойтесь хвалы, не бойтесь хулы...»** ... 154

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Сергей КУНЯЕВ. Русский беркут. Главы из книги. Окончание.** 166

Из почты «Сибирских огней»

- Сергей ВЛАДИМИРОВ. День Сибири: забытый праздник.** 183

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Тамара ДРАНИЦА. Анатолий Аносов.** 188

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Шукин.

Геннадий БАШКУЕВ

ЧЕМОДАН ИЗ ХАЙЛАРА

*Роман с одушевленными предметами**

Карандаш Всероссийского театрального общества

Огрызок 1

Мы потеряли маму.

Она и в жизни была худенькой, а после жизни и подавно.

— У нас тела идут под номерами и где попало не валяются, молодой человек. Это госучреждение! — прожевав, изрекла цветущая дама в грязно-сиреновом халате, дохнув жареной рыбой.

И пальцами с облезлым маникюром вынула изо рта толстую, со спичку, косточку.

— Да куды она денется? Пожрать не дадут... Вы ж видите, мест нет.

В мертвенном неоновом свете на оцинкованных столах покоилось с десяток тел. Свет был неровный, дрожащий. Одни тела казались серовато-белыми, другие землистыми, но все с почерневшими носами. Хотелось их прикрыть. Ближе ко мне, вытянув руки по стойке «смирно» (какая стойка, о чем я?), лежал старик с гигантскими ступнями и давно не стриженными квадратными ногтями. Волосы на лобке были седыми. Говорят, у покойников они продолжают расти. Ногти тоже. Мужчины были сплошь небритыми. Через стол располагалась женщина, нестарая, судя по приличному, не то что у некоторых живущих жующих, маникюру. Рука выглядывала из-под рваной простыни. Большинству повезло меньше — так и маялись в чем мать родила...

Мамы среди них не было. Как и в других четырех боксах, здесь находились тела, подлежащие выдаче. Не было ее и в коридоре, где покойники жались к свинцовым стенам на узких высоких столах. Пахло затхлым, неживым. Это формалин, шепнул дядя Костя. Тем витальней воняло жареной рыбой, клянусь — хеком. А его надо уметь готовить. Пожарить — опошлить идею. То ли дело хек в морковном маринаде, который делала мама...

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 4, 5.



В морг мы попали в обед. Нас и пускать не хотели. Но дядя Костя, высокий, в очках, в прошлом директор краеведческого музея, крикнул в дверное окошко, что пожалуется Клавдии Нимаевне.

Дверь тоже была оцинкованной, видать, в предыдущей жизни служила покойнику столом. Плача несмазанными петлями, она нехотя раскрывалась.

Санитарка одной рукой держала разделочную доску с крупно порезанными кубиками картошки, другой взяла справку. Из-за ее спины доносились веселые голоса, где-то шумела вода, свистел чайник. Справку вернули — на ней остались следы мокрых пальцев.

Санитарка кивнула в сторону приоткрытой двери:

— Там она, кажись...

Мест и в самом деле не было. Тела походили на бутафорские. Театр теней какой-то. Или неоновый свет тому виной? Лица служителей напоминали маски. Предбанник рая. Или первый круг ада. Хотя это же мама! Святой человек.

От сложных запахов подташнивало.

Старшая санитарка в сиреновом халате сверила справку с записями в амбарной книге:

— Утром же была...

Я хотел крикнуть в сытое жующее лицо с пухлыми сальными губами нечто дерзкое. Но вздрогнул.

— Мама! — пропищали под боком.

Вдоль оцинкованного стола, задев косичками огромные ступни мертвого старика, в бокс протиснулась девочка с ученической тетрадкой.

— Мам, нам задачу задали... Сколько будет перевезти из пункта А в пункт Б семь тонн баклажанов в килограммах?

— Какие баклажаны, доча?.. Тут человека перевезти надо! — Санитарка снова пролистнула амбарную книгу.

В общем, мама моя напоследок задала задачку. На засыпку. На два метра в глубину. Даже не задачу — розыгрыш, театральный этюд. Все же служила в театре.

В детстве у нас с мамой была любимая игра — прятки. Я прятался ненаходчиво, обычно в платяном шкафу, впопыхах оставляя тапочки на полу. А мама ходила вокруг шкафа и тапочек и громко удивлялась, куда это, интересно, мог подеваться сынок, никто его не видел, а? А я, дурачок, с колотящимся сердцем сидел на корточках в темноте, в полах отцовского реглана, задыхаясь от смеси запаха нафталина и кожи, восторга и предвкушения грядущего торжества. Сама мама в наших хрущобах умудрялась прятаться так, что мы ее, бывало, искали вместе со старшей сводной сестрой. Однажды мама укрылась за занавеской в ванной, держа поверх нее головку душа. В другой раз надела пальто, надвинула на лицо отцовскую шляпу и притулилась к вешалке, где хранились зимние вещи. В третий раз вообще легла вдоль плинтуса, накрывшись свежесбитым во дворе ковром, а голову замаскировала ажурной пластмассовой колодушкой.



У плитуса морга, возле самой двери, распластанную на носилках, маму и нашли. Она накрылась... прости, Господи, неразумного нехристя — конечно, ее накрыли! — какой-то рваниной. То ли простыней, то ли халатом — в тон грязно-серым стенам и вытертому линолеуму. К стене была прислонена метла, деревянная лопата для уборки снега, а сбоку — огромные валенки общего пользования. Злого умысла не было: мама усохла — носилки с тряпками казались пустыми. Она так мастерски изобразила свое отсутствие, сыграв со смертью в прятки, а метла и лопата стали реквизитом последних выездных гастролей.

Когда занавес дерзко сорвали, я увидел родного человека во всей беззащитности: желтое, даже оранжевое, сплющенное тельце подростка, курага грудей, искривленные артритом ножки с косточкой на левой ступне, изуродованные бесконечной стиркой и готовкой клешни кистей, седой лобок... Боже, каким чудом я выполз из этого тельца?!

Очнулся от сильного толчка в плечо.

— На-ка, держи.

Оказывается, я стоял на коленях. Дядя Костя подал мне водки в железной кружке. Санитарка держала дольку жареного хека на вилке.

Я отказался ехать в стареньком дяди-Костином «москвиче» и забрался в кузов бортового «зилка», куда погрузили тело мамы — твердое, несгибаемое, завернутое в ковер. Водитель торопился: мы опаздывали на вынос; машину трясло, и почти всю дорогу я простоял на коленях, придерживая маму за ноги. Старый, прожженный с краю ковер (раньше он висел на стене гостиной) был коротковат. Из-под него выглядывали стылые, словно жестяные, ступни. Их я обул в брезентовые строительные верхонки, валявшиеся в кузове. Мне почему-то казалось, что маме холодно, хотя, конечно, ей было уже все равно. В детстве она мне твердила, что всякая простуда, особенно ангина, идет от ног, без конца вырезала стельки, вязала шерстяные носки, примеряла их на себе (у нас был один размер) и жмурилась от счастья: «Ноги смеются!» В кузове я пытался натянуть на голые, совсем синие ноги шерстяные варежки, но они не лезли из-за косточек, торчавших сбоку, будто шестые пальцы. Зато верхонки, измазанные в цементном растворе, пришлось маме впору.

Ноги смеются, твердил я, удерживая прямое, как палка, тело. На поворотах непокрытая голова гулко, бильярдным шаром стучалась о борт, я что-то возмущенно кричал поперек декабрьского ветра, рискуя заработать ангину. Наверное, что ноги не умеют смеяться.

Гроб ждал маму дома. А в грузовике ее завернули именно в тот ковер, под которым она пряталась от меня маленького... Прятки в театре теней.

— А кто такая Клавдия Нимаевна? — спросил я у дяди Кости по прибытии в пункт Б.

Авось могущественное имечко пригодится на кладбище и в столовой на поминках.

— Куратор из министерства. Да ты не бери в голову. Ее года два как в живых нет.

Театр никак не кончался, туды его в качель.



На память о театре, который в судьбе мамы да и нашего рода сыграл первую скрипку, остался угольный карандаш производства ВТО — Всероссийского театрального общества. Им артистка Валентина Мантосова подводила глаза в тесной гримерке второго состава перед выходом на сцену. Ни афиш, ни театральных масок, ни программ с автографами — остался лишь карандаш, да и то огрызок с полмизинца сопливого мальчика, каковым я был в те годы, когда, уцепившись за подол мамино-го пальто, шнырял в служебный вход театра оперы и балета. Уже начав бриться, по жизни не мог избавиться от ощущения ненатуральности, театральной происходящего вокруг, словно в захудалой постановке на пыльной провинциальной сцене (менялись только декорации). Даже когда этой жизни угрожала опасность. Остались обрывки, огрызки воспоминаний.

Огрызок 2

Предлагаемые обстоятельства далеки от театральных. Трагедия и комедия. Драма кукол. Опера, небезынтересная операм.

Для пролога — о театре военных действий.

Первым сценическим гримом мамы стала хайларская грязь. К середине тридцатых жители маньчжурского городка вполне свыклись с японской солдатней. Она была везде: на базаре, на улице, на крыльце дома с красным фонарем, на вокзале, в дацане и церкви. По одному, повзводно и в составе патруля. Пехотинцы могли среди бела дня обмочить забор, расставив ноги в обмотках, а ночью ворваться в дом. Все это делалось нарочито шумно — чтобы показать, кто теперь на севере Китая хозяин.

Тем разительней стало появление летом засушливого 1934 года «других японцев», как их сразу обозвали в Хайларе, хотя они как раз старались не привлекать внимания. В то лето Валя перешла в седьмой класс советской школы КВЖД второй ступени и хорошо запомнила, что в классах, на рынке и на улице, словом, повсюду в Старом и Новом городе, только и говорили — вполголоса — о странных японских военных.

Во-первых, они расположились отдельно от остальной рати — не в городе, а в голой степи, где споро возвели сборно-щитовые строения, похожие на большие сараи, и обнесли их колючей проволокой. Однако флага на крыше не вывесили. Хотя соратники делали это по малейшему поводу и водрузили полотнище с солнцем даже над домом с красным фонарем, где жили веселые бездетные девицы. Рядовые нового отряда не справляли нужду посреди улицы, не кричали, не плевались, не напивались, не хватали женщин и никого не резали. А многие их командиры носили смешные круглые очки, сквозь которые пристально разглядывали товары на рынке, будь то пучок морковки, кочан капусты или живность. Перед тем как взять в руки нечто съедобное, офицеры надевали белые перчатки!

«Другие японцы» отличались необычайной чистоплотностью. Подворотнички их мундиров были на диво чисты, а сапоги вызывающе блестящие на непролазных улицах Хайлара и в ненастный день будто отражали грязь. Девочка Валя, моя мама, видела, как офицер из загородного



отряда покупал живую курицу. Он протер очки платочком, надел белые перчатки, ловко ухватил курицу за связанные лапки, с брезгливой миной оглядел ее, поднял крыло. Птица притихла. Потом офицер снял перчатки, щелкнул пальцами — из-за погона с двумя звездочками выглянул солдат с флаконом и тряпочкой. Запахло чем-то знакомым — спиртом, сообщила Валя, — так раз в месяц, в зарплатные дни мастерских КВЖД, пованивал аба Иста. Командир намочил марлю, протер ею пальцы и правую кисть. Кудахчущую курицу забрал солдат. Офицер расплатился, сел в автофургон и упылил. У них был автомобиль!

Еще одна странность. Эти японцы никогда не торговались, вежливо расплачивались, в то время как прочие представители экспедиционного корпуса норовили отобрать товар. Автомобили в Хайларе видели и раньше, но редко. Иногда в Новом городе чадил советский грузовичок, за ним бежала детвора и собаки. С началом японского вторжения колесных машин в городе стало больше, правда, ненамного — пушки таскали упряжки лошадей. Зато у загородных построек без флага стояли автофуры, рассказывал с горящими глазами брат Вали Мантык, который пас коров у реки и там же в свободные часы играл с мальчишками.

Однажды в небе над Хайларом закружил самолет. Однако увидеть его вблизи, как ни хотелось Мантыку с друзьями, не удалось. В степи выросла цепь пехотинцев с примкнутыми штыками. Самолет приземлился за городом, подрулил к сараям, напрямик к воротам, обвитым колючей проволокой. Из самолета выгрузили большие ящики. И стальной ястреб, сверкая в лучах полуденного солнца, улетел за горизонт.

К концу лета хайларские мальчишки пришли в необычайное возбуждение. Любимым их развлечением была ловля сурков-тарбаганов и полевых мышей. Мать ругала Мантыка, что тот мало помогает в доме, не готовится к школе, а, улучив минутку, бежит с силками за город, где его ждут друзья.

Вдруг выяснилось, что развлечение может стать серьезным занятием. Вечером Мантык принес домой японские иены, кучку бумажек. Хозяйка перепугалась. А когда глава семейства схватил вожжи, Мантык, размазывая сопли, поклялся, что не обворовывал пьяного японца, а честно заработал заморские деньги. Возмутительно, что за сурка заплатили вдвое меньше, чем за мышью-полевку! Аба Иста уличил во вранье, ведь тарбаган гораздо больше и жирнее мыши, его шкурка идет на выделку, его мясо в голодный день — и в суп. А с мышки какая выделка?

На следующий день для проверки сведений, выбитых вожжами из младшего сына, вместе с Мантыком в степь была послана старшая сестра Валентина. Мать пожарила лепешек из последней муки, положила в заплечный мешочек дочери два куска мяса и фляжку чая с молоком — обычный рацион мужа, ушедшего на весь день в мастерские. Мальчишеский промысел уравнили с работой взрослого мужчины.

Вечером Валя рассказала родителям, как было дело. Охота прошла не совсем удачно. До обеда из норы удалось выкурить лишь одного сурка, но после съеденных лепешек дело пошло шустрее. Правда, мыши в руки



не давались. Хотя в ловле помогали соседский мальчишка Бася и собака Нохой.

К воротам с колючей проволокой бригада охотников принесла четырех тарбаганов и трех мышек. Еще одну, полумертвую полевку, принес в зубах Нохой, преданно заглядывая в глаза и усердно виляя хвостом. Мышь не подавала признаков жизни, и ее забраковали: покупателям степных зверушек требовались только живые экземпляры. Зато вредные тарбаганы всюду подавали признаки жизни, своими когтями они изорвали мешки. Пришлось несколько раз стукнуть по мешку палкой.

Товар находится в нехорошем виде. Состояние товара влияет на цену. Об этом уставшим искателям живности и добытчикам иностранной валюты торжественно объявил японец, вышедший в белом халате. Часовой вытянулся, отдал честь, качнул штыком. Валя, которая раньше ходила в японскую школу, кое-как, запинаясь, перевела мальчикам условия сделки. Офицер пренебрежительно махнул перчаткой. Белый халат скрывал мундир, погоны со звездочками угадывались.

Меж двух сараев сновали солдаты в длинных клеенчатых фартуках. В руках они бережно, семена, держали какие-то сосуды, по виду фарфоровые. Откинув длинный полог, на крыльцо ближнего сарая вышел еще один человек в белом халате и очках. Пол-лица скрывала марлевая повязка. Он спустил ее на подбородок, стянул белую перчатку и закурил.

Валя была уверена, что это не врачи. И красного креста нигде нет, хоть умри. Врачей она видела в больнице Нового города, куда они ходили с классом давать концерт. Больных людей за колючей проволокой не замечалось. Дяди в белых халатах больше походили на ученых и учителей. Но какое отношение ученые и учителя имеют к армии?

Эту мысль пытливая пионерка Валя не успела додумать. Раздался свисток. Свистел, выпучив глаза, выбежавший на крыльцо солдат. Его фартук был забрызган кровью.

Человек в белом халате в спешке бросил сигарету, натянул повязку на лицо, чуть не уронив очки. По дворику забежали солдаты, что-то высматривая в траве. Трель свистков не умолкала.

Нет, не та трель, не звонок в антракте. Погодите, будет вам театр...

— Тикусё! — ругнулся приемщик сурков и мышей и скрылся в сарае.

Про Валю, Мантыка и Басю, стоявших у ворот с добычей и открытыми ртами, забыли. Офицеры-врачи орали, солдаты, путаясь в длинных блестящих фартуках, сломя козырьки, бегали туда-сюда. Все кричали: «Недзуми!» Недоразумение по-японски, тарбагану понятно. «Ошибка», — перевела Валя мальчикам.

— Недзуми! Недзуми!

Нохой возмущенно залаял. Часовой выставил штык.

Наконец к детям подошел толстый солдат в фартуке. Лицо прыщавое, нос — красная пуговица, глаз косой. И как его только взяли в армию? Наверное, над ним потешались сослуживцы. Хотя вряд ли: судя по погончику, он был не простым солдатом. Фельдфебель, важно пояснил Бася. Его отец служил у барона Унгерна, и Баська разбирался в званиях.



Толстый косоглазый фельдфебель пересчитал пищащих в мешке полевых мышей и отдал Вале, старшей из троицы, мятые иены. Сурков офицер не принял.

Валя настояла, чтобы мальчишки отпустили полуживых тарбаганов в степь.

Получив свою долю, Баська помчался в советский магазин в Новом городе за сладостями. Иены принимали в Хайларе везде. Баськины пятки только и сверкнули. А мог бы на те же деньги купить сандалии.

Дома аба отругал за изорванные мешки, а мама-эжы похвалила, разгладив иены:

— Чудны дела, Иста! Мышь маленькая, а деньги большие!

Валя чуть не поперхнулась луковой похлебкой: недзуми — это мышь! И как она могла забыть урок? Японцы потеряли мышку. О том и кричали как резаные. Взрослые вроде люди, а устроили много шума из ничего.

Но и шум еще не представление. Имейте терпение, будет вам театр...

После появления вежливых японцев, скупавших полевых мышей, в Хайларе вдруг перестали убивать людей, а принялись увозить их на автофургоне за город. Люди на рынке шептались, что после пребывания в сборно-щитовых сараях арестованных ночью грузили в поезд, идущий в сторону Чанчуня. Еще никто из них обратно не вернулся.

Как-то раз в калитку деда Исты вежливо постучали. Возвращавшаяся из школы Валя издали заметила у дома автомобиль — и схватила портфель под мышку. Успела вовремя.

Мантык извивался в руках японского солдата. Другой солдат штыком преграждал путь главе семейства. Мать, плача, кланялась толстому японцу, он стоял спиной, без оружия, из-под плаща топорщились полы белого халата.

— Бакаро! — выругался солдат, отпустив Мантыка.

Винтовка упала на землю.

Братишка прижался к сестре.

Толстый, убеждавший в чем-то мать, переключился на Валентину. Говорил коряво, мешая монгольские, русские и японские слова.

— Рюкан!.. Ися!.. — обратился фельдфебель к Вале.

Она узнала его сразу: это был тот, кто расплатился за мышей. Косоглаз, и прыщи с лица не выдавил, хоть и в белом халате.

— Рюкан... — продолжал толстый и перешел на русский язык: — Глиппа... Холосо...

Из его слов выходило, что брата и сестру не арестуют, а повезут лечиться от гриппа. Коммунисты и старики им не нужны. Все будет хорошо.

И тут с Валентиной случилось нечто.

Она упала на землю, влажную после дождя, затрепетала, сломав головку набок. Левая ножка быстро и весело дрыгалась — как у барашка, которого недавно забили во дворе. Спина выгнулась коромыслом, с каким ходят русские хайларцы.

Аба Иста рывком поднял дочку и поневоле отшатнулся. Лицо ее было черно от грязи и жара, на губах выступила пена. Закатив глаза, она



протянула руки и шагнула к толстому. Тот толкнул ее в грудь — больная девчонка рухнула, замычала, катаясь по земле и царапая лицо.

Фельдфебель попятился к воротам, его узкие припухлые глазки стали от испуга больше. Он, кажется, узнал девчонку, продававшую полевых мышей.

— Недзуми!

Этим кличем-паролем он увлек за собой солдат.

Когда в конце улицы стих звук мотора, Валя встала как ни в чем не бывало. Отряхнулась. Подняла портфель. Под взорами онемевших родителей подошла к рукомоёйнику, умыла чумазое лицо. И наконец, рассмеялась.

Ее театральным гримом стала хайларская грязь.

Так мама на унавоженной земле Маньчжурии еще в юном возрасте, будучи лицом без определенного гражданства, вступила во Всероссийское театральное общество, не подозревая о его существовании. Сдала экзамен по театральному мастерству.

Спустя годы она получила билет члена ВТО, но то была формальная процедура, констатация давно свершившегося, признание ее таланта де-юре.

Драматические способности мама демонстрировала и в тесной хрущевке. То застывала в проеме кухни в позе умирающего лебедя, то изображала в лицах соседей, то подражала — одним движением, парой жестов — походке, манерам начальников, от управдома до секретаря обкома. Мы покатывались со смеху на продавленном диване и просили изобразить кого-нибудь еще. На бис. Домашний концерт по заявкам.

Однако мама никогда не изображала больных и увечных. Всегда помнила Хайлар. Уже работая в театре, отказалась от роли сумасшедшей, за что схлопотала строгий выговор.

— Делай тревожный голос, — невнятно советовала она не искушенной в лицедействе невестке, моей жене, набиравшей номер «скорой».

Жена пугалась. Положение и без того было тревожным: у свекрови, бледной, что известковая стенка, немела правая щека.

Мама не училась драматическому искусству в чистом виде — пожалуй, лишь основам сценического движения, не более. Главным образом изучала колоратурные тонкости бельканто. Обладая приятным лирическим сопрано, была с ходу зачислена в бурят-монгольскую студию для обучения в Свердловской консерватории по целевому заказу БМАССР. А может, по заказу свыше. Великий дирижер Сталин хотел научить кривоногих кочевников технике па-де-труа, заставить плавно перейти от горлового пения к партии Отелло. Задушить вокализмами аборигенов фултонскую речь Черчилля, утереть нос Венской опере, балетной тужелькой на короткой ножке пхнуть вялый гульффик просвещенной Европы. Откинуть полог юрты и, наспех утерев чумазое лицо снежком, вытолкнуть туземцев под огни ramпы.

Мама пыталась и меня учить музыке на расстроенном пианино «Енисей», на котором рядом с бюстиком Чайковского торчала двурога



штучка. Камертон занимал меня куда больше, чем дизезы, бемоли и прочие таинства нотной грамоты. Из него могла выйти идеальная рогатка. Дворовые ценности победили: я исчеркал нотную тетрадь и убежал играть в футбол. Камертон мама привезла из Свердловска. Говорила, подарок после защиты диплома от любимого преподавателя по сольфеджио.

В послевоенные годы, пока культурные нацкадры ковались в консерваториях, в столице Бурят-Монголии спешно возводилось сказочное здание театра оперы и балета. Ирония древнегреческого рока на хлипких подмостках: театр строили японские военнопленные, захваченные в Маньчжурии.

В зимние каникулы студентка Валентина Мантосова приходила на стройку в центре Улан-Удэ.

— Хайлар! — выдыхала пар в морозном воздухе девушка в пальто с воротником из крашеного тарбагана.

К ней, бросив носилки, подбегали изможденные люди в телогрейках и кепи с опущенными ушами.

— Хайлар? — строго переспрашивала девушка.

— Корэ... Хайлар, Хайлар.

Людишки трясли ушами своих кепи и испуганно оглядывались в сторону конвоира в белесом тулупе и с автоматом ППШ на груди. Они дрожали — от испуга и январской стужи — и походили на дворняжек. Разве что хвостами не виляли. Зато усердно кланялись.

Странная девушка обменивалась с пленными парой фраз на родном языке.

— Кадзоку... итаи... цума... тэгами... посуто... — кланяясь, вразнобой бормотали японцы в русских телогрейках.

Кажется, они принимали ее за свою.

«Семья... скучаю по жене... письмо... почтовый ящик», — напрягая память, переводила в уме студентка и отвечала:

— Дэкинаи... Это невозможно, не могу.

И раздавала пленным, будто детям на новогоднем утреннике, мелочь и печенье. Отдавала сдачу за полевых мышей.

— Яме! Плеклатить! — тонко кричал, бегая по краю стройки, японец в разбитых круглых очках на резинке, в шинели без нашивок и погон, но понятно было сразу: офицер.

— Хаджимэ! Работать! — лениво поводил дулом автомата конвоир и с хрустом утаптывал снег огромными валенками.

Русского солдата слушались больше, чем японского офицера.

Огрызок 3

Плен, понятно, тоска. С маленькой буквы. И ударение в жизни иное, чем на афише.

«О-о, дайте, дайте мне свободу-у, я свой позо-ор сумею искупить...»

Я сижу в темноте на теплых ступеньках амфитеатра (они покрыты ковровой дорожкой) и вижу, как князь Игорь с большой рыжей бородой



поет в клетке. Клетка большая, как в зоопарке, она поднимается откуда-то из-под сцены. Поющий воздевает руки, сует их сквозь прутья, наверное, просит пирожное из театрального буфета.

А я сижу на свободе и под музыку Бородина уминаю пирожное «корзинка» из того буфета: его купила мама, чтоб я не плакал и не портил генеральную репетицию. Я знаю, что мама где-то на сцене, но ее не упрячут в клетку, потому что у нее нет приклеенной рыжей бороды, она не князь, а поет в хоре половецких девушек, и поэтому я не собираюсь плакать. Хотя плакать полезно. Мама может купить еще одно пирожное, мою любимую «корзинку».

Раздается сердитый стук стакана о графин. Я вздрагиваю и пачкаю нос в креме. Пение обрывается. Клетку с пленным князем опять опускают под сцену. После равномерного щелканья оркестр играет снова... клетка всплывает... пленный опять просит пирожное.

Но я его уже слопал и теперь, облизав пальцы, вытираю их о ковровую дорожку.

Пленный еще поет, хор же распустили. Откуда-то сверху, со стороны балконов, появляется мама и, обдав душистым запахом пудры, не сильно бьет по ладошке. Я неуверенно хныкаю. Мама, шурша накидкой, испуганно говорит: «Тсс» — и подает маленькую ром-бабу.

Я люблю театр. С ним связаны мои первые и самые сладкие воспоминания.

С детства мне нравилась старая черно-белая фотография, потому что на ней я с трудом узнавал маму. Настолько она красива. Мама в светлом парике и платье поздней александровской эпохи, с оголенными плечами и веером в руке. На шее и в ушах самые настоящие фальшивые бриллианты. Большие небурятские глаза накрашены и сияют, лицо и грудь обильно напудрены, дабы казаться придворной дамой. Снимок сделан в антракте оперы «Евгений Онегин».

— Перди, перди, я твой супруг! — передразнивала мама солиста, который и в главной партии не мог искоренить акцент коренного народа.

Согласные и шипящие были в нем несогласными с партитурой жизни.

— Мне, пжалста, *фюре*, — другой раз изображала она сокурсника в студенческой столовой.

Тот приехал в большой город из дальнего улуса и очень плохо владел русским языком. Как, впрочем, многие студенты национальной студии. Мама была исключением: еще на уроках Закона Божьего ей драл волосы толстый батюшка в пыльной рясе за неправильное ударение в старославянском. Но не всем же выпало родиться в Хайларе, где одновременно говорили на четырех языках.

— Только не такое *фюре*, — делала мама руки «фонариком», — а такое, — наклонялась и опускала руки вниз, показывая букву «П».

Для большей убедительности однокурсник тыкал пальцем в рот перед окошком раздаточной — просил добавку картофельного пюре. «*Фюре*» было дешевым и быстро утоляло голод.



В театре платят одни слезы, говорила мама. Добавки не полагалось, как ни кривляйся перед окошком раздаточной. Несмотря на консерваторское образование, ее долго держали в хоре, изредка давая партии второго плана. Папа, пропадавший с утра до вечера в редакции, требовал, чтобы мама ушла из театра. В ответ мама пела арию Ленского.

Я тоже голосовал — вторым голосом — за высокое искусство: в буфете театра оперы и балета появилось новое пирожное безе.

Кстати, о Бизе. Однажды мама приволокла меня — прямо из школы — на генеральную репетицию «Кармен». Генеральная отличается от обычной репетиции тем, что на ней все как в спектакле. Костюмы, парики, золотые короны из фольги, подкрашенная вода в винных бутылках — все настоящее. Даже оружие. Почти.

К финалу выяснилось, что нож в руке Хозе оловянный. Хозе был ниже Кармен на полголовы, с животиком примерно пятого месяца беременности. Понятно, живот заботливо укутали широкой красной шалью. А может, Хозе страдал ревматизмом: по сцене гулял сквозняк, мама постоянно на него жаловалась. Герой-любовник вырядился в короткую накидку, белые колготки и черные лаковые туфли.

Никто не ожидал, что беременный Хозе, мельтеша черно-белыми ножками, резво, без команды режиссера подскочит к Кармен и с силой ударит под диафрагму. Нож погнулся о корсет. Кармен как раз набрала воздуха в необъятный бюст для бельканто...

Вышла некрасивая сцена. Я даже перестал лакомиться безе. Трепеща ненаклеенными усиками, роковая красotka залепила возлюбленному оплеуху. Сбитая шляпа покатила по сцене. Хозе заявил, что будет жаловаться в дирекцию. В ответ Кармен показала погнутый нож поочередно режиссеру, дирижеру, хору и куда-то вниз, невидимому оркестру. Хозе речитативом произнес слова, не прописанные ни в арии, ни в либретто. Коварная красotka оборвала предмету страсти бакенбарды и метнула в него нож. Он просвистел над лысиной Хозе и улетел в партер, в пятый ряд, где я, утопая в кресле с макушкой, приканчивал пирожное безе.

Спектакль покатился по кривому, как нож, либретто. Ударили литавры. Кто-то свистнул. Из оркестровой ямы раздались голоса. Хор зароптал. Усики Кармен обозначились четче: она вспотела.

Про нож забыли. Я сполз под кресло и спрятал сокровище в ранец. А Кармен и Хозе, стянув парики, пошли жаловаться директору.

Сцена оперная обернулась кухонной: главные партии в ней исполнили недавно разведенные муж и жена. Это выяснилось из многоголосия хора. Перди, перди, я твой супруг.

Оловянный нож я посчитал законным трофеем. Когда тайком от мамы распрямил его молотком, он оказался больше, чем выглядел из зрительного зала. Смахивал на пиратский кинжал и армейский штык-нож одновременно. Кинжал вызвал зависть всего двора. Рукоять у него была деревянная, как у кухонного ножа, зато верх рукояти облеплен блестками и стекляшками. Впоследствии они отвалились, зато тупое лезвие прослужило долго. Одна беда: быстро тускнело. Но если начистить

зубным порошком, то нож блестел грозно. Как кинжал и штык-нож одновременно.

Кстати, о зубном порошке. В грохоте и саже пятилеток декоративно-прикладной косметике, презренному рудименту буржуазного декаданса, не было посадочного места. На лице. Ею могла пользоваться только «интеллихенция». С детства слышал это загадочное слово. Им выражались мужики в нашем бараке, толкуя о политике. Гегемон смачно плющил про-слойку, что молотом по серпу.

«Красиво идут!» — комментирует психическую атаку белогвардейцев боец в фильме «Чапаев». «Интеллихенция...» — усмехается напарник.

«Чапаева» я смотрел четырнадцать с половиной раз. Половина вышла из-за того, что на самом интересном месте меня с Витькой Самолетом схватили за уши и взашей вытолкали из зрительного зала. В кинотеатр «Прогресс» мы пробрались без билетов. Кинотрюк строился на том, что за пять минут до финальных титров билетерши со звоном распахивали двери на выход. На дверях были темные шторы. Улучив момент, мы с пацанами прятались в шторах, а когда народ валил к выходу, пробирались в зал и ждали следующего сеанса под сиденьями.

До старших классов я думал, что «интеллихенция» — трехэтажное ругательство. Женщины Бурят-Монголии, которые изначально не были интеллигенцией, вместо пудры использовали зубной порошок «Мятный». Пускали пыль в глаза пролетариату.

Пудру, помаду, румяна, тушь, угольные карандаши и прочую икебану выпускали фабрики Всероссийского театрального общества. А, к примеру, гаечные ключи — завод «Сибмаш». То и другое поступало по месту работы, на прилавки же — по остаточному принципу. Так, в сухой остаток выпала пудра и прочие интеллигентские штучки.

В дело охмурения противоположного пола пошел зубной порошок. Да и стоил он дешевле пудры. Женщины хвалили зубной порошок. Соседка по хрущевке по кличке Спинка Минтая драила порошок личико, попутно портсигар, забытый любовником-милиционером (в надежде, что тот за ним вернется), дядя Рома — медаль «За боевые заслуги», мальчишки во дворе — солдатские бляхи. Мама до блеска начищала порошком украшения, включая единственную в доме золотую вещь — кольцо. А также серебряную ложечку и подстаканник, позже признанный мельхиоровым. По прямому назначению зубной порошок использовался редко. Правда, мужчины хвастались в котельной, что чистят им железные коронки.

Порошок «Мятный» продавался в двух вариантах: в пластиковой и картонной коробочках. Гонялись за пластиковой, ее можно было носить в сумочке. Однажды зубной порошок исчез из розницы и появился на прилавке в детском косметическом наборе «Мойдодыр» — вместе с детским мылом и шампунем. Стоил этот пропуск во взрослую личную жизнь один рубль и пять копеек. «Мойдодыр» смели до обеда.

Мама не бросала театр еще и потому, что там можно было разжиться трофеями: пудрой, помадой, тушью, угольными карандашами произ-



водства ВТО. Так делали все артистки хора и отдельные солистки. Раз платят одни слезы, то хоть припудрить бороздки от них за казенный счет. Сам Бизе велел. Напрасно завхоз делала набег в гримуборные с целью поимки с поличным. Поличное было на лице.

Из декоративных средств мне больше нравилась рассыпчатая пудра, ее теплый запах. Ею пахла мама. С этим запахом я засыпал в детстве, когда мама возвращалась с вечернего спектакля и, шелестя платьем, целовала меня, сонного, в кровати.

Помню спичку в тюбике помады на мамином трюмо, а на доньшке тюбика — клеймо ВТО. Трофеи оперного искусства расходовались до последнего мазка, штриха и чиха — от пудры. Пудру клали не жалея — за государственный счет. Помнится, когда Хозе вдарил ниже необъятного бюста Кармен, ее окутало защитное розоватое облачко. Хозе громко чихнул и не смог вторично ткнуть штык-ножом бывшую жену.

Театр, однако, был не только оперы, но и балета. Хотя мама брала меня только на репетиции оперного состава. Тем не менее и про балет мне кое-что известно. По месту жительства.

Вторым по частоте использования средством для оштукатуривания смутлоликих красавиц Бурят-Монголии являлся тональный крем «Балет». При чем тут балет, непонятно. Махали-то руками, не ногами. Тайны Терпсихоры. Терпи, терпи, я твой супруг. Этот крем телесного цвета был незаменим в быту. Им на скорую руку замазывали синяки от кулаков — мужниных и проезжающих молодцев с Большой земли, как они сами, молодцы, себя именовали.

После Первомая, 7 Ноября, дней Конституции, Советской армии (нужное вырвать из отрывного календаря), а то и после будничного выходного дня половина женского населения Улан-Удэ выходила на работу в одинаковых не улыбчивых масках. Такой кордебалет. В смысле, «Отелло». Там, где по ходу действия шибко ревнуют и душат до синяков.

Соседка Спинка Минтая, например, пускала в ход «Балет» после технических накладок — если запасной хахаль заявлялся в разгар свидания с милиционером. Милиционер мог, конечно, одним своим видом изгнать наглеца, но был, японский городской, абсолютно голым! Почти как в балете. Пока любовник № 1 спешно напяливал сапоги да портупюю, любовник № 2 успевал навесить Спинке Минтая синяк.

Когда побитая хозяйка, хныча, резонно посоветовала основному хахалю впредь в голом виде надевать фуражку, то милиционер оскорбился за честь ненадетого мундира и ушел. Хлопнул дверью и забыл портсигар.

Об этом соседка рассказывала маме на кухне. Мама ее жалела. А я все слышал, но делал вид, что маленький.

У Спинки Минтая рассыпчатая пудра имелась, конечно, только она берегла ее для особых случаев. Взять не театральную, а обычную тушь-«поплюйку». Чтoб ресницы были гуще, учила соседка маму, меж слоями туши надо уложить пудру, разделяя ресницы булавкой. До этого не могла додуматься артистка, у которой туши да пудры, не считая карандаша, по месту работы — завались! Ресницы Спинка Минтая подкручивала го-



рячим ножом или ложкой. По совету соседки мою детскую зубную щетку, валявшуюся без дела, мама приспособила для нанесения туши. Щеточка, что шла в наборе ВТО, жаловалась мама, была никудышной.

Эти ухищрения по наведению марафета были схожи с нанесением боевой раскраски индейцев из романов Майн Рида, их я читал запоем.

Последний секрет из арсенала Кармен нашего двора. Сетуя на долю матери-одиночки, Спинка Минтая в ближайшей пивнушке просила нацезживать бидончик попенистее: перед ответственным свиданием она смачивала пивом волосы для лучшей завивки.

Впрочем, этот секрет я слышал дважды. Именно через пивнушку я потерял главный трофей оперного искусства.

Пудра развеялась как дым. Камертон издал прощальный звон при настройке новой жизни — сгинул в ходе новоселья. Фальшивый бриллиант украла Спинка Минтая, в чем сама пьяная призналась, но найти краденое, сорока этакая, так и не смогла. Пианино «Енисей» продали по нужде да и за ненадобностью: руки маму уже не слушались. Фото из «Евгения Онегина», где она играла придворную даму, присвоила сводная сестра.

От богемного детства уцелел лишь огрызок угольного карандаша с полустертой надписью «...ТО» (букву «В» срезали перочинным ножиком). Еле удерживая в руке этот огрызок, я написал им на конверте: «Мама». Карандашик при письме так и норовил выскользнуть из пальцев. Однако и спустя многие годы исправно делал жирную черту: фирма ВТО не вязала декоративно-прикладных веников! Карандашик я вложил в конверт. Письмо до востребования, типа того. Письмо — в чемодан. Чемодан большой, его потерять трудно. Практически невозможно. Его можно только украсть.

Огрызок 4

Театральный кинжал пропал по зависящим от меня причинам. Причины не имели ничего общего с высоким искусством. И имели много общего с жизнью. Липовый штык-нож пригодился больше, чем карандаш для глаз. Хотя не мог порезать даже бумагу, исписанную карандашом ВТО. Страсти гремели не слабее, чем на генеральной репетиции оперы «Кармен». Тыкать оловянным ножом в женщин я не собирался, тем паче что в жизни они не носили оборонительных корсетов.

Нож-кинжал, по мысли бутафоров, должен устрашать — верх лезвия был как у штыка от автомата Калашникова. На самом же деле острие было тупым. Однако если начистить его зубным порошком, декоративный нож внушал уважение. В детстве я гонялся с ним за девчонками, фехтовал в игре сыщики-разбойники и издали пугал им пацанов противоборствующей улицы. Грехи пубертатного возраста. Выйдя из него, я спрятал оловянный штык-нож. От греха подальше.

Но однажды извлек кинжал из чемодана и, сам того не желая, проложил им дорогу к заветному окошку пивнушки, посаженному в три кольца.

В очереди спросили, есть ли у кого открывашка. Я вынул бутафорский нож:

— Такой подойдет?

Очередь молча расступилась. Кинжал я нес сыну в школу, где он должен был играть в представлении, изображать то ли пирата, то ли Кота Базилио. Потускневшее лезвие я до блеска натер средством для чистки кафеля и унитазов (зубной порошок из продажи уже исчез).

В паузе меж глотками пива к нашей лавке подошел тип в штатском и предъявил удостоверение в красной корочке. Мы с другом переглянулись и хором предложили оперативнику пива в трехлитровой банке с линялой этикеткой томатного сока, клянясь Уголовным кодексом, что не касались горлышка губами. Но мент, сглотив слюну, отказался от взятки и велел показать нож.

Повертев кинжал, товарищ из внутренних органов хмыкнул, сообщив, что предмет не опасен для внутренних органов человека.

— Из кино, что ль? — усмехнулся бдительный товарищ.

— Из театра! — вскочил я со скамейки и для наглядности с силой ткнул себя ножом под ребро, как это сделал когда-то разведенный Хозе.

Нож погнулся, хотя на мне не было корсета. Скрывая боль, я мужественно улыбнулся.

Оперативный работник сделал глоток из банки, что означало полную амнистию.

— Мочой, что ли, разводят? — кивнул на банку блюститель.

Мы дружно поддержали версию следствия.

Пока я на асфальте выпрямлял лезвие ножа обломком кирпича, поступило два предложения, одно заманчивее другого.

Вихляя бедрами, к нам подплыла женщина на среднем каблуке и среднего возраста, с театральным гримом на испитом личике. В руке она держала бидон с пивом. Поправив челку, женщина сказала, что ей нравятся «брутальные мужчины». И предложила пройти в кусты у реки — выпить чего-нибудь крепче пива. Я спрятал нож в кошелку: это он, зараза, придавал нам, мужчинам, брутальности. Новоявленная Кармен щелкнула ногтем по бидончику и сообщила, что вообще-то не пьет, а моет «жигулевским» голову. А потом пьет.

Затем к лавке подканал явно уголовный тип, из-под расстегнутой до пупа рубахи виднелись наколки: башни и кресты. Пивная кружка в его руке, синей от татуировок, была пуста. Он попросил не пива — продать нож за бутылку водки.

— Дык он не настоящий. — Мой товарищ опасливо отодвинулся от нависшей над его головой кружки.

— В том-то и цимес*, фраера! — блеснул рядом железных коронок покупатель. — Под уголовку не канают, а шороху фраерам наведет, зуб даю!

Он внимательно изучил нож и замысловато матюгнулся.

* Цимес — здесь: высший класс; выражение происходит от названия десертного блюда одесской кухни.

— А если попадутся не фраера? — Мне вдруг стало жалко ножа.

Покупатель посмотрел в небо. В нем кружили птицы. Перистые облака тянулись за реку, к сопке.

— Ты прав, братка, че я там, на зоне, не видал?

Брутальный тип вернул нож, сплюнул на мокрый от пролитого «жигулевского» асфальт и полез за пивом без очереди с криком: «Дорогу! Цыть, бакланы!»

Кинжал был хоть и бутафорским, но вредным. Когда я набрал воздуха перед глотком, под ребрами заныло. Тупая, как это лезвие, боль. Опростав банку с пивом, я задрал футболку: под правым соском наливался синяк.

Театр продолжался.

Тут товарищ оживился:

— Слушай, одолжи ножик на пару недель, а?

В его честных, цвета разбодяженного пива глазах хронического тунеядца и похмельного правдолюбца плескалась решимость. Когда-то Кирсан был красивым парнем, но за пару десятков лет превратился в лысеющего и рано располневшего зануду. Таких девушки не любят. А виной запойное чтение художественной литературы и бытовое пьянство, местами запойное, сопряженное с поисками социальной справедливости. Кирсана стали именовать Кирюхой. Периодически он обличал начальство, вносил несбыточные рационализаторские предложения, менял места работы, как салфетки после рыбной закуски, и пару раз судился из-за прогулов. Своих и начальства.

Кирюху в очередной раз выгнали с работы, и от него ушла жена. Он выступил в суде в свою защиту, оснастив речь цитатами и образами из классической литературы, и его восстановили в должности старшего лаборанта. Жена вернулась. Однако тут приключилась другая напасть. Кирюха стал усиленно кирять. То бы еще полбеды — с кем не бывает, в одной стране живем. Беда в том, что в пьяном виде Кирсан принялся ревновать жену.

Надо сказать, Ирина давала повод. Так после второй опустошенной трехлитровой банки утверждал мой компаньон, временно не работающий.

— Свечку не держал, но нутром чую...

Кирюха фыркнул. К его губе прилипла чешуя.

— Поехали! — решительно встал с лавки напарник, чуть не разбив банку. — Ырка думает, что я на работе... Тут-то мы их, тепленьких, и пуганем твоим мачете!

Кирсан выхватил из моей кошелки оловянный нож и со свистом рубанул воздух.

Ехать не хотелось. Пьяные бредни, десятая серия. К тому же денег у тунеядца сроду не водилось. Но Кирюха поклялся, что при любом исходе выставит пол-литру, сдав в магазин «Букинист» книжку из серии «Литературные памятники». Это уже походило на бизнес-план. «Литпамятники», действительно, ценились.



— Давай сперва завезем нож в школу, опосля возьмем их на мокром. — Я спрятал бутафорский кинжал за пазуху. — Пугануть и банкой можно.

— Не-е-ет! — Опившийся, как таракан, правдолюб поднял банку над головой, во всю длину правой руки, над невидимыми миру рогами. — Банка с-под пива?!.. О, это слишком! Это дешевка, брат... Банка — она рыбой воняет, коммуналкой... О низость!

Кирюха подозрительно поморгал глазами. Три литра пива разбавили суррогатно-спиртовый конденсат, осевший на стенках его желудка со вчерашнего вечера. Пары вырвались наружу.

— Тут надобно выше! Чтоб видели! Высокое! Чистое! Высокое искусство! — возвысила глас жертва химической реакции и тряхнула банкой.

Плешь мученика оросили священные капли «жигулевского». Театр не кончался.

Темная очередь, осадившая дощатое строение пивной, торгующей в розлив и навынос, просветлела ликами: на нас стали оборачиваться. Человек-памятник держал трехлитровую банку словно бомбу. Кружки постоянно крали, и банка была дефицитом. Разного рода инциденты тут видали. Крах посуды признавался уважительной причиной только в случае драки. Демарш правдоруба был выше, то бишь ниже заурядной пьяной выходки. Битье дефицита средь бела дня, без драки — это вызов. Плевок в сторону общины, надругательство над устоями.

— Эй-эй, ты! Слышь? Осторожней там с банкой! Не урони... Стой тихо, — раздалась озабоченные голоса.

— Последний раз спр-рашиваю, — обратился ко мне знаток классических сюжетов, качаясь с банкой над самим собой (видно, ветер наверху усилился). — Ну?! Едем али нет?! Не то грохну сей сосуд о грешную землю, клянусь Акутагавой!

— Токо попробуй, щас самого грохнем! — донеслось из очереди.

Террориста с банкой-бомбой начали окружать. Жаркое дыхание возмущенной толпы действовало на меня отрезвляюще.

— Да едем, едем! Отдай банку людям. Хозе, твою мать.

С недавних пор Кирсан стал называть свою жену Ирину не Ириской, как прежде, а Ыркой. Тут был обидный до созвучия намек.

Несчастный муж заподозрил жену в шашнях с молодым соседом. Например, когда он в пьяном виде рухнул на лестничной клетке, то помог Ырке занести тело домой именно сосед. Наутро она курила с ним же на площадке, при этом два раза коснулась чужого мужчины: прикуривая, обхватила голой рукой руку соседа, а еще дала ласковый щелбан по лбу. Не щелбан — поцелуй, можно сказать. Он видел эти интимные действия в глазок.

— Подумаешь! — улыбнулся я.

— А ты не лыбься, ежели не знаешь самого страшного!

Поведать самое страшное помешал контролер. Кирюха увлек меня в людскую гущу трамвая, а на остановке мы технично переместились в спаренный вагон. Последние копейки прокутили в пивнушке, не хватало даже на один билет на двоих.

— Дешевка, брат... — скорчил рожу роконосец. — О низость!.. Тридцать копеек! А то и за рупь можно продать. Она ж трехлитровая. Банка-то. А ты, блин, заладил: отдай людям, отдай людям!

Друг почесал плешь. Наверное, зудели пробивавшиеся рожки.

— Нож где?.. Не верь людям, брат. Тут самый близкий человек, не успеешь кирнуть, готов продать за рваный рупь... Где нож? Ну ниче, мы их шуганем, чтоб у соседа на Ырку не стояло больше!

Пока мы зайцами бегали от контролера из вагона в вагон и доехали до Кирюхиной хаты — стемнело. Хозяйка сварила борщ и ждала мужа с работы. (Кирсан скрывал, что его турнули «по собственному желанию», и каждый день, повязав мятый галстук, уходил с важным видом в сторону пивной.) На кухне все дышало умиротворением: аппетитные запахи, пестрые занавески, кошка, трущаяся о ноги, бормочущий динамик, марля на краешке железной раковины, протекающий кран, огоньки за окном...

Кирюха почувствовал себя оскорбленным отсутствием симптомов измены в собственном доме. Анонсирована трагедия в трех актах.

Глава дома стал себя накачивать:

— Ырка! Изменщица! Ты где?!

— Я здесь, — спокойно сказала Ырка. — Руки мойте, борщ еще горячий...

Хозяин взвыл, как от удара поварешкой по лбу, и для ускоренного вхождения в трагический образ схватился за бутафорский нож. Хотя я ведал, что нож даже не кухонный, а лишь деталь реквизита, стало не по себе. А уж Ырке подавно.

Жена Кирсана завизжала и убежала к соседу. Кирюха с торжествующим криком устремился следом. И на плечах неверной жены, не давая ей захлопнуть дверь, ворвался внутрь без входной контрамарки.

По инерции я попал в партер. Борьбы и судьбы. Товарищ размахивал кинжалом — не то пугал им, не то приглашал на спектакль.

Сосед, длинноволосый, очкастый, как Джон Леннон, лежал в постели, но заниматься любовью даже гипотетически не мог. Гигантская его нога, закованная в гипс, возвышалась на подушке. К спинке кровати лепились костыли. Неверная жена закрылась в санузле.

Зря я начистил оловянное лезвие кинжала накануне школьного представления. Увидев его блеск, сосед схватился за костыль и страшно завопил. Не снижая скорости и не давая себя разжалобить, Кирсан вонзил тупо колющий предмет в гипс, будто штык в чучело неприятеля. Нож погнулся.

Несмотря на очевидную непригодность орудия мести в любовных разборках, сосед продолжал вопить. Доморощенный Хозе оглядел нож, изогнутый знаком вопроса. Крови не было. На гипсе имелась малюсенькая выемка. Чего, спрашивается, выть?



Тем не менее товарища можно было поздравить с премьерой. Запуганный до смерти горе-любовник без промедления раскололся, как немецко-фашистский диверсант из романа «В августе сорок четвертого». Бабушка приехала.

Оказалось, тут замешан дедушка. Только у молодого соседа по лестничной площадке имелся доставшийся от деда телефон, установленный по льготе ветерана Великой Отечественной войны. Любившая поболтать по телефону, Ирина повадилась бегать к соседу. За услуги связи расплачивалась сигаретами. А когда владелец абонентского номера сломал ногу, то для удобства пользования получила ключ от квартиры. Заодно сходить в магазин, аптеку. Ничего личного, только бизнес, Бизе.

Походило на правду. Кирюха опять почувствовал себя оскорбленным отсутствием симптомов измены в чужом доме. Он распрянул кинжал рукой и зловеще хохотнул.

Увидев выправленный, готовый к бою нож, сосед прикрылся костылем и выложил последний козырь — признался, что он поклонник голубой луны. Что женщины его интересуют, но в случае, если это переодетые мужчины. В подтверждение своих слов хозяин костылем придвинул тумбочку, изъяс оттуда помаду, лак для ногтей и тени для глаз (карандаша ВТО не было) и заявил, что это его личное имущество.

Театр никак не кончался.

Ссылка на нетрадиционную ориентацию переломила ситуацию. Кирсан вернул мне нож и примирительно хлопнул по гипсу. Кровопролития удалось избежать.

Сосед дрожащей рукой протер очки. Лицо его медленно розовело. Однако испуг дал о себе знать остаточными явлениями — позывами.

Кирсан помог хозяину доскакать на одной ноге до туалета, постучал в дверь и попросил жену освободить помещение, взывая к крайней нужде. Этот довод подействовал пуше угроз. Щелкнула задвижка, дверь распахнулась.

В общем, полегчало. Сосед выставил пол-литру.

Закусывать в квартире холостяка было нечем. Действующие лица решили переместиться на кухню Ирины. Муж и жена подхватили парня. Следом за дружным треугольником я нес костыли.

Хозяйка достала из потайного шкафчика вторую бутылку. В этом гостеприимном доме я и забыл кинжал из оперы «Кармен».

Хозяин занялся самобичеванием. Чокаясь, Кирсан без конца требовал показать нож как свидетельство его мирных намерений и требовал ударить им во впалую грудь интеллигента. Сосед нервно протирал круглые, ленноновские очки. Присутствующие громко, а громче всех сосед и жена, восторгались мастерством театральных бутафоров. Нож пошел по рукам...

Когда я уходил, Джон Леннон спал на диванчике в прихожей, накрывшись костылями. Гипсовая нога на диванчике не поместилась, и я запнулся об нее.

Захмелевший муж и его верная жена сидели на одном табурете.

— Да не Ырка ты, моя сладкая Ириска...

И прочий культур-мультир. Ворковали, как неженатые.

Интересная штука: нож забыл, а подаренный Кирсаном темно-зеленый том из серии «Литературные памятники» прихватил. И назавтра выгодно загнал его одному книжному червю.

На вырученные деньги купил сыну пластмассовую шпагу для участия в школьном спектакле, а на сдачу — пива в трехлитровой банке с линялой этикеткой томатного сока. Дефицитная банка по немыслимой траектории вернулась ко мне у той же пивнушки. Недаром мама говорила: сделай добро людям — обернется трехкратно. Оказалось — тремя литрами по крайней мере. Прихлебывая свежее «жигулевское» (его еще не успели разбодяжить), я ждал, что из-за угла вот-вот нарисуетя Кирсан...

Но друг так и не появился. Хм, бросил пить? Может, оно и к лучшему, что Кирсан не пришел и не принес штык-нож из оперы «Кармен». А не то действие спектакля покатилося бы по запиленному либретто, по трескучему винилу вины: липовый нож — трехлитровая банка — трамвайная беготня от кондуктора — гипсовая нога соседа, похожего на Джона Леннона.

А вот и первый весенний дождь! Ветер швырнул в лицо пригоршню влаги, запах солярки и птичьего помета. Над рекой размылись дальние горизонты, темные облака быстро и бесшумно побежали навстречу сплохам розового света... Let it be*.

Огрызок 5

Этот огрызок воспоминаний — не из той оперы. Виной тому пикантный эпикантус.

Для артистов Бурятского театра драмы наличие генетической складки на веках представляло не драму, конечно, но корректировало взгляд на искусство. Международная обстановка диктовала заглянуть за угол юрты. Показать идеологическим врагам кузькину мать. Расширить угол зрения на мировой репертуар. Замахнуться на Вильяма нашего Шекспира. Мешала физиологическая нестыковка с трактовкой образа. Это в опере Ромео мог голосить, не видя сцены под ногами из-за живота, растущего от диафрагмы. А Джульетта — петь с балкона, будучи пожилой. Таковы каноны классики. Зрителю предлагалось при первых же чарующих колоратурных звуках отрешиться от суетных примет, закрыть глаза и отдаться воображению.

В драме соловьем не запоешь. Публика первых рядов, где сидели лучшие люди города, кооператоры, члены партии, бандиты, вторая любовница первого секретаря, требовала минимального правдоподобия. Надо сыграть, к примеру, декабриста, французского коммуниста, мамашу Кураж, Гамлета с черепом в руке, заклеить фашиста, итальянского повесу, ударить репертуаром по будуарам, а зритель глазам не верит. Своим

* Да будет так (англ.); слова из знаменитой песни «Битлз».



и чужим. Актерские отговорки, что герои по ходу действия много пьют и с бодуна ходят по авансцене опухшими до эпикантуса, отметились приемной комиссией Минкульта, как политическая близорукость. К черепу претензий не было.

И вот здесь черный карандаш ВТО служил для отвода глаз. Он позволял безболезненно завуалировать складку на веках, зрительно расширить глаза до размера очей и войти в образ.

Сложнее декоративно-прикладными средствами запечатлеть историческую личность. Допустим, Ленина.

Я входил в служебный вход Бурдрамы на тектоническом сломе эпох. В театрах еще пели в унисон «Интернационал» на областных партконференциях, с напудренным бюстом Ильича, парящим над президиумом, а возле кооперативных ларьков и киосков нетрезвые фрондирующие интеллигенты в открытую шептались: «У них Леннон — у нас Ленин, у нас Маркс — у них Маркес». И открыто в закрытой группе выступали за созыв Учредительного собрания.

Рабочий класс, как гегемон, выражался яснее, короче и дальше.

Для укрепления сознательности масс обком партии решил к 115-й годовщине Владимира Ильича поставить композицию «Кремлевские куранты, или Ленин в Октябре». Сюжет пьесы режиссер-постановщик разбавил сценами из золотого фонда советской кинематографии. Воплотить прокремлевское творение было решено на национальной сцене. Коллектив академический, орденосный. Революционное решение подстегивалось явной скуластостью лика вождя. Интеллигенция наговаривала на Ильича, что он калмыцких кровей. Обком партии затребовал справку в Буручкоме — Бурятском ученом комитете. Там осторожно подтвердили характерный ленинский прищур.

Дело закрутилось. С лысиной, правда, вышло не совсем гладко. Глаза можно подвести, но что делать с прической? Исстари повелось, что волос у номадов Центральной Азии толстый, что конский. Разумеется, под рукой театрального гримера есть разного рода накладки, нашлепки, которые даже из волосатой ливерпульской четверки могут сделать пациентов онкодиспансера. И наоборот.

Вышло наперекосяк. У актера на роль Ленина по фамилии Ербанов, немолодого премьера в звании народного артиста РСФСР, произрастала буйная шевелюра и усы, как у певца среднеазиатской группы «Ялла». Седящую гриву он регулярно подкрашивал. Ербанов гордился схожестью с певцом и охмурил хард-роковой прической молодых актрис, невзирая на то, что в театре на вторых ролях трудилась его законная супруга.

На сдаче спектакля Ербанов натянул на шевелюру нашлепку для обозначения лысины вождя мирового пролетариата. Под лысиной возникли подозрительные шишки и бугорки. Причем они шевелились. Приемная комиссия предложила актеру остричься наголо. Отдать голову на заклятие революции. Не гильотина же, в конце концов. Волосы отрастут, куда они денутся?



Ербанов соглашался только на усы. Без отрыва от сцены у него разгоралась интрижка с актрисой, игравшей проходную роль телефонистки из Смольного. Промедление было смерти подобно. Главный герой боялся, что телефонистка от лысого и разом постаревшего Ильича уйдет к балтийскому матросу, моложе и выше ростом.

В ходе закулисных переговоров Ербанову, отцу троих детей, намекнули, что не успеет отрасти шевелюра, как очередь на трехкомнатную квартиру, в которой он стоял не первый год, сказочно продвинется. Народный артист отказался, гордо потряхнув крашеными волосами.

И все-таки артисту пришлось остричься. Под ноль. Но было поздно.

Взбешенная не столько очередной интрижкой, сколько отказом от квартиры, жена Ербанова, бухгалтер театра, опрокинула над головой телефонистки трехлитровую банку. Не пожалела пивной тары, ходовой в розлив. Лишь на первый взгляд в банке плескалось выдохшееся пиво, на самом деле — моча. Барышня-телефонистка с криком выскочила из гримерной в коридор. Ербанов заступился за партнершу по спектаклю. Последовал «красный террор». Ядреный остаток в банке супруга вытряхнула на буйную не по чину шевелюру Ильича. Волосы отказника и развратника склеились, будто лаком, и окрасились, будто хной.

По городу Улан-Удэ поползли липкие слухи. Когда Ербанов в парике появлялся в спектакле по пьесе Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба», с задних рядов вместо всхлипываний раздавались неуместные смешки.

Балтийский матрос от телефонистки отказался, и она в знак протеста связалась с деклассированным элементом.

Сложилась революционная ситуация: верхи (партия) хотели — низы (артисты-оппортунисты) не смогли. Был издан декрет. Шедевр ленинаны передали в другой театр.

Пробил час «Кремлевских курантов» для труппы Русского драматического театра. Были обещаны премии и звания. Наконец-то неакадемический (в отличие от Бурдрамы) коллектив мог взять Зимний. Успеху штурма способствовала общая диспозиция сторон, красная дата и поголовное отсутствие эпикантуса в постановочной труппе.

Роль Ленина доверили артисту Турецкому. Был он без усов, без званий, хлипок, тонконог, невысок, лица обыкновенного, зато волос на голове — тоньше струи из комариной писки. Через пару лет могла образоваться вполне идеологически выдержанная лысина. Но сроки поджимали. До исторического выстрела крейсера оставался месяц и три звонка в фойе.

Репетировали день и ночь. Премьера состоялась в назначенный час. Были цветы и овации. Появились благожелательные рецензии в местной прессе. В них отмечалось внутреннее и внешнее сходство протагониста с прототипом. Имелась в виду легкая картавость и лысина под кепкой. Кепку Турецкий время от времени сдергивал, демонстрируя работу мысли. Говорил Ильич по писаному. Шинковал апрельские тезисы, что мелкобуржуазную капусту в октябре.



Премии выплатили незамедлительно, до окончания периода массовой засолки белокочанной. Турецкого представили на звание народного артиста Бурятской АССР, минуя заслуженного.

Звонить бы «Кремлевским курантам» по репертуарному расписанию, играть бы актерам без всякого эпикантуса вплоть до полной и окончательной победы большевиков, кабы с исполнителем главной роли не стало твориться странное.

Турецкий не лез на броневик, да его и не было под ногами, не картавил на людных площадях, засунув большой палец в пройму жилета. Просто артиста стали узнавать на улице и в трамвае, приглашать в школы и на фабрики, заводы. Турецкий разговаривал с простым человеком с характерным прищуром, слегка склонив головку.

Школьникам он советовал учиться, учиться и учиться. Рабочим разъяснял текущий момент. Выспрашивал пролетарскую аудиторию, есть ли среди нее печник. На улице он строго указывал дворникам на небрежные закрайки снега, на рынке грозился реорганизовать Рабкрин и брал на карандаш нарушения правил торговли, для чего завел блокнот. И повсеместно — на автовокзале, в магазине, поликлинике, у кассы «Спортлото» и даже у пивнушки — регулировал очередность с криком: «Один шаг вперед, два шага назад!» В последнем месте агитации за власть Советов контрреволюционные элементы хотели побить провокатора, но кто-то гаркнул: «Стойте, товарищи, это же Ленин!»

Дальше — больше. В театр пошли ходоки, соря семечками и следя валенками на паркете, чем вызывали праведный гнев уборщиц. С ходоками Ильич вел душевные беседы, интересовался видами на урожай, продразверсткой и призывал брать власть в аймаках в свои руки, именуя правительством Временным.

Последней каплей стал инцидент на сессии Верховного Хурала. Узнавший постом милиции, актер без помех пробрался на закрытое собрание и, хотя в зале были свободные места, а один депутат готов был уступить кресло вождю поближе, присел на ступеньки у сцены, под трибуной, на виду у всех. Снял кепку, вынул блокнот и принялся строчить.

Народного артиста втихую повязали и увезли в отделение пограничных состояний Республиканского психоневрологического диспансера. Однако через день выпустили, признав вменяемым.

По Улан-Удэ поползли липкие слухи. Дескать, у Ленина поехал чердак. И впрямь, с головы Турецкого усиленно полез волос. Образовалась харизматическая плешь.

«Кремлевские куранты» были дискредитированы без декрета. Спектакль изъняли из текущего репертуара. А тут и реформы в стране, о которых так долго не говорили большевики, поспели.

Сам Турецкий бежал. Злые языки болтали — в Разлив на Байкале. Отсидевшись в шалаше, опальный вождь опять двинул в политику. В середине девяностых он всплыл в штабе избирательного блока «Родина» в роли помощника депутата Государственной Думы второго созыва. Я видел его в аэропорту Домодедово, где он спорил с девушкой в синей униформе, регулируя посадку рейса Москва — Якутск.

Огрызок 6

Напоследок немного ретуши — огрызком театрального карандаша.

История сделала виток — параболой подрисованной брови в душевой примерке. Не зря мама закатывала глаза, не зря с пеной на губах каталась по сырой земле и чертила прохудившимися сапожками иероглифы конвульсий.

Много лет спустя, когда мама уже ушла из театра, я купил в магазине «Знание» книгу «Милитаристы на скамье подсудимых». Не немецко-фашистские — японские милитаристы. Мама вычитала, что, оказывается, в Хайларе был расквартирован филиал отряда № 731 императорской армии Японии. Те самые странные, тихие японцы, скупавшие у местной детворы полевых мышей.

Эти мыши, а также крысы, сурки и другие грызуны, прочитала мама в материалах Токийского и Хабаровского процессов, заражались бактериями тифа, холеры, оспы, чумы и прочей заразы. Японская армия, захватившая Маньчжурию, готовилась к войне с СССР, бактериологической в том числе. По показаниям некоего Мориты, только в Хайларском филиале № 543 в годы Второй мировой одновременно содержалось около 13 тысяч крыс, зараженных блохами. А в тридцатых годах в сараях на окраине Хайлара, куда мальчиком бегал мой дядя Мантык, ставили опыты над полевыми мышами, разводили блох. Кухня дьявола.

От мышей перешли к людям. В отряде № 731 их именовали «бревнами». А с бревнами можно делать все что угодно. Расчленять вживую, пытать током, обмораживать, заражать газовой гангреной... Заключенных привязывали в поле к железным столбам, взрывали перед ними снаряды, начиненные шрапнелью с бактериями газовой гангрены, чумными и холерными блохами. Перед зверствами японских милитаристов бледнеют чудовищные опыты нацистов, писала шершавым языком пропаганды «Правда». В данном случае писала правду.

«Бревен» требовалось все больше и больше. «Особые отправки» — токуи адукаи — подопытных людей со станции Хайлар производились ночью в другие филиалы отряда № 731 — в лагеря в Муданьцзяне, Сунью и Тоане. Ножные и ручные кандалы, веревки для арестованных, по отчетам штаба квантунской жандармерии, исчислялись сотнями штук и метров.

Военнопленных для опытов не хватало — начали брать гражданских. Желательно физически сильных, способных выдержать долгие мучения. Дед Иста чудом избежал ареста японским пехотным патрулем, но вторично в той же воронке было не спрятаться. Кабы толстый косоглазый фельдфебель медицинской службы не узнал девчонку, продавшую ему полевых мышей после бегства зараженной хвостатой твари из лаборатории, то, скорее всего, чемодан из Хайлара собирать было бы некому...

В конце века, когда ездить через границу стало легче, в Улан-Удэ из Хайлара приехала мамина одноклассница по белогвардейской гимназии, куда они ходили маленькими девочками. Пожилая китайка говорила



на старорежимном русском языке и держала спину так, будто находилась в корсете из «Кармен». Помешивая ложечкой фруктовый компот и нахваливая домашнее печенье, она рассказала, что ни один человек из «особых отправок» обратно в Хайлар не вернулся. Ни в тридцатых годах, ни позже.

Мама часто играла свое отсутствие. Прятки — из той же оперы. Эту роль она сыграла и напоследок.

«Матигаи дэс». Вы не туда попали. Фразу, которую она произносила по телефону без русского перевода, не скажешь вооруженным гостям. А театр понятен без перевода.

Фельдфебель посчитал, что бьющаяся в судорогах девчонка невероятным образом успела заразиться чумой, и поспешил ретироваться. Больные для опытов не годятся, да и самому, не ровен час, можно подцепить заразу.

Почему мама избрала театральный сценарий спасения семьи? Кто ей шепнул в предлагаемых обстоятельствах сделать гримом грязь? Почему решила рухнуть на землю, закатить глаза, вывалить язык, до смерти напугав родных и врагов?

Она и сама не могла объяснить, какой бес ее дернул.

Этот бес — талант. Необъяснимый, чудесный. Спасительный. Штрих мастера черным карандашом ВТО.

Занавес. Bravo, мама. Bravo нашему роду.

«Заря коммунизма»

В пожелтевшую газету с таким названием была завернута медная чашечка на тонкой ножке, вывезенная из Хайлара. Разбирая содержимое фибрового чемодана, хмыкнул: ничего лучшего для обертки, кроме газетки, в которой я одно время прозябал, мама не нашла? Тряпицу или марлю там. Буддийская все-таки вещица. Эту чашечку для воскурения благовоений дал в дорогу в 1935 году Сэсэн-лама. За то, что девочка Валя мыла полы в маленьком дацане, он стоял на одной улице с домом моего деда Исты.

В чашечку я насыпал рис, воткнул в него палочки хужэ, чтобы мама от дымка благовоений чихнула в райской стране Диваажан. А газету расправил и уложил обратно в чемодан. В папку с фотками разных лет и справками — консульства СССР в Маньчжурии, ОВИРа НКВД, наркодиспансера о кодировании. На папке-скоросшивателе значилось: «Дело №».

Мама и тут оказалась права: у буддизма и коммунизма куда больше общего, чем у восхода с закатом. О том еще Агван Доржиев толковал. Однако был истолкован предвзято. Ему пришили дело. И судьба его закатилась в тюрьме.

Полвека спустя после бегства семейства деда Исты из Хайлара меня сослали из республиканской ежедневной газеты в районную «Зарю коммунизма». За появление в пьяном виде на рабочем месте. Команди-



ровали на сельхозработы, пошутила машинистка Люда. В ссылку я взял фибровый чемодан.

Но я бежал из ссылки, потеряв туфли... Впрочем, по порядку.

Несмотря на убойное название, «Заря коммунизма» освещала жизнь района тускло. Блеклая газета печаталась дедовским способом, испытанным большевиками перед II съездом РСДРП. Типичная районка. В редакции я заведовал отделом сельского хозяйства. Отдел состоял из меня одного. Чтобы добраться до героев сельской нивы — неулыбчивых доярок, смуглых чабанов и хмурых механизаторов, — я вставал ни свет ни заря и два часа трясся на электричке.

Езда на передний край пятилетки стала утомлять, и я часто ночевал в редакции на газетных подшивках. Члены трудового коллектива снабжали дарами собственных огородов. Выдвижные ящики моего рабочего стола были забиты надкусанными шматками сала и огрызками огурцов. Появились мыши. Уборщица тетя Тася приносила на ночь рыжего кота по кличке Котя. Котя торопливо догрызал огурцы и шкурки сала, потом вспрыгивал на меня, сквозь сон я переворачивался на левый бок, и кот, урча, до утра грел мою натруженную за день печень.

Напротив окон редакции, замыкая общий двор, располагалась бухгалтерия треста «Бурмежводхозспецмелиорация». За точность наименования не отвечаю. Одним словом, что-то длинное и скучное. Милая женщина в светлой кофточке, отрываясь от деревянных счетов и арифмометра, с тоской наблюдала, как мы в разгар рабочего дня распиваем портвейн «777» или агдам, а ближе к вечеру, после сдачи номера, и водочку. Поймав взгляд из противоположного окна, мы предлагали симпатичной бухгалтерше заняться мелиорацией — осушением болота трудовых буден. Делали жесты, намекая на бурение и брудершафт в одном флаконе. Женщина в окне печально улыбалась, качая головой, и со вздохом — казалось, мы слышим этот вздох! — бралась опять за костяшки счетов.

В просторном бревенчатом здании, вытянутом литерой «Г», кроме редакции находилась типография. В короткой шляпке литеры — три кабинета корреспондентов и темнушка фотолаборатории, в длинной ножке — типографский цех, бухгалтерия и кабинет редактора. В каморке фотолаборатории отсыпались уработавшиеся репортеры. Редактор Жапов заседал в другой половине здания, чтобы не видеть пьянства сотрудников и, по его логике, не нести за это персональной ответственности.

Печать полос была тусклой, но высокой. Никто не замечал высокой низости полиграфического термина: два линотипа, один в вечном ремонте, обшарпанная печатная машина эпохи военного коммунизма и наборные столы с трехлитровыми банками сока по углам. Сок давали за вредность. За свинцовую пыль.

Матери-одиночки просили погасить вредность не соком, а деньгами. Директор типографии отсылал их к редактору Жапову, члену бюро райкома КПСС. Редактор носил широкие галстуки с пышными узлами. Если бы Жапов работал в типографии, то галстук мог бы сойти за фар-



тук. Галстук диссонировал с щуплым телом, закованным в темный костюм-тройку. Огромные роговые очки еле держались на коротком носу. На лацкане редакторского пиджака краснел значок члена бюро. Даже в жару. На сорочку значок не нацепишь. Рассказывали, сошедшая с электрички женщина с ребенком спросила у Жапова, как пройти туда-то. Жапов поправил очки и буркнул: «Не знаю, я член бюро».

Другим предметом гордости редактора был диплом ВПШ — Высшей партийной школы. Не ведая о том, тройка типографских женщин явилась к Жапову с петицией о монетарной замене сока. Вместо того чтобы простым языком, как Ленин — ходокам, объяснить, что против вышестоящей директивы у него кишка тонка, погнал пургу. Начал с тяжелого, как типографские станки, наследия царизма, заострил внимание на базисе и надстройке диалектического материализма и по спирали истории в русле переходной фазы от социализма к коммунизму закончил сложной международной обстановкой. Оживил в памяти конспекты ВПШ. Иначе говоря, мужайтесь, женщины Востока, под свинцовыми тучами высокой печати неумолимо тлеет заря коммунизма.

— Зря коммунизма, — во всеуслышание брякнул я, умышленно пропустив букву «а».

Сказано было под портвешок. Острота имела успех. Не только в редакции. С другой половины здания мне прислали банку персикового сока. Чумадые печатницы чумели от свинцовых мерзостей переходной фазы. В стране зрели перемены. Гиря до полу дошла, говорила уборщица тетя Тася. После моего красного словца крамольные разговоры за наборными столами возобновились с красной строки.

Мысли материальны, учит буддизм. Впрочем, как всякая религия, включая коммунизм.

Рано утром, когда я сладко почивал на газетных подшивках, в редакцию ворвался Жапов. На нем не было лица и галстука. Костюм, правда, был. Редактор потрясал свежей газеткой. Указательный палец Жапова был черным от краски. Палец он вонзил в закопченный потолок редакции с одинокой лампочкой Ильича.

Вместо приветствия Жапов сказал, что он член бюро райкома партии. И, как член бюро, несет персональную ответственность. Не допустит. Не позволит. Сделает оргвыводы. Он поправил очки.

— Да чего случилось-то? — отступил я к углу с рукомойником. (Хоть зубы почистить после вчерашнего.)

Жапов продолжал кликушествовать. Что-то насчет идеологической диверсии. Устав от политинформации, снял сползавшие с потного носа очки и протер их мокрым (от слез?) платком.

— Учтите, мы дорого заплатим... Надо еще взять почту, телеграф... Промедление смерти подобно! — Редактор начал говорить ленинскими цитатами.

Этих выпускников ВПШ надо стрелять из ППШ. Кивая, я успел выдавить зубную пасту и сполоснуть рот.

Жапов швырнул номер газеты на стол и ткнул черным пальцем в текст, очеркнутый красным карандашом. На первой полосе красовалось: «ЗРЯ КОММУНИЗМА». Заглавными буквами в анонсе номера!

Слава КПСС, не в названии газеты: это было бы слишком. В прежнее время за такое могли без слов поставить на вид. К стенке.

— Кстати, звонил Брагин... — угадывая ход моих мыслей, упавшим голосом сказал Жапов.

Редактор полакал воды прямо из умывальника. Как ученый кот Котя. Брагин был председателем районного отделения КГБ.

— Это все из-за ваших шуточек... Зря — зря... Вы и на прежнем месте прославились! Предупреждали меня...

— Ничего страшного, дадим опровержение, — заметил я.

Жапов булькнул горлом, дернулся и забежал от рукомоЙника к двери.

— Какое опроверж... Это политическая близорукость!.. Опровержение — это признание вины. Приговор!

— Тогда малюсенькая поправка... мелким шрифтом... непарелью... — забормотал я. — Еще Доржиев говорил...

Бормоча, я отгеснял расстроенного Жапова от угла письменного стола, где за тумбой таилась бутылка недопитого портвейна.

— Прекратите толкаться... Вы говорите чудовищные вещи! При чем тут служитель культа, к тому же репрессированный? — Последнее слово сказано шепотом.

На территории района был улус Хара-Шибирь, родина Агвана Доржиева, наставника Далай-ламы XIII. Проезжая небольшое село с потемневшими крышами, я в разных вариантах — с русскими выражениями и напевными бурятскими междометиями — слышал от местных жителей одну и ту же легенду.

История выглядела так. В буддизме имеется пророчество о том, что на берегу «студеного северного моря» новые люди построят маленькую Шамбалу. Под студеным северным морем подразумевалась Балтика, Питер, но харашибирцы упрямо считали, что это Байкал. Красный стяг не случайно буддийского колера, это цвет знамени легендарной Шамбалы, повторял невежественным большевикам Агван Доржиев. Шамбала есть коммунизм. Зри в зарю. Точка.

— Прекратите толкаться и нести околесицу! — поправил отсутствующий галстук редактор. — Знаю я эту вашу историю. Можете рассказать ее Брагину... непарелью.

И расскажу. На встрече с наркомом просвещения Луначарским Доржиев спросил, какую религию изберет в России новая власть. «Мы, большевики, ни в Бога, ни в черта не верим», — ответил ему Луначарский на заре советской власти. «Ох, зря... — покачал головой Агван Доржиев. — А ведь наши взгляды близки. Вы не хотите ни богатых, ни бедных. И буддизм проповедует всеобщее равенство. Стройте новую жизнь на основе буддийского учения. Оно снаружи и изнутри крепкое. Ибо вечно-го нет. Если ваши действия будут правильными, а помыслы — чистыми, строй ваш продержится семьсот лет. Все, что не разваливается снаружи,

разрушается изнутри. Если не выберете буддизм, то вашей власти отпущен срок жизни одного человека...»

Так оно и получилось. Заря коммунизма не взошла. Большевики прошляпили исторический шанс — закодировать (похлеще, чем в наркологическом диспансере) человечество на лучшую жизнь. Все, что не разрушается снаружи, разрушается изнутри. Эту истину знают даже алкоголики.

— Вы что, пьяны?! — Жапов с треском порвал ненавистный номер газеты и шагнул в сторону.

Раздался дикий визг. Метнулась тень. Кот Котя прыгнул на штору.

А штора держалась на соплях, давно говорила уборщица тетя Тася редактору. Штора с гардиной со скрежетом рухнула. Поднялась пыль.

Жапов попятился к умывальнику и наступил на таз. Мыльная вода заляпала линзы роговых очков редактора.

— Вон из редакции! — вскричал Жапов. — Думаете, я не вижу?!

Он протер очки пальцами. Брюки его были мокрыми.

— Заря — зря... Зря стараетесь, враги народа! Предупреждали меня... Пишите заявление по собственному или я вас уволю по тридцать третьей!

— За что, Вячеслав Баирович? Норму строк я перевыполняю...

— За то! Опровержения не будет, не надейтесь... А это что? Думаете, редактор на той половине не видит, не слышит?! — Жапов ловко, как кошка лапой, махнул рукой, извзял из-под стола бутылку портвейна, со стуком водрузил на стол и рухнул на стул.

Тяжелой шторой повисла пауза. Редактор сидел посреди разгромленного кабинета, в мокрых брюках и заляпанных очках. Бутылка на столе смотрелась двусмысленно.

— Погонят меня из бюро, как пить дать... а то и, того... из партии.

Жапов вздохнул и посмотрел в окно. Жители райцентра шли на работу, весело переговаривались.

Мне стало даже жаль Жапова. Все-таки он взял меня на работу, когда отказали другие редакции. Я пошел к двери.

— Стой, ты куда?

— Вы же сказали, Вячеслав Баирович, вон из редакции... Еще успею на утреннюю электричку.

На самом деле я собирался в дощатый туалет во дворе.

— погоди, наливай давай... Что это? Портвейн? Агдам? Ну и гадость вы тут пьете!

Карьера члена бюро райкома партии Жапова едва не накрылась мятым дюралюминиевым тазом из-под рукомойника. Кабы не бдительное око чекистов.

Тираж районной газеты составлял три с лишним тысячи экземпляров. Из них половина уходила коллективным подписчикам — в леспромхозы и колхозы, на свинокомплекс, ремонтно-механический завод, плавишкошпатовый карьер, в учреждения. Пригородный район бурно раз-

вивался, к распространению печатного органа райкома КПСС подключились парткомы. Активисты бесплатно раздавали газету на проходных, оставляли ее на рабочих местах. И этим фактом гордился Жапов: при нем тираж заметно вырос.

— Представь, как бы смеялись рабочие... Гадость! — поморщился он от портвейна.

Короткий нос съезжился — очки чуть не упали, но редактор привычным движением водрузил их на место. Ему предлагали сменить тяжелую, в пол-лица роговую оправу по моде тех лет, когда он в типографии во время политинформации уронил очки на пол. Однако Жапов дальнорорко считал, что они придают ему солидности. Как члену бюро.

Я хотел успокоить редактора: рабочие газету не читают. (В лучшем случае выкладывают на нее бутерброды и вареные яйца во время перерыва — сам видел, в худшем — в условиях дефицита туалетной бумаги — аполитично смяв «Зарю коммунизма», ходят с ней до ветру. Этого я не видел — слышал.) Да вовремя прикусил язык.

Редактор, выпив, успокоился. Лицо его порозовело. Я предложил сбегать за второй. Он не ответил — это я расценил как добрый знак. Авось не уволят.

Впрочем, молчание ничего не значило. Редактор Жапов никогда не отвечал на сложные вопросы.

Большого бенца удалось избежать, после паузы сообщил Жапов. И демократично хрустнул огурцом. Отправку тиража на предприятия остановили в семь утра. Еще примерно семьсот номеров поступали в розницу, в киоски. Но почта взята. Революционная ситуация требовала захватить телефон, телеграф, станцию. А вот слухи не захватить. Задержка печати все равно дойдет до первого секретаря, продолжал Жапов. И Брагин в курсе. Сейчас срочно, с ночи, печатается новый тираж, прежний после доставки во двор типографии пустят под нож.

То-то я ворочался на подшивках. За стеной равномерно стучало.

Опечатку с политическим душком обнаружил сторож типографии, пенсионер. У него я иногда просил заварку. Коротая время, сторож сел читать газету — и сон как рукой сняло. Самое смешное, старик-то беспартийный, с пятью классами образования. И ведь сообразил позвонить дежурному районного КГБ.

Вот гад, подумал я, мог бы и мне сказать, через стенку ночуем. Даром, что ли, позапрошлой ночью угощал старика «Степной украинской» крепостью двадцать восемь градусов, привезенной из командировки в дальний леспромхоз? И сторож, между прочим, настойку нахваливал, оппортунист хренов.

Эта заря никогда не станет дневным светом. Неблагодарный редактор недалеко от сторожа ушел. Допив агдам, Жапов протер значок на лацкане и потребовал прекратить пьянство на рабочем месте. Касается всех! И пнул мятый таз.

Эдак, распалившись, он к тезису моего увольнения вернется.



— Кстати, шеф, как насчет индивидуальной подписки? Там своих сторожей хватает, — меняя тему, озабоченно изрек я.

И демонстративно швырнул пустую бутылку в ведро.

— Ситуация в жилом секторе под контролем, — не поворачивая головы, ответил Жапов. — Выход почтальонов на линию задержан до обеда, когда отпечатают новый тираж.

Редактор отряхнул пиджак, извлек из кармана галстук и стал его повязывать перед мутным зеркальцем, висевшим рядом с умывальником.

— Но ты прав: береженого Бог бережет... Набери номер почты, — невнятно сказал он и с наполовину завязанным галстуком взял трубку: — Алло, почта?.. Это опять Жапов, член бюро. Как там насчет почтальонов, я будировал данный вопрос...

Минуту он слушал с каменным лицом, потом сорвал галстук и бросил трубку. Нет, сперва бросил трубку, потом сорвал галстук. И уронил очки на стол.

Я подумал, это верещит кот. Но это кричал редактор.

Пришедшая на работу корреспондентка отдела писем Люба Виляк от испуга запнулась о порог, растянулась в проходе и заплакала.

Кот Котя пробежал по павшему телу и ринулся на волю, подальше от людей.

Оказалось, один почтальон каким-то путем разнес-таки почту. В том числе крамольную «Зарю коммунизма». Экземпляров тридцать. Почтовики наотрез отказались изымать доставленные подписные издания из частного сектора. Так и сказали: «Это ваши проблемы». Зато обещали выдать адреса и явки.

Прихрамывающую Любу отправили на почту за списком.

— Промедление смерти подобно! — заявил Жапов час спустя на внеочередной летучке.

Галстук редактор повязал, брюки сменил, очки решительно блестели.

Индивидуальных подписчиков у газеты было немного — не более трехсот. Собственно, читать в районке было нечего. Бодрые репортажи с полей, ферм, из цехов да постановления райисполкома. Люди выпи-сывали газету под напором профсоюзных организаций, а также из-за субботнего номера, где печаталась телепрограмма и объявления. Первую полосу такие читатели пропускали.

Тем не менее газетой в доме дорожили. «По прочтении сжечь». Жители частного сектора, беря в руки прессу, неуклонно следовали правилу разведчиков и сексотов. Она шла на растопку печи. Другой точкой ликвидации источника информации было загадочное для заокеанских резидентов дощатое строение в дальнем углу огорода.

Устойчивым местом утилизации прессы также являлся колхозный рынок. Ценились простыни центральной «Правды» и ее подобий в областных центрах. Если магазины худо-бедно снабжались оберточной бумагой, то частные торгаши испытывали в ней большую нужду.



На селе газета пользовалась еще большим успехом, чем в городах. наших и заокеанских. В этом сегменте рынка «Заря коммунизма» могла составить конкуренцию «Вашингтон пост», «Бостон глоб» и «Лос-Анджелес таймс» вместе взятым. Не говоря о цветастом «Плейбое». Пусти его, козла, в огород — глянец не дал бы ему в сибирских условиях реализоваться в полной мере. Да и горел он из рук вон плохо.

Однако у «Зари» имелся въедливый контингент подписчиков: ветераны партии, пенсионеры, местные правдоискатели и умалишенные. Те самые «сторожа». Они сторожили любую опечатку. И при обнаружении оной с торжествующим видом заявлялись в редакцию, потрясая номером. Некоторые сигнализировали в органы.

Тут же не рядовая опечатка. В ней проглядывался умысел текущего момента: в стране начали вводить продуктовые талоны и зарплату повсеместно обзывали *зряплатой*.

— Еще припаяют политику, — изрек фотокор Гриша Лаврухин. Этого боялся Жапов. Этого боялись мы.

В молодости по пьяной лавочке Лаврухин украл у соседа поросенка, отсидел два года на общем режиме, где обзавелся сизыми наколками на руках и ногах. На толстых икрах сообщалось: «Они устали». На правом запястье: «Пусть работает медведь, у него четыре лапы», на левом были наколоты ручные часы, а на ремешке лаконично: «Время жрать». Корявые татуировки Гриша тщетно пытался вытравить, летом носил рубашки с длинным рукавом, словно наркоман какой. Лишь на личном огороде он щеголял в черных сатиновых трусах до колен.

Если уж фотокорреспондент, пятое колесо редакционной телеги, заволновался, что говорить о литсотрудниках?

Ольга Борисовна, корректорша на полставки, статная женщина с бюстом восьмого размера, срочно, с утра пораньше, ушла в декрет. Завистницы из типографии предположили, что опечатка произошла из-за восьмого размера. Дескать, бюст, на котором золотой кулон лежал параллельно корректорскому столу, помешал Ольге Борисовне узреть ошибку на первой полосе.

Мое увольнение Жапов отложил до «окончательного решения актуального вопроса». Выпускник ВПШ положительно не умел говорить человеческим языком. В переводе фраза звучала банально: *рой носом землю, авось нароешь прощение*.

На планерке Жапов беспрерывно пил воду из графина. Хотя в конце апреля в наших краях не жарко. Мухи по редакторскому кабинету летали робко; одна, отбившись от коллектива, вкравшейся опечаткой сонно ползала по пыльной, немойтой с зимы странице окна.

Поиски других виновных хозяин кабинета также отложил до лучших времен. Хотя бы потому, что редактор обязан последним подписывать полосы в печать. Не будешь же самого себя искать? Жапов был профессиональным бездельником. Да и времени в обрез.

Почтальон-шатун опоздал на свою планерку, явился сразу в отдел экспедиции. И до ареста подписных изданий успел набить сумку двадца-



тью восемью экземплярами идеологически вредного номера «Зари коммунизма». Их-то и следовало в течение дня «экспроприировать», по выражению редактора.

Жапов энергично прибил свернутой газеткой муху. Одним ударом резюмировал разбор полетов и утвердил план операции.

Редакция насчитывала семь штыков. На каждый штык-перо приходилось четыре-пять экземпляров. Но это грубая арифметика. Кроме меня, Гришы Лаврухина и Любы Виляк в бой планировалось бросить отозванную из липового декрета корректоршу (в законном декретном отпуске находилась Аннушка, ответственный секретарь), заместителя редактора Саню Гуторова и молодую литсотрудницу Надю Шершавову, писавшую под псевдонимом Н. Остроумова. Комсомолка Надежда отдаленно походила на киноактрису и была перворазрядницей по лыжам и без пяти минут кандидатом в мастера спорта. Надежда подавала надежды. Однако когда у Нади перестала расти грудь и начали расти усики, она бесповоротно, наплевав на причитания тренера, ушла с лыжни и принялась писать про спорт в газету. В итоге грудь у незамужней Надежды развилась до нормальных размеров. Мужские голоса регулярно названивали ей в редакцию.

Размер имел значение. Стратег Жапов нацелился, как в революционной песне, в царство свободы дорогу грудью проложить. Женской грудью. Половину номеров «Зари» доставили в рабочее общежитие треста «Бурмежводхозспецмелиорация». Это была удача. Семей тут мало. В общежитии жили мужчины в расцвете сил: буровики, водители, экскаваторщики, сварщики, а также вахтовики и командировочные. Целые натуры с мозолистыми руками: схватят, что клещами, — не отпустят. В мужское общежитие редактор откомандировал лучшие женские силы. Лучшие спереди и сзади.

Замужняя корректорша Ольга Борисовна возмутилась. Была она блондинкой, причем натуральной, не говоря о груди восьмого размера. Ее муж работал ассенизатором, много зарабатывал и, судя по некоторым ее репликам, желал, чтобы жена сидела дома. Но дети достигли школьного возраста и домохозяйке стало скучно на кухне.

— А вы бы, Ольга Борисовна, лучше вообще помолчали! — Редактор прихлопнул газеткой муху на столе. — Это по вашей милости, между прочим, мы тут разгребаем. Вляпались, понимаете ли, по уши... как мухи в дерьмо. Учтите, Ольга Борисовна, хоть вы у нас на полставки — отвечать будете по полной.

— Что вы, Вячеслав Баирович, ей-богу, сразу про дерьмо? — оскорбилась она и покосилась на золотой кулон, который провалился в Марианскую впадину груди. — Да меня Сергей с говном съест, ежели я в мужское общежитие зайду...

Что верно, то верно. Супруг корректорши Сергей, невысокий, большеносый, в темно-синем комбинезоне, имел привычку оставлять свою дерьмовозку за углом. Подкатывал с подветренной стороны. Вроде внезапной ревизии. Нестерпимо воняя одеколоном, без стука совал нос в ка-



бинет ответсека, где обычно шла корректура и где в отсутствие Аннушки вечно толкался мужской люд. Ревизовать, как вы уже поняли, было что. У Ольги и «нижний бюст» (выражение фотокора Гриши) был выдающимся. На него засматривались рабселькоры.

— Надо будет — и пойдете, и зайдете, и отдадитесь... э-э... отдадите силы, — поправил очки Жапов.

Худосочная Люба Виляк бездумно поддакнула.

Надежда загадочно помалкивала.

Я поддержал редактора. Насчет отдаться. Отдать все силы.

Лаврухин и Гуторов прыснули с задних рядов. Саня от смеха уронил костыль.

— А вы бы помолчали! — развернула ко мне корабельные жерла грудей Ольга. — Остряк! Без году неделя... По вашей милости мы тут разгребаем, правда, Вячеслав Баирович? Вы, вы, это вы первый сказали про эту зрю... зру... тьфу... зря коммунизма! Кругом и давай повторять: зря, зря. Вот и не зрю ни фига. Сбили с панталыку...

Я признал, что острота сомнительная. Попросил прощения у читателей.

Ольга Борисовна успокоилась и согласилась отдать силы в мужском общежитии. Надежду придали ей в помощь. Перворазрядница ступила на тернистую лыжню молча.

С остальными членами коллектива разобрались быстрее. Люба, нацепив очки на резинке, огласила адреса, с торжествующим квохтаньем нашла знакомые фамилии и заявила, что берет на себя пять подписчиков. Фотокорреспондент взялся нейтрализовать четверых из списка. Люба и Гриша выросли в райцентре и знали многих. Замредактора Саня Гуторов, стуча костылем, подошел к редакторскому телефону, поговорил с кем-то из адресатов и с пафосом сообщил, что абонент — его кореш и он сей же момент, не читая, изрежет газету ножницами и повесит на гвоздик в уборной. К процессу подключили ответственного секретаря Аннушку. На том конце провода она пообещала, как только уснет ребенок, сходить к родственнице-подписчице и лично опустошить почтовый ящик.

Редактор Жапов в счет не шел: ходить по домам ему не позволял авторитет члена бюро райкома.

Был еще водитель редакции Анатолий. Но его в суть операции решили не посвящать из боязни огласки. Чего стоила кличка шофера: Джинс-Толиком. Сам водитель за глаза обзывал Вячеслава Баировича Славой КПСС.

Редактор проинструктировал: подписные номера доставить в редакцию либо, при невозможности экспроприации, уничтожить крамолу на месте. А лучше принести в зубах.

Таким образом, на мою долю досталось три подписчика. Фамилии счастливых обладателей бракованных номеров мне, неместному жителю, ничего не говорили. Передовиками производства они вряд ли были. По крайней мере, среди героев первополосных материалов не мелькали. Два подписчика жили в частных домах и один в благоустроенной трехэтажке.



Так и знал. Едва постучал в высокую калитку, как донесся бешеный лай. Собак я люблю, конечно, но больше на привязи.

Долго не открывали — собака за забором чуть не подавилась слюной. Я уж хотел ретироваться, как калитку распахнула заспанная женщина в ситцевом халатике. Между тем день будний.

— Вы Курбаткина? — сверившись с блокнотом, спросил я.

— Ага, — зевнула хозяйка. — Че надо?

Я сказал, что из газеты.

— Ха! Здравствуйте! — Она перестала зевать. — Че, интервью брать будете?

Курбаткина рассмеялась. Глаза у нее были пыльно-зеленые, как стеклотара, личико мягкое, дряблое, тянуло на полтинник, но короткий халатик открывал странно молодые ноги. Они на моих глазах покрылись гусиной кожей.

— Да вы входите, не то прохладно, — отступила назад хозяйка, теребя шлепанец.

Дом был шлакозасыпной, беленый. Крыша наполовину покрыта рубероидом, наполовину шифером. Во дворе темнела полусгнившая теплица, с краю румянилась новым пролетом.

Над крышей жидкие облака тянулись к слабо зеленеющим грядкам. Над ними уже высоко поднялось солнце. Дело шло к обеду, типография на полных парах печатала новый тираж.

— Шарлотта, фу! — прикрикнула Курбаткина на собаку.

Шарлотта оказалась маленькой рыжей дворняжкой. С лая она перешла на рычание. Так и у людей. Мелкие твари самые вредные.

Я не знал, как ловчее объяснить цель визита. Пока думал, Шарлотта зашла сзади и цапнула за ногу. Я рванулся — штанина затрещала.

Шарлотту побили шлепанцем по морде. Но вельвет это не спасло: на уровне щиколотки зияла дыра. Я чертыхнулся.

— Что ж вы сразу-то... — узнав об экспроприации «Зари коммунизма», закручинилась Курбаткина. — Да вон она, в почтовом ящике, забирайте, пока целая. А штаны новые, поди... У, тварь! — замахнулась хозяйка на собаку.

Раздался скулеж. Я тоже готов был заскулить. Вельветовые брюки жена купила накануне.

— Что ж вы будете ходить с дырой? Проходите в дом, я зашью скоренько, — засуетилась подписчица.

К дому вела дорожка из старых выгнутых досок.

Внутри было тепло. От печи вкусно несло тушеной капустой. На свежвыкрашенных досках лежали узорчатые круги половиков. У двери висел мужской плащ.

— Так, — сказала хозяйка, — сымайте бруки.

— Что? — не понял я.

— Че-че? Я грю, бруки сымайте. Штаны, ну... Да не бойтесь, я одна, — засмеялась Курбаткина. — Как в анекдоте, ха!

Когда хозяйка смеялась, то мгновенно становилась моложе и привлекательней. Снизу вверх.



Поколебавшись, я снял «бруки». В самом деле, не ходить же с дырой? Мне еще двух подписчиков окучивать.

На голени адела царапина. Курбаткина запрочитала:

— Да не бойтесь, Шарлотта — она не бешеная, год назад Матвеевья пьяницу укусила — ниче, по сию пору ходит пьяный...

Хозяйка вынула из шкафчика графинчик — прижечь ранку водкой. Я присел на табурете в плавках и уставился в телевизор.

Не успела Курбаткина вдеть нитку в иглу, как за окном стукнула калитка, взвизгнула собака. В дом, кашляя, вошел мужчина в промасленной робе и громко сказал:

— Алло, Катя, ты где? Давай быс...

Увидев меня, вошедший осекся.

— Че, Паша? Че давать? — выглянула из-за телевизора Катя.

— Да ты, я вижу, уже дала...

Получилось как в анекдоте. Полуголый гость, водочка на столе, жена с чужими штанами в обнимку.

От удара кулаком я сковырнулся с табурета и приземлился на горку поленьев у печи. В руке у меня очутилась кочерга. Но защищаться ею не пришлось.

Курбаткина изо всей силы хрястнула сожителя шлепанцем по лбу. Однако Паша все равно не верил:

— А че водка на столе? А че он голый?

Хозяйка посоветовала спросить об этом Шарлотту. Я показал редакционное удостоверение. Но и это не убедило гражданского мужа. Убедила, как ни странно, опечатка. Политическая диверсия районного масштаба.

Женщина принесла очки. Двухметровый Паша подошел к окну с газетой в руке. Ногтем с черной каемкой провел по первой странице:

— «З-зря коммунизма»... Твою мать! Ну вы там, в газете, даете! Зря коммунизма!.. Ни фиги се... Зря, мля! Это ж другое дело. Тут, брат, не встанет!.. Что ж ты сразу-то не сказал, дорогой?

— А ты че, спрашивал, буйвол? — фыркнула подписчица. — Люди, можно сказать, завтра по этапу пойдут, а он ручищами махать!

Под глазом чесалось. Фингал расцветал зарей. Радугой коммунизма.

Паша с виноватым видом приложил холодный графин к моей скуле (водки не налил, жлоб). Хозяйка предложила чаю. Даже Шарлотта во дворе виляла хвостом.

— После обеда вам принесут новый номер, — махнул я газеткой на прощание.

— Не-ет! — хором вскричали оба.

— Оставьте себе, — добавила Катя.

Паша наклонился и душевно рыгнул:

— Не знаешь, скоко сейчас за политику дают?

После бурного визита к Курбаткиной я взял курс на благоустроенный жилой сектор. Там собак меньше.



Еще на подходе к трехэтажному дому заметил странное шевеление у подъезда. Два мужика, женщина и девочка облепили что-то черное. Я затормозил ход: а если это гроб?

Громоздким черным предметом оказалось пианино.

— Во! Четвертым будешь! — радостно вскричал хлипкий мужичонка в разодранной телогрейке и перекинул через плечо трос. — Во, как раз не хватает. Хозяин щас спустится, будет полный квартет. Хватай веревку давай...

А вот на это я не подписывался. Я даже на «Зарю коммунизма» не подписался, а уж на поднятие бегемота из болота подавно.

Под крышей щебетали птички. Из гнезда высунулась головка. Весна, однако.

— Да ты не ссы, мужик, — тыкал концом троса в лицо напарник. — Хозяйка каждому рупь обещала... И закусь.

— Токо не побейте углы, умоляю, ребята, — вынырнула из-за угла пианино низенькая полная женщина. — Дочке на пианине еще гаммы учить.

— Ага, гаммы, — поддакнула девочка с косичками, копия мамыши.

Стукнула дверь подъезда. Вывалился человек в тельняшке, ковыряясь спичкой в зубах. На животе полоски тельняшки были реже.

— Во, полный комплект! — засуетился мужичонка в телогрейке. — А ну, с четырех концов! Подхватили на счет «три»... И раз, и два...

— Минуточку, — пролистнул я блокнот. — Где тут Худяковы живут, квартира девять?

— Дык это мы и есть! — вынырнула из-за пианино хозяйка.

Я пощурился вверх. Квартира для пианино находилась на третьем этаже. А ведь она могла быть на втором, а то и на первом...

— А вам зачем Худяковы? — Вопрос спустил меня с вершин на землю.

Я сказал, что мне, собственно, нужна «Заря коммунизма», что я из газеты.

— Из газеты-ы? — протянула женщина-колобок и оглядела меня с ног до головы. — Я думала, ханыга какой...

Ага, фингал, штаны заштопанные.

— А удостоверение есть? — пожевал спичку во рту человек в тельняшке.

Изучив документ, он его не вернул, а сунул в бездонный карман спецовки. В ответ на мои протесты выплюнул спичку и сказал:

— Слушай, не кипешишь, корреспондент. Поможешь с музыкой — получишь ксиву, газету и рупь в придачу. Чем тебе плохо? Десять минут делов-то.

Я прикинул: утром фотокор Гриша предлагал сброситься (как раз в гастроном завезли классное «Бяло мицне») — рубля не хватало.

— Кстати, а зачем тебе газета? — буркнул муж хозяйки.



Он ухватился за угол пианино — взъерошил загривок, выпучил красный глаз, вены на шее вспухли. Я путано объяснил насчет опечатки и бракованного номера.

Путь на Голгофу начался с того, что на мою непокрытую голову прицельно какнула птичка. Я рефлекторно опустил свой край — и взревел от боли. Носок туфли лопнул.

Делов оказалось больше, чем на десять минут. Подъезд был узкий. К исходу первого часа возни пианино «Енисей» застряло в пролете, наглухо перекрыв проход жильцам. Молодые сигналы через перила, пожилые поминали Сталина.

И тут с улицы послышался протяжный гудок.

— Мусорка приехала! — донесся радостный мальчишеский крик.

Подъезд наполнился людьми с ведрами. Ведро с мусором передавали через наши головы. Волосы осыпали картофельной кожурой и поливали чем-то мерзким.

Худякова раскудаhtалась по поводу оцарапанного угла музыкального инструмента. Пианино купили для юного дарования с рук. Девочка делала успехи в сольфеджио.

Когда мы одолели пролет, юное дарование на ходу сбало гаммы. От неожиданности я отпустил угол «Енисея» и придавил ту же ногу.

Не было сил кричать — лишь мычать.

Девочка сыграла форте сонату № 2 Шопена. Тема сочинения: гроб с музыкой.

Между вторым и третьим этажами туфля окончательно развалилась. На финишной дистанции хозяин с подачи жены подарил старые кеды. Дар холопу с барской ноги. Кеды были сорок четвертого размера и воняли.

На вершине Джомолунгмы, на пике Коммунизма взошла его заря. Шерпы с трехэтажными матами победно вскинули руки с зажатыми рублями. Кроме честно заработанной денежки и удостоверения мне вручили приз читательских симпатий — подписное издание. За ним девчонка сбегала вниз, к почтовому ящику. Знал бы маршрут восхождения заранее — украл бы газету, и, видит Создатель, сие не считалось бы грехом.

Оба номера «Зари коммунизма» я запихнул в целлофановый пакет, пакет сунул за пазуху.

Спускаться было несравненно легче. И руки свободны. Я цепко держался за перила.

У дома все еще горбатилась мусоросборочная машина. Водитель, кривя уголок рта с папироской, утрамбовывал палкой пахучее содержимое спецтранспорта.

И тут выяснилось, что идти я не могу. Спускаться по лестнице могу, а идти — кеды отказывают. Водитель отдал палку и сел за руль. Опираясь на нее, я доковылял до зева мусорной машины, швырнул туда свои туфли, но промахнулся.

Зря. Зря поминал гроб всеу.



Палимый солнцем, я шел по улице, аки паломник с посохом. Птицы летали низко и молча, целясь в макушку. Хвала небу, идти недалеко: подписчики жили в околотке.

Покусанный, оплеванный, хромой... Терять мне было нечего. Стукнув палкой в калитку, я решительно шагнул внутрь. На всякий случай выставил впереди себя посох.

Собаки во дворе не просматривались. Просматривался гроб.

В гробу лежал старик, задрав кадык и острую седую бороду. Гроб стоял на табуретах, к ним прислонили крышку и пару венков. В изголовье фото в рамке. На красной атласной подушечке тускнел орден и медаль.

— Шо тебе, убогий? — прошепелявила сидевшая на лавке у стены бабушка, едва я шагнул во двор.

К ней лепилась старушка-горбунья в таком же черном платке.

Я поклонился покойнику и застыл надгробием, забыв о цели визита. Горбунья неожиданно резво подкатилась ко мне и вложила что-то в руку. На ладони с мозолями, окровавленными о пианино, лежал пятак.

— Жди покамись на вулице, милай. Кормить будут опосля кладбишша, — молвила бабушка.

Слова явно относились ко мне. Я взглянул на себя чужими глазами: фингал, старые кеды, драные штаны, слипшиеся волосы, не рубаха — рубище...

Я достал блокнот:

— А где Макаров Иннокентий Маркелыч?

— А пред тобой, милай, — прошепелявила бабушка и перекрестилась. — Упокоилась, виш-шь ты, душ-ша раба Божия воина Иннокентия...

Все правильно. И гроб, и фото в траурной рамке, и подушечка с наградами. Покойный был ветераном войны и труда, одним из тех верных подписчиков, на ком держался тираж районной печати. Вспомнил: Люба Виляк писала о нем заметку ко Дню Победы.

Я объявил, что прибыл из газеты. И отбросил посох.

Последние слова услышал вышедший из дома мужчина в темном костюме, похожий на покойного ветерана. Только лицо не бледное, как на фото и в гробу, а красное.

— Еще чего! — возмутился он. — За некролог мы платить не будем. Нам сказали, что за ветерана войны заплатит райком, и баста.

Я успокоил: платить не нужно, нужен свежий номер «Зари коммунизма».

— Еще чего! — снова возмутился Макаров-младший. — Там же некролог о батяне!

Пришлось объяснять, что на первую страницу вкралась опечатка. Газету принесли, местами почему-то мокрую. Но опечатка и некролог читались.

— Вот подвезло батяне! — побурел сын покойного подписчика. — «Зря коммунизма»... И баста. Да он за коммунизм кровь проливал! Похоронить без ошибок не могут, сволочи!



Я поклялся газетой «Правда», что новый, без ошибок, номер «Зари коммунизма» доставят еще до заката.

— Хм... А зачем вам вся газета? — задумался Макаров. — Ошибка-то на первой странице. Зато у нас будет два некролога, понял?

Сын подписчика мыслил прогрессивно, по-рыночному. Некрологи публиковались на последней, четвертой полосе.

Разделить мокрую газету надвое — особое искусство. Я попытался сделать это на пухлой спине Макарова-младшего и испугался за кривой разрыв. Пальцы саднили: я придавил их крышкой пианино между вторым и третьим этажами.

— Стакан держать сможешь, брат? — посочувствовал подозрительный тип в рваных туфлях. — Он взялся разрезать газетные полосы, взмахнул складным ножиком: — Шеф, сделаем в один удар!

На похороны стали подтягиваться окрестные бичи и старицы — обычная в таких случаях публика.

Оркестр состоял из одного музыканта — аккордеониста. Он раздвинул меха и мастерски заиграл сонату № 2 Шопена. Гроб с музыкой.

Я вертел головой, высматривая типа с газетой и ножиком, когда на мое плечо обрушился угол гроба.

— А ну, захлопни варежку! Выпить хошь? Держи, уронишь, твою мать!

Во время траурного шествия про опечатку я не вспоминал. Все мысли были об одном: как бы не отстать от квадриги гробоносильщиков, оправдать доверие группы товарищей.

После того как гроб накрыли крышкой и задвинули вглубь кузова ГАЗ-66 с бумажными венками вдоль бортов, я осел на влажную землю. Грузовик взревел и обдал черной струей. У меня закружилась голова.

Надо мной возник давешний тип с раздвоенным номером газеты. Первую страницу с опечаткой он ухватил левой рукой, правой — нож и вторую половину номера.

— Ну? Тебе какую страницу? Первую или заднюю?

— П-первую... — пролепетал я.

— Первая дороже будет, брат, — заметил доброхот.

— П-почему?

— Пэ-пэ-пэ! — передразнили меня. — Пэ-пэ-пэтому что пэ-пэ-пэ-первая всегда дороже, пэ-понял?

Я огляделся. На окраине поселка мы были одни.

— А з-зачем тебе з-задняя страница? — тянул я время.

Авось на дороге кто-нибудь появится.

— Там некролог, понял, зайчик? А некролог — это пропуск на поминки.

Он рассмеялся, показав беззубый рот, и сплюнул себе под ноги. Ноги были обуты в мои туфли, лопнувшие под тяжестью пианино. У меня не было сил удивляться.

— Ну? Гони капусту, не то первая страница станет последней полосой твоей жизни. С некрологом.



Я вывернул карман. На ладони уместилось все, заработанное кровью и потом, — рубль и пятак. В киоске районная газета стоила копейку. По подписке и того дешевле. За стократную цену еще никто в мире не покупал свежую прессу.

Забрав наличность, продавец склонился, похлопал по плечу:
— Не делай больше ошибок, брат.

До редакции меня подвезли на милицейском «уазике». Повезло: дойти я бы не смог. Гусеницей полз по обочине, потом, не доковыляв до скамейки десяти метров, опустился на мусорную тумбу. И тут меня взяли под ручки. Уж больно вид подозрительный.

Я опережал время. Прическе, обильно сдобренной птичьим пометом, могли позавидовать панки из «Секс pistols», кеды выглядели хипстерски. Синяк под глазом смотрелся органично, по-рокерски.

Но менты захолустного райцентра придерживались консервативных взглядов. Кроме того, я подходил под ориентировку на лицо, находящееся в розыске за неуплату алиментов и изнасилование.

При обыске нашли три номера «Зари коммунизма» с очеркнутыми опечатками.

— Так он еще и диссидент! — проскрежетал некто в штатском.

Газеты не стали выбрасывать, как хотели, а поместили в сейф.

Меня опознал старший лейтенант, с которым ездили в рейд по самогонщикам. Больше всего нам тогда понравился первач на кедровых орешках. Статью подписали двумя фамилиями. Соавтор признал не сразу. Пришлось окликнуть его из окошка ИВС — изолятора временного содержания.

Стараниями старлея меня отпустили и даже дали скоросшиватель для измятых номеров районной газеты. На скоросшивателе значилось: «Дело №».

Когда желтый «уазик» затормозил у редакции, к окну прилип редактор Жапов. Я приветственно помахал папкой. Жапов смылся из окна. Из редакции с криками вывалили сотрудники. Впереди Гриша Лаврухин и Надя Шершавова, за ними семенила Люба Виляк. Последним тащился на костылях заместитель редактора Саня Гуторов. Родные лица!

Я заплакал. Как писал Гуторов в очерке про передового бригадира плавикошпатового карьера, коммуниста, орденосца, «скупые слезы прочертили две светлые бороздки на его закопченном лице». За эти «светлые бороздки» бригадир хотел бить незакопченную Санину рожу, но, узрев, что автор — инвалид, сжалился.

Фотокор и бывшая лыжница по-скаутски скрестили руки, усадили меня и понесли в редакцию. Про синяк никто не спрашивал. На ходу соратники доложили фронтovou сводку.

В целом экспроприация бракованных номеров прошла по плану, утвержденному в штабе операции, — газеты, шурша, слетались в родное гнездо. Гриша и Люба за час разобрались со своими подписчиками. В мужском общежитии жильцы при виде точеной фигуры перворазряд-

ницы Нади и бюста корректорши Ольги принесли подписные издания в клыках.

Потом случилась заминка. Некий вахтовик потерял голову от восьмого размера Ольгиной груди и закрыл ее, грудь, в комнате на первом этаже. Ольга подняла крик. Его в соседней комнате слышала Надя вместе с другим свидетелем. Правда, крик был странный, по восходящей... Этот крик разнесся по райцентру.

Муж корректорши подъехал на дерьмовозке к окну комнаты, где Ольга с командировочным, по их утверждениям, играли в шашки, сунул гофрированную трубу в форточку и отлил из цистерны, судя по показаниям прибора, литров эдак двадцать.

Дело дурно запахло. Ольга заявила коменданту общежития, что в логово разврата ее послал Жапов. Редактора вызвали в райком партии. Не золотуха, так понос, выразился секретарь райкома по идеологии.

А в остальном операция прошла без скандалов. Изъятые в частном секторе номера горкой лежали в коридоре редакции. Нераспечатанные пачки бракованного тиража валялись во дворе прямо на земле: их привезли с почты.

Гриша налил «Бяло мицне». Люба подала местный сэндвич — хлеб с салом и огурцом. Надя помазала ложкой мазью мой синяк. Все говорили наперебой.

Милая женщина в окне напротив, бухгалтер треста «Бурмежводхоз-спецмелиорация», оторвалась от арифмометра и вдруг помахала рукой. У меня перестала ныть нога.

В разгар дружеского застолья вошел Жапов. Разговоры смолкли.

— Ладно уж, вижу, что пьете... — махнул рукой редактор и расслабил галстук.

На его лице блуждала аполитичная улыбка. Редактор известил собравшихся, что ситуация под контролем. До опровержения дело не дошло. В райкоме член бюро Жапов отделался устным выговором. Новую «Зарю коммунизма» отпечатали, доставили на почту и уже разнесли подписчикам. Прежний, политически вредный, тираж придется сдать в пункт макулатуры.

В редакции было необычайно светло. Пыльные шторы, о которые два поколения газетчиков вытирали пальцы, уборщица тетя Тася уволокла в стирку. Упавшую гардину гвоздями размером с карандаш намертво прибил Гриша.

Жапов оглядел мой жалкий вид и осторожно пожал руку. Кажется, меня не уволят. Он объявил сотрудникам благодарность и сказал, что выписал суточные — вместо премии. Командировочные тут же потратили в гастрономе.

У кого-то родилась идея: крамольные номера сжечь. Редактор промолчал.

Мы ринулись во двор. Гриша чиркал спичкой, Саня Гуторов костылем сгребал газеты.

Ответсекретарь Аннушка протаранила коляской калитку, извлекла из коляски газету и торжественно подложила в костер.



Во двор, пованивая дерьмом и грехом, флагманским линкором вплыла Ольга Борисовна. Башенные орудия были расчехлены. Золотой кулон торчал в выемке бюста под углом и искрился. В зрачках корректорши горели бесовские огоньки.

Бутылку пустили по кругу. Жапов, прежде чем хлебнуть из горлышка, поправил очки. Пьяненькая Люба Вияк поцеловала редактора. Поцелуй угодил в нос, и очки слетели.

В воздухе летала сажа. Пачки диссидентской «Зари коммунизма» разваливались кусками огненной лавы, весело треща и трепеща на ветру.

Мы сгрудились у костра. Без очков, с белыми кругами под глазами Жапов выглядел куда человечней. Одна из сажинок легла на вздымающуюся молочную грудь Ольги Борисовны. Редактор сослепу погладил грудь корректорши и размазал сажу.

Трудный рабочий день кончался. На западе слоистые лилово-пепельные облака застыли, подбитые пурпурным мехом.

В коляске заплакал ребенок. Где-то мяукал Котя. Аннушка взяла сыночка на руки. Гриша сделал ему козу. Ребенок хрипло засмеялся. Надя сильными руками лыжницы обхватила тщедушную Любу и в припадке дружелюбия оторвала от земли. Люба вырвалась из объятий и поцеловала костыль Гуторова. Саня от избытка чувств заорал что-то непечатное. Я панибратски хлопнул редактора по спине. От толчка Жапов припал к бюсту корректорши.

Аннушка, не стесняясь, кормила грудью сына, Ольга Борисовна — редактора.

Поправив костер шваброй, в строй газетчиков встала уборщица тетя Тася.

Мы обнялись за плечи. Лица в шеренге лизали отблески костра. Грешные и раненые, мы с боями вышли из окружения. Нашу часть не расформируют.

Многое забылось, но этот миг спонтанного братания и тотальной любви в захолустной редакции, где я, гонимый, был несчастлив и счастлив одновременно, проявился из негатива в позитив и отпечатался в мозгу — не смыть реактивом времени. Не смыть и последнего кадра...

Все кругом окрасилось пурпуром вселенского фотолaborаторного фонаря. Дальнюю вершину укутало багровое одеяние буддийского ламы. Ноздри щекотал едко-горький дымок благовоний. Сытый ребенок в коляске щебетал тибетскую мантру.

Мысли материальны. При свете заката и кровавых сполохов огня вкралось опечаткой: черт возьми, может, это и есть заря коммунизма?

Варежки, ракушка и монокуляр восьмикратного увеличения

Ракушку размером с кулачок и монокуляр восьмикратного увеличения перед укладкой в фибровый чемодан я засунул в варежки. Чтобы не побились. Варежки из монгольской овчины с длинным мехом, с петельками. Чтобы не потерялись. Варежки, что носки, вещь хитрая: обронишь



одну — вся затея насмарку. Носки потерять труднее, разве у любовницы, да и то если застучают, что редко. На худой конец можно ходить в разных носках, особенно в ботинках или в сапогах. С варежками такой номер не пройдет.

У детей жизнь сложнее, чем у взрослых. Сколько я потерял варежек во дворе в ходе битв на снежках, сколько раз меня ругала мама! Даже пришитые к длинному шнурку, продетому в рукава телогрейки, они с треском отрывались во время дружеской потасовки или игры в хоккей. Пока тетя Аня из МНР, удачно вышедшая замуж за дядю Мижида, не подарила мне овчинные варежки. С кожаными петельками. Петли и сохранили подарок.

В свою очередь монгольские варежки донесли до наших дней ракушку и монокуляр. Тоже пара. Как варежки нанизанная на шнурок одной истории.

Ракушку я помню с раннего детства. Но смутно, сквозь пелену болезни и жара. В детстве я часто болел ангиной, гланды потом пришлось вырезать.

Глотнув горячего молока с медом и содой, я ронял тяжелую голову на мокрую подушку и просил ракушку. Мама прикладывала ракушку к моему уху. Я слышал, как волны шуршат и облизывают берег и с шипением оставляют на песке узоры пены. Не успевали они высохнуть, как набегала следующая волна: шш-шу-у-у, шш-шу-у-у... Мне виделась колонна маяка, белый парусник посреди ярко-синей равнины, мокрая газета на шезлонге, чудились крики чаек, удары весла о воду, девчачий смех... И опять: шш-шу-у-у...

Я засыпал, пока мама прижимала ракушку к уху. Другой рукой она промокала полотенцем мой горячий лоб.

Ракушку привезли из Хайлара в фанерном чемодане № 2. Ее подарил маме местный дурачок Бака. Хотя это не имя. «Бака» по-японски — «дурак». Бака был на весь город один такой. Даже японские солдаты его не трогали. Смеялись над ним и подкармливали.

Дураки в Хайларе не задерживались. Время тяжелое, нормальным-то жителям Маньчжурии — коренным и пришлым, беженцам из России, — жрать было нечего. А Бака задержался. Он бормотал по-японски, но мог мешать в своей речи — мутной и быстрой, что ручей у запруды, — монгольские, китайские и русские слова. И все кого-то высматривал поверх голов.

Бака был, вне сомнения, необычным человеком. Иногда у него случались прозрения. И тогда он, встав столбом, с изумлением оглядывал прожженную шинель, рваную, с вылезшими клочьями овчины, шапку, свои черные, не знавшие мыла ладони, ощупывал лицо, редкую бородку, запекшиеся губы и в ужасе кричал — нечленораздельно, гортанно, протягивая руки. Он не просил милостыни или еды. Если прислушаться к дураку, то в потоке разноязыких слов можно было разобрать, что он просит воды и мыла — отмыться от крови...



Говорят, Бака был японцем, рядовым солдатом, тронувшимся умом после резни в провинции Хэбэй, где людей резали как свиней. Он вдруг стал хрюкать в строю и изо всех сил чистить штык обшлагом шинели. Его не отдали под суд, с ним не знали, что делать. Сперва хотели отправить домой, на острова, но начальство приказало оставить сумасшедшего на материке, дабы не позорил императорскую армию на исторической родине. Так Бака отстал от части: его попросту бросили на произвол судьбы. По следам экспедиционного корпуса, точнее по следам полевой кухни, неразумный воин добрал до Хайлара.

Офицеры, которым Бака радостно отдавал честь, прикладывая руку к засаленному малахаю, в упор его не замечали. Рядовые, оглядываясь, украдкой совали консервы и галеты.

С некоторых пор в руках Баки появилась ракушка. А ракушек в засушливой степи за Хайларом на тысячу ли окрест не сыскать. Проще найти дурака. Скорее всего, ракушка была весточкой с родины, ведь солдатам приходили посылки.

Долговязая, непохожая на японскую фигура слонялась по Хайлару, застывала посреди улицы, не обращая внимания на окрики всадников. Сумасшедший прикладывал ракушку к уху и улыбался. Наверное, ему слышался плеск моря у острова Хонсю.

Однажды осенью девочка Валя шла домой из школы, где ее только что приняли в пионеры. Взволнованная, она неосмотрительно оставила на шее красный галстук. И мальчишки из белогвардейской гимназии с криками «Красная жопа!» в который раз обстреляли ее из рогаток и, грохоча ранцами, убежали. Один из камней попал в голову. Спасла тарбаганья шапочка. Все равно над ухом вспухла шишка. Валя заплакала и села на корточки.

— Итай? — спросил по-японски возникший ниоткуда Бака.

Дураки имеют способность возникать ниоткуда.

— Не могу... — сквозь слезы ответила ученица.

— Итай... Больно? Россиадзин? Ты русский? — осторожно потрогал пионерский галстук Бака и шмыгнул носом.

Пионерка не знала, что сказать.

— Дарэ-но? Ты чья?

— Там, — махнула рукой девочка. — Кадзоку... Семья.

— Мусумэ? Дочь? Рёсин? Родители? — оживился, заслышав родную речь, Бака.

Он высморкался и вытер пальцы о шинель.

— Вакаримасэн... Не понимаю, — сказала девочка и потрогала шишку под шапочкой.

Шишка была горячеей. Бака заморгал глазками и опять спросил:

— Итай?

Глазки его гноились. Вместо рукавиц на руках сумасшедшего были рваные шерстяные носки. Из дыры в носке выглядывал указательный палец. Бака погладил Валу по голове, но сделал это неловко, задев шишку. Девочка всхлипнула.



— Кокоро... Сердце... — сморщился Бака.

Он приложил руку к груди, всем своим видом изображая сердечную боль, что он сильно жалеет обиженную девочку. Круглое, закопченное у костра лицо с редкой седой бородкой вытянулось.

Бака вынул из-за пазухи ракушку, потер ее о сожженный рукав шинели и протянул Вале. Та перестала плакать. Она никогда прежде не видела ракушек.

Бака сделал ладонь горкой и приблизил к уху. Валя, следуя совету, прижала ракушку к уху.

Она услышала море.

Проходившие мимо солдаты поманили Баку печеньем, и он мгновенно забыл о девочке с ракушкой.

Так подарок хайларского дурачка оказался в нашей семье.

Десятилетия спустя я отдал ракушку одной девочке из нашего двора, когда она заболела и у нее поднялась температура. Целительное средство я передал ее красивой и рыжеволосой маме с подробной инструкцией по прослушиванию ракушки.

Теперь о монокуляре.

Этому оптическому прибору полвека. Его купил мой отец в магазине «Культтовары». Вывеска полуподвального магазина на улице Ленина так и писалась — с двумя «т». Понятно, товар культурного назначения, однако и культ тоже. Товар — культ.

Я спросил у мамы, что такое культ. Мама отослала с вопросом к папе. Отец подумал и сказал, что культ — что-то недостижимое.

Бинокль, несомненно, один из культов детства. Наряду с ниппельным мячом, классером для марок, складным ножиком, коньками «канады» и велосипедом «Орленок». Даже более культовый — недостижимый. Бинокль целиком принадлежал миру взрослых, в первую голову людей военных.

Мама говорила, что в своем детстве по наличию на груди футляра для бинокля узнавала офицера высокого ранга. Японские вояки, наводнившие в тридцатых годах маньчжурский город, творили зверства. Но люди с биноклями на это не отвлекались, сохраняя отрешенный вид. Наверное, орудуя штыком или саблей, боялись побить дорогие оптические стекла. Или заляпать их кровью.

Да и мамин братик Мантык, со всех ног убежавший от японского дозора, высадившегося на берегу реки, запомнил бинокль. Он висел на груди офицера. Мантык мог поклясться, что командир разведотряда отлично видел его в бинокль и мог при желании подстрелить беглеца, да передумал...

О бинокле мне приходилось только мечтать. Даже не иметь, а хотя бы взглянуть в него краешком глаза — об этом помышлял каждый пацан во дворе.

Отец купил мне монокуляр восьмикратного увеличения. Это как бы распиленный надвое бинокль. Но стоил монокуляр вполне себе кратно — десять рублей с копейками.

В войну отец служил в артиллерии командиром взвода, навиделся биноклей и, может, потому легко, не слыша ворчанья мамы, согласился на дорогую покупку сыну.

Ничего подобного! Играть в войнушку я монокуляр во двор не выносил. Детским умом понимал, что тогда оптике капут. Потому и сохранился монокуляр.

За полвека он испытал удары судьбы, падения, даже погружение в воду. Внук окунул голову с монокуляром в наполненную ванну, думая увидеть на дне морских звезд, глупыш. Внука наказали сидением в шифоньере. После месячного замутнения монокуляр снова увеличивал дальние предметы и людей. Но тайна пропала, как водой смыло.

К моменту покупки монокуляра мы из барака переехали в четырехэтажную благоустроенную хрущевку — одну из первых в городе. Она возвышалась над деревянным жилым оазисом. Мы жили на третьем этаже — с господствующих высот были видны все тайны околотка. Особенно в двухэтажном бараке напротив.

Я обманул папу. Маленький внук был честнее, чем я в бытность свою сопливым пионером. И сидением в темном шифоньере надо бы наказать меня, хотя сейчас я бы вряд ли в нем поместился.

Внук хотел увидеть звезды на дне ванны. Я же сказал папе, что хочу смотреть на звезды в небе и стать космонавтом, как Юрий Гагарин. На самом деле я жаждал познать не тайны мироздания — лишь одну тайну.

Во дворе мне нравилась девочка Аня. На первый взгляд, ничего такого: вздернутый носик, круглая мордашка, челка, жидкая косичка с непроглаженным бантом, острые коленки в царапинах. Аня имела привычку облизывать губы, они у нее были жгуче-красные, обветренные.

Аня жила вдвоем с мамой, на которую заглядывалась мужская половина двора — от старших пацанов до персонального пенсионера Кургузова. И что-то такое, судя по снисходительной не по возрасту усмешке, Аня знала. Знала недетскую тайну.

Два окна Анечкиной квартиры на втором этаже барака подслеповато-заискивающе смотрели — снизу вверх — на мое окно. Но это днем. Вечером горящие окна глядели вызывающе, скрывая за шторами секреты Версаля и Елисейского дворца.

Ерзая на подоконнике с монокуляром, я испытал жестокое разочарование. Окно комнаты, которая служила Ане и ее маме одновременно детской, будуаром и спальней, по вечерам наглухо зашторивалось. В окне же кухни ничего примечательного не происходило — казалось, я слышу запах прогорклого подсолнечного масла и керосина из примуса. Посекундные сеансы в виде незастегнутого халата Аниной мамы — рыжеволосой и длинноногой — ввергали в еще большее уныние.

Зато другие окна барака светились во всю ширь. Я наблюдал суету немых картин за стеклом, простые житейские радости, старался угадать желания движущихся фигурок.

Скользя монокуляром по желтым квадратам, я все чаще стал останавливаться на окнах, соседних с Аниной квартирой. Они-то были как



на ладони. Вернее, меня привлекла ссора. Обычная, каковые каждый день случаются на тысячах кухонь и на десятках языков Советского Союза.

Здесь жили мужчина и женщина, детей я не видел ни разу. Хотя игрушки я засек оптикой — куклу и машинку. Игрушки были новые, не побитые в песочнице, уж в этом я знал толк. Другая странность заключалась в том, что мужчина и женщина спали раздельно. В одной двухспальной кровати, но как бы порознь, ну, вы понимаете, не маленькие... Перед сном мужчина вынимал изо рта съемный протез и клал в стакан с водой, женщина распускала волосы, протирала салфеткой лицо перед зеркалом. При этом они никогда не раздевались полностью: он оставался в пижаме, она в комбинации. Скукота! Ничего такого. Хотя, по логике, «чего такого» происходит в темноте. Только это вряд ли. Как-то за полночь встал в туалет и, сонный, увидел желтое пятно в окне напротив. Сон пропал. Я схватил монокуляр. Свет из прихожей проникал в спальню. Однако никакого шевеления. Спокойной ночи, малыши!

Так вот о ссоре. Сперва муж, лысоватый, в полосатых пижамных штанах, и его жена, пухленькая, в бигудях и красном байковом халате, пили чай. Потом жена отодвинула стакан с чаем, встала, взяла детскую машинку и хватила ею супруга по башке. А игрушки тогда делали не пластмассовые — железные, тяжеленные. Игрушечным самосвалом она разбила нос мужу; он смешно воздевал руки, запрокидывая лысину и утирая платком кровь.

После ссоры мужчина из окон — кухни и спальни — исчез. Вместо него возник другой. Он был моложе и выше. Между женщиной и мужчиной тоже ничего такого не происходило. Поначалу. Потом началось...

День был будний, родители ушли на работу, и никто не мешал моим наблюдениям. Гость снял телогрейку, остался в фартуке и больше часа возился на кухне с печкой — менял чугунную дверцу, что-то подмазывал глиной. За это время я успел сделать домашнее задание по географии — раскрасить контурные карты.

В окне напротив печь разожгли, в кухню повалил дым, но его быстро протянуло. Хозяйка, смеясь, махала руками, мастер скалился. Затем печник долго мыл руки у ракомойника, а хозяйка стояла рядом и держала полотенце.

Женщина преобразилась за время своего отсутствия в окне кухни, пока там работал мастер-печник. Она накрасила губы, надела капроновые чулки и туфли на каблуке. Зачем обувать дома туфли, да еще на каблуке, ума не приложу. Мама это делала только раз в году — вечером 31 декабря. Так то, елки, Новый год!

Молодой печник помыл руки и, улыбаясь, сел за стол. На столе стояла бутылка водки, стопки и тарелки с чем-то горячим, от них шел парок. Хозяйка подкладывала вареву с печи. Смеха я не слышал, однако представлял радостное возбуждение на кухне.

После второй стопки участники застолья закурили.



После третьей стопки женщина вдруг села печнику на колени. Этого не ожидал ни я в своей квартире, ни гость в доме напротив.

Печник встал вместе с хозяйкой на руках, но не понес в другую комнату, а осторожно поставил на ноги возле рукомоЙника. Он потянул с вешалки телогрейку, надел ее, а женщина, наоборот, скинула красный халат. Я подкрутил резкость. Сквозь комбинацию просвечивал черный бюстгальтер. Хозяйка обхватила голыми руками шею печника и пивкой присосалась к его губам.

Мастер-печник оттолкнул бесстыжую хозяйку. Видимо, когда цель видна как на ладони, она теряет привлекательность.

Женщина взяла со стола трешку (она зеленая) и швырнула в лицо. Мастер поднял с пола деньги. Женщина стала срывать с мужчины ватник, что-то крича. Печник опять ее оттолкнул. Она вlepила ему пощечину. Гость с силой хлопнул дверью.

Я протер промокашкой линзу монокуляра. Нет, это была пыль от штукатурки. Там, в окне.

Оставшись одна, женщина села за стол и выкурила две сигареты кряду: их в спешке забыл печник. Затем допила водку в бутылке, две стопки, не закусывая.

Решительно тряхнула волосами, встала, кухонным ножом обрезала бельевую веревку, наискось пересекавшую прихожую. Потом щелкнула пальцами, вспомнив о чем-то, принесла из спальни листок бумаги, ручку и что-то размашисто написала.

Она взяла зубную пасту с полочки над умывальником, открыла дверь и, скорее всего, приклеила пастой листок с обратной стороны двери, выходящей в общий коридор. Положив тюбик на полку, набросила изнутри крючок. Приволокла табуретку в центр кухни, скинула туфли, встала на нее, как-то закрепила веревку на потолке, сделала петлю. Двумя энергичными движениями по-хозяйски проверила крепость веревки...

Я зажмурился. Когда открыл глаз, женщина в задумчивости стояла на табурете с петлей на шее. Я постучал в стекло.

Она сняла петлю, сошла на пол, подняла халат, встряхнула его. При этом из кармашка выпал предмет, но она этого не заметила. Села за стол, подкрасила губы перед зеркальцем, подвела карандашом глаза, поправила прическу, надела туфли.

Я уже облегченно вздохнул, решив, что страшное позади, как хозяйка, наведя марафет, опять полезла в петлю. Симатта, чертыхнулся я по-японски.

Стоять в туфлях на каблуках на эшафоте, должно быть, шатко, если женщина смотрела под ноги, а может, она раздумывала, как бы ловчее оттолкнуть табурет...

Я застучал в окно и заорал.

Она не могла слышать меня, но услышала. Что-то привлекло ее на полу. Женщина слезла с табурета и подняла... ракушку.

Я мог поклясться: это моя ракушка! Я навел резкость монокуляра и увидел, угадал характерный скол с краю — там раковина истончалась.



Я рванулся в прихожую. Зашнуровал кеды и задумался: куда бежать-то? Вернулся на исходную позицию на подоконник. Схватил дрожащей рукой монокуляр.

Женщина сидела за столом, прижав ракушку к уху. Тяжелая петля веревки, как живая, по-змеиному шевелилась над ее головой.

Симатта! Она слушала море.

Как подарок хайларского дурачка очутился у совершенно незнакомой мне женщины? Местные сумасшедшие ходили без ракушек и прочих штучек для слабонервной публики. Я называл дурачков не «баками», а «бьяками». Этим суровым цельным натурам не до телячьих нежностей из реквизита театра кабуки: каждый божий день они решали вопрос выживания.

Дураки Улан-Удэ были подозрительно умны.

Если не возьмут в космонавты, говорил во дворе Витька Самолет, пойду в дураки. Витька был лентяем, двоечником, но не олигофреном.

Наши баки-бьяки заметно грамотней, чем их коллеги в других частях света. Климат не тот. Долго будешь думать — сопли заморозишь. Где бы еще вы могли увидеть дурака, читающего на лавке газету? Процесс чтения начинался с последней страницы. Там регулярно публиковались некрологи и соболезнования с указанием места и времени выноса тела. На поминках дураков отменно поили и кормили.

Когда я работал в «Правде Бурятии», в редакцию за пачками старых газет прибежал дурачок Дима. Их он относил на рынок в качестве оборточного материала, а торговцы давали ему мелочь и съестное. Витька Самолет говорил, что Дима служил в звании капитана то ли НКВД, то ли инквизиции. И во время допроса с пристрастием нечаянно выстрелил из табельного пистолета. Пуля срикошетила и попала в портрет вождя. На этой почве Дима шизанулся. Никто не знал точно его возраста. Он мог на морозном трамвайном окне одним мазком нарисовать портрет Ленина — сам видел!

Наши дураки были сплошными талантами. В Улановке* с ее дощатыми тротуарами, где в черте оседлости росли сосны, сумасшедшие были наперечет — эстрадными знаменитостями пыльных улиц. И каждый немняемый был вмняем в своем репертуаре.

Чехов проездом на Сахалин назвал Верхнеудинск, коряво поименованный позже Улан-Удэ, миленьким городком. По законам классики, словно в гоголевском Миргороде, самая грандиозная лужа располагалась в центре миленького городка на улице Кирова. Свины не купались в ней лишь по причине отсутствия свиней. Редкий пешеход мог птицей долететь до середины лужи — разве что будучи навеселе. Лужа вспухала на глазах даже после однодневного дождя. О, эта лужа была достойна Адмирала!

Зимой и летом Адмирал ходил в кирзовых сапогах. Это еще одна загадка. Дураки Улановки не боялись мороза — не понимали его, как

* Улановка — шутовое наименование Улан-Удэ.



выражались местные. Никто не знал имени-фамилии Адмирала. Чем-то — долговязой фигурой, что ли? — он напоминал японского товарища по несчастью Баку. Адмирал оправдывал высокое звание. В сапогах он забредал в приличную лужу (мелкой избегал, дабы не ронять чина) и, дождавшись скопления народа, зычным голосом отдавал команды типа: «Торпедные аппараты... то-овьсь!» Чем не адмирал? Бинокля ему только не хватало.

Адмирала, как подобает, сопровождала свита — ревущие от восторга юнги, пацаны. В детстве я завидовал дуракам. Честное пионерское! Их все любили и подкармливали.

Будучи умными созданиями, дураки Улановки нарезали круги вокруг Центрального колхозного рынка. Застоявшиеся под открытым небом торговцы встречали полоумных свистом и аплодисментами.

Дураков нет, держи карман шире! Тут была обоюдная выгода. Уличным артистам — кормежка, лавочникам — развлечение и завлечение покупателей. Стоит на базаре дураку подойти к лотку — туда валом валит народ.

Вот, опередив увязшего в луже Адмирала, появилась местная знаменитость — идиот Гриша по кличке Гитлер Капут. Маленький, рябой, хрумкает огурцом. В карманах рваного пальто добыча — горлышки пустых бутылок, в глазах блеск привалившего счастья. После Гриши полбочки соленых огурцов как не бывало. Все кругом хрумкают. Я тоже — стибрил под шумок. Торгаши и стараются улестить Гришу. Он всегда сыт и пьян.

Сожрав огурец, он исполняет номера программы: жужжание мухи, визг поросенка и застарелый анекдот про Хрущева и кукурузу. Дураку можно. Ему хлопают и подносят стакан вина.

— Гитлер капут! — крикнув, объявляет он.

Гриша кланяется, как артист. Хохот и улюлюканье.

Внезапно он обрывает поросычий визг и убирается восвояси. Но толпа зевак не расходится. На арене базара возникает нелепая фигура. Заклятый враг Гриши одет в женскую кофту, шляпу и мокрые валенки. Дурачок часто взмахивает руками, квохчет и как заведенный шипит что-то под нос. Ну, точно, примус. Если прислушаться к Примусу, можно узнать всякую всячину. Как рубить лес и стряпать рыбный пирог, отчего падает звезда, почему колокольня без колокола и кто убил Кирова.

Потом, вздрогнув, Примус монотонно бормочет:

— Не знаю... Ничего не знаю... — Заметив толпу, он дергает сивой бороденкой: — Строиться, гады! На лесоповал! Без права переписки!

Хохот. Дураку дают кусок сала. Он прячет его в валенок.

Гриша и Примус никак не могут ужиться. Это совершенно необъяснимо. Жратвы на базаре хватило бы на вагон дураков. Однажды Гриша своим умишком додумался и в знак примирения подал при встрече надкушенное яблоко. Примус запустил им благодетелью в нос, отчего пошла кровь. Обиженный не остался в долгу. С криком «Гитлер капут!» метнул

в товарища по несчастью горсть квашеной капусты... Словом, народ повеселился от души.

Адмирал же хранил спокойствие броненосца, не замечая суеты сторожевых катеров за бортом, и никогда не ввязывался в споры с собратьями по промыслу.

А вот и дурочка. Она пока что без прозвища — на базаре недавно. Распустив космы и закатив глазищи, утробным голосом возвещает конец света и священную войну. В городах останется по пять человек, в деревнях — по одному, а спасется тот, кто окажется у горы. Земля будет сожжена на сто локтей в глубину.

Примус беспокойно хрипит:

— Не знаю... Ничего не знаю...

Народ расходится, и косматая уходит несолоно хлебавши.

В отличие от Гриши и Примуса, дурачок Дима вел себя на базаре тихо. Пожалуй, он был умнее всех.

В конце дня, когда я сидел в редакции один, Дима с двумя пачками газет, прощаясь, открыл ногой дверь и обернулся. Холодно-синие зрачки, оценивающий взгляд. Я поежился.

Дима молвил членораздельно:

— Помните, молодой человек: это не мы сошли с ума, это *они* сбесились. — Он небрежно махнул пачкой в сторону площади Советов. — А вот вас они держат за дураков.

И был таков.

«Аня! Не входи! Здесь я вишу». Эту записку Аня сорвала вовремя, оставив на двери пятно от зубной пасты. И тотчас показала записку маме.

Мама, высокая и сильная, выбила дверь плечом. И застала соседку отнюдь не висящей, а сидящей.

Хозяйка слушала ракушку и улыбалась. Мама Ани подумала, что соседка сошла с ума. Не худший вариант в этом мире.

Потом Аня рассказала мне все, что подслушала из разговоров матери с подругой. В барачной клетушке бушевали шекспировские страсти. И телячьи нежности.

У объекта моего наблюдения не было детей. Аня входила к соседке без стука и часто видела ее плачущей. Несчастливая подружилась с девчонкой, живущей через стенку. Соседка обвиняла в отсутствии детей сожителя. Выгнав его, женщина принялась водить к себе мужчин. Это Аня знала и без мамы, знал весь барак. Ничего путного из этого хождения не вышло. Вышло еще больше слез.

И Аня дала соседке ракушку. Мою ракушку! Она сказала взрослой подружке, что под ракушку надо загадать желание. Этого я девчонке не говорил — сама присочинила. Вруша во дворе известная.

Ракушку, подаренную хайларским дурачком Бакой, Аня мне так и не вернула, хотя давным-давно, еще в прошлом веке, выздоровела.

А соседка не моргнув глазом заявила Ане, что ракушка куда-то запропастилась. Называя вещи своими именами, она ее бессовестным образом присвоила. А еще взрослая женщина. И спешно съехала. Вышла замуж за вдовца, который в одиночку воспитывал дочку, сообщила Анина мама.

Плеск волн у острова Хонсю теперь слушала в ракушке другая девочка.

Бог в помощь, сказала на это мама. Моя мама.

После случая восьмикратного увеличения в окне напротив я перестал звать городских сумасшедших бяками. Пусть будут просто дураками. Ничего обидного. «Дурак» вырос из понятия «другой», толкуют некоторые ученые филологи. Бака был другим. Душевнобольным, да. У него болела душа.

Они другие. И без монокуляра видно. У дураков, как у улиток, нет пола, своим панцирем — ракушкой сумасшествия — они защищаются от жестокостей и войн.

Чтобы сойти с ума, надо иметь его, ум.

...А новую ракушку я привез с Черного моря, когда отдыхал в пионерлагере «Орленок». Не очень далеко от тех мест, где мама отбывала ссылку вместе с другими неблагонадежными лицами с КВЖД. Будем считать, что черноморская ракушка — из Хайлара.

Чемодан — большая ракушка. В бликах уличных фонарей, шелесте сухих листьев и шуршанье волн я наблюдаю историю чемодана из Хайлара с обратной стороны монокуляра. При восьмикратном уменьшении, в колодце мутноватой оптики я засекаю сквозь толщу вод морских звезд, бревно-топляк, стайки рыб и человеческие фигурки: они барахтаются среди коралловых рифов Атлантиды, шевелят плавниками и руками; босой мальчик зазывно машет пучком морковки; люди по-рыбьи открывают рты, однако я их не слышу, угадывая слова по памяти. Я хочу успокоить человечков, крикнуть в ответ, что все пройдет, но из горла вырывается ржавый примусовый сип.

Мы обречены носить коросту воспоминаний, как улитка — домик. Сковырнуть можно лишь с кровью. Я прикладываю ракушку к седому виску и слышу море. Потом, закрыв глаза, вижу его...

Пенная полоска, искрясь, режет лазоревую мякоть.

И без монокуляра видно. Я давно подозревал, что море — это опрокинутое небо.





черно-белый свет,
поперек любви
и просвета нет.
По ее садам
соловьи молчат,
по моим следам
времена горчат.
Оживу, когда —
на исходе дня —
пролетит звезда
поперек меня.

Старый альбом

Листаю альбом незапамятных лет
и, кажется, чувствую кожей,
когда фотографии смотрят на свет
и судьбы толпятся в прихожей.
Какая проекция счастья была
тогда на супружеских парах,
какая прекрасная юность цвела
на тех фотографиях старых!

Пора бы, пора бы усвоить всерьез,
что молодость не повторится,
но в этом альбоме ни горя, ни слез,
а только веселые лица!
Душа покидает родные места,
но даже в покинутом доме
блуждает улыбка счастливая та,
забытая в фотоальбоме.

* * *

Деревья,
травы,
перегной
и прочее земное —
все это прежде было мной
и снова станет мною.
Врастаю в землю, а потом
ветвями поднимаю
листву, поющую о том,
чего не понимаю.



В кинотеатре повторного фильма

Верили в Бога и в Белого Бима,
жили по совести, но все равно
в кинотеатре повторного фильма
не повторяется

наше кино.

Что-то хорошее нам показали,
но про чужую судьбу и беду
не вспоминает в пустом кинозале
зритель,

уснувший в последнем ряду.

В гостях

...как будто мы всю жизнь в гостях.

Из старых стихов

Хлопнула входная дверь,
и теперь, по крайней мере,
тот, который хлопнул дверью,
стал последней из потерь.
Брошу время на весы —
вот она, цена вопроса.
А Хозяин смотрит косо
на каминные часы.
Не осталось никого
на хозяйское похмелье,
только я без всякой цели
засиделся у него.
А Хозяйка ерундит,
обернувшись в полупрофиль:
— Не желаете ли кофе?..
— Если вас не затруднит...

Ей неможется одной,
у нее дела в передней
с тем, что вышел предпоследним,
и последним, и со мной.
Убирают со стола
недобитую посуду —
всё, красивая паскуда,
пофужерно допила.
Это значит — от винта.
Кочевряжиться не стану:
Богу всё по барабану,
а за дверью — пустота...

* * *

Говорить о любви и печали
я не стану, какого рожна? —
И по пьяни забуду вначале
ночь, которая все нежна.
Сатанея от запаха тела,
по высокой орбите ночной
надо мною комета летела
и стонала земля подо мной.
А наутро, осилив похмелье,
я подумаю: «Что за дела?»
Ты лежала на этой постели,
но по черному небу плыла...»

* * *

У человека все в порядке:
ну жизнь прошла — и хрен бы с ней.
Что у него в сухом остатке? —
Немного лет, немного дней.
Не важно, Бог или природа
его незримый конвоир —
закономерностью Исхода
уравновешен этот мир.
Душа клюет земные крохи
немного зим, немного лет
и — по периметру эпохи —
летит на свет.

Погребки

Полустанок-полустаканок
называется Погребки.
После пьянок и перебранок
маринованные грибки.
День пройдет, поезда промчатся,
бог не выдаст — жена не съест,
никакого тебе начальства
на четыреста верст окрест.
Не железная ли дорога
устаканила горемык? —
Здесь от стрелочника до Бога
получается напрямик.
...Пассажирский проходит рано.
Закобенившийся чуть свет,
я бы вышел на полстакана,
только тут остановки нет.
Просвистели... А за составом
те же, времени вопреки:
будка стрелочника, шлагбаум,
за шлагбаумом — Погребки.

Екатерина БЛЫНСКАЯ
ЗМИЙ ОГНЕЯРЫЙ

П о в е с т ь

1.

— Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды, — сказал человек, перехватил покрепче ручку косы-литовки, глянул удовлетворенно на ее загнутый, поблескивающий в темноте зуб и вступил в мак.

В эту ночь мак благоухал, словно чувствовал свою погибель и не мог надыхаться, напоследок вобрав в свои кожистые листочки, спеленатые бутоны и молочайные стебли вяжущий дух июньского разнотравья. Еще немного — и вповалку ляжет.

— Эх... Жалко тебя уничтожать! Но тогда что? Тогда наделаешь дел, цветяга сонный... — вздохнул человек.

Терпко и горько, дрожа росой на жирных листьях с млечным налетом, облепленный мириадами луговых улиток, мак содрогнулся, качнул закрытыми бутонами, в глубине которых зрели горькие семена. Поле дрогнуло, заволновалось: а не вырваться ли маку, не взлететь ли ему ввысь? Но нет. Тот, что других заставляет летать и отчебучивать всякое, сам растение мирное. Не он травит-убивает. Опять же люди виноваты.

Через полтора месяца уже будут здесь потрескивать на ветру головки, полные зернышек. Облетят эти белые, розовато-кварцевые цветы, в общем поле которых вспыхивают то там, то тут темно-красные пиропы, будто кровью брызнули живой.

Нет, человек этот не посмеет тронуть красоту при свете дня. Не выдержит, остановится.

Привыкнув к холоду росы, босоногий, он смотрит на бледное поле. Да что там того поля... Махнуть — и нет его. Ну гектар, чуть больше...

До рассвета успеет.

— Нет правды на земле. Но нет ее и выше? — спросил человек то ли у земли, то ли у молчаливых небес, докончив первую полосу и утирая лицо рубашкой.

На востоке, далеко-далеко, бледнели разомкнутые еще невидимым солнцем облака. Это свет пробивался через слои горних полей, чтобы осветить дела людские.

Мак, шелестя, тяжело валился, бледнее и источая густое, почти животное дыхание, словно он не трава, а многоногий мокрый зверь, сам пришедший принять казнь от человека.

2.

От вокзала Марья ехала в коляске мотоцикла «Урал» местного участкового Николая Сергеевича Бушина. Сам участковый как мог старался понравиться госте, а потому шарахал с такой скоростью, что бедная московская фольклористка чуть богу душу не отдала. Перелетая с ухаба в выбоину, Марья каждый раз приземлялась в коляске на свою несчастную тощенькую пятую точку и под конец извилистой дороги, уже потянувшейся мягко по белому песку соснового леса, хотела попроситься слезть и идти пешком. Пусть рюкзак отяжелял плечи, пусть ее красные глаза смежались после ночи, проведенной без сна в поезде под спор антиглобалиста и антисемита. Лучше пешком, чем в люльке «Урала»!

— Ни, народа много обычно только летом. Туристы сплавляются, паломники приезжают в монастырь. Местных мало. Летом бухают-бухают, бухают-бухают... А потом дохнут, на. Зимой до кладбища не донести: почитай, метров двести тащить на гору по снегу. На кой так делать? Все бегают, пособляют че-то, да толку нет. А там еще могилу рой, землю шкрябай...

Участковый сам был не из деревенских — из городских. Он не очень любил ездить в Опашку. Там осталось-то три живых души, и никто просто физически не мог никого убить, обокрасть или снасильничать. Река Пиня осторожно обтекала опустевшее селение, а на другой ее стороне размещался мужской монастырь, стояла Свято-Успенская деревянная церковка и пристроенные к ней со старого времени каменные склады. В некоторых местах стену монастыря с высыпавшимися кусками песчаника заделали новым белым кирпичом, вживленным несуразными заплатами в древнюю кладку. Там — да, народ жил. Построили недавно и трапезную, и келейки для паломников. Весело выглядела недавно оштукатуренная колоколенка. Насельники всякие были, но смиренные. А в Опашке остались только бабка Палладия, ее тетка Серафима Пятницкая ста трех лет да немая правнучка Марионилла.

Бабка Палладия пребывала в абсолютном разуме, и потому к ней рекой текли любители фольклора и всяких старинных побасенок. Марионилла не могла говорить. По крайней мере, никто не слышал ее голоса. Старуха Серафима вела страннический образ жизни, ела только хлеб и пила только воду, на летние и осенние месяцы уходила «в странное» и возвращалась зимовать, принося страшные вести про несправедное государство, коррупцию и лояльность к геям, называя все это мракобесием, мздоимством и содомией. Это было понятно насельникам монастыря, но бабка Палладия таких слов и определений не знала. Она вообще была неграмотная, потому что ленивая. Все на сказках выезжала.



Когда-то, после революции, сюда пригнали молодежь разрабатывать русло реки, добывать строительный песок и глину. В конце концов разрыли насмерть, распустив на несколько озер. К счастью, после войны разработку закрыли. Река потихоньку вернулась в старое русло, но обмелела.

Потом налетели колхозники. Сажали на бедных полях всякие сурепки да рапсы для животноводческого комплекса. После войны из всей деревни осталось двенадцать домов: из семидесяти мужиков с фронта пришли четверо... Долго не возвращалась Опашка к жизни.

Наконец, в начале девяностых приехали иеговисты: купили избы у сельсовета, развели хозяйство, стали домовничать. Палладия думала тоже в ихнюю веру перекинуться: больно красивые книжицы разносили, в которых все так славно, благообразно прописано, а главное — понятно, не то что в Библии... Серафима ее побила палкой, и Палладия передумала.

Теперь Палладия почти перестала ходить, ее мучил диабет. Внук прислал ей в помощь молодую девицу Мариониллу. Хорошо, что немую: хоть не говорила поперек, да и вообще не лезла с разговорами.

А недавно сюда, на холмы и луга, пришли некие люди в строгих цивильных костюмах и с ними охранники. Что-то они тут ходили, смотрели, изыскивали...

— Принесло их, цernоризцев да мракобесов! — ругалась тогда Серафима.

Одним из них, впрочем, был внук бабки Палладии, занимающий руководящую должность в крупной компании.

Марья Андреевна Чулымова, собиратель фольклора и преподаватель одного в Институте истории искусств, ничего этого не знала, поэтому ехала чистосердечно собрать не собранное другими и узнать прежде неизвестное.

— Приехали! — радостно рявкнул участковый и резко затормозил, так что Марья ударилась грудью о край люльки.

Марья закашлялась, выбросила рюкзак и сумку с провизией на траву и вылезла. Перед ней в ряд стояло с десятков рубленых изб, четко вырисовывавшихся на яркой лазури неба.

Марья поблагодарила участкового.

— Коли дождя не будет, в воскресенье приеду, проведу вас по окрестностям. Покажу, что к чему... Магазин через речку.

— А как до него добраться?

— По кладям.

И Бушин, так и не спустившись на землю с железного коня, развернулся, оставив след на траве.

Марью уже ждали. Участковый заранее прислал из соседнего села мальчишку-почтальона предупредить старух, что к ним приедет пожить собиратель.

Марионилла обрадовалась больше всех.



— Цего, цего ты радуешься? — спросила Серафима беззубым ртом. — Цай, не паренок приедет, а снова баба, да ишо пытать будет день и ночь. Сказуй да сказуй ей про то, про сё... Про все уж сказано, а им все мало. Куды только складыват тую сказку!

Несмотря на то что Серафима уже не застала царя, она хорошо помнила детские годы и свою бабу, жившую при пяти «анператорах», четверых из которых она, судя по рассказам, знала лично. Нет, конечно, не могла знать, но ее разговоры глубоко врезались в память Серафимы.

Марья вошла на широкий двор с собственным колодцем, огляделась и подивилась, что все закоулки заросли травой. Три бешеных курицы сорвались и побежали, клохча, в сарай с оторванной серой дверью, движимой сквозняком.

— М-да... Молочка тут не промыслишь, — вздохнула Марья и увидела Мариониллу, вышедшую ей навстречу из сеней.

Девушка махала рукой и мычала, подзывая к себе.

— Иду, иду! Доброго вам утречка, — сказала Марья, ухнув, взвалила рюкзак на плечо и двинулась в дом.

Марья только в прошлом году, в сорок лет, стала понимать, что теряет силу. Медленно, словно по капле, выходит сила из прежде скорого, оборотливого тела. И ноги уже не такие быстрые, и руки не такие ловкие. Тянет уже больше не к бумагам да книгам, а к мелкому, бисерному труду — создать что-либо теплое, нужное. Научная деятельность давно принесла свои плоды в виде кандидатской, да только жить все равно приходилось в лишениях.

Зарплата была смешная, и Марья работала на трех ставках, пропадая зимой в институте, на кафедре, а летом — на выездах и в командировках. В выходные она не разгибая спины трудилась на даче, чтобы потом сэкономить на еде и больше денег потратить на книги.

У Марьи никогда не было семьи: в шесть лет она осталась сиротой и воспитывалась в детском доме. А там судьба свела ее с руководителем фольклорной студии, которая и определила ей место в жизни. Это место оказалось и надежным, и певучим, и говорливым. Марья не скучала на работе и всегда спешила из дома в институт. Как большинство детдомовских, она редко болела и не боялась невзгод. Работа на выездах приносила ей невероятную радость.

Марья была маленького роста, чуть скошенная влево, словно ее куда-то всегда тянуло. Легкие рыжие барашковые волосы на голове заплетены в худобедную косицу. Круглые голубые глаза смотрели с вечным близоруким вниманием. Маленький вздернутый нос, круглые, как хохломские ложки, уши, стоящие по обе стороны головы будто приклеенные, и большие руки делали ее совсем непривлекательной для противоположного пола. Но сколько в ней было стеснительности, скромности, благодушия и нерастраченной нежности, нельзя было передать словами, а она передавала голосом, пением. Когда Марья заводила на своих ин-

ститутских «вечорах» старинные, заунывные русские песни, все опускали глаза, завидуя удивительному, невесть кем и за что данному ей таланту. Улыбалась Марья постоянно, натрудив себе улыбкой морщинки у глаз.

Может, за ее улыбочивость и приняла ее бабка Палладия с радостью, разместила в прирубке — на веранде — за тканой занавеской, которую Марья в первую голову и сфотографировала.

Старуха Серафима только пришла с источника, таща полведра воды. Она давно решила носить воду «по самуё смерть», в день понемногу — себе на питье, и таким образом проверяла состояние своего здоровья. Кружится голова — «крови играют». Млеют ноги — «крови заворачиваются». Но полведра приносила исправно.

Поставили самовар и напекли в поду большой русской печки, давно не мазанной, раскорячившейся на половину комнаты, лепешек из магазинной муки. Марионилла сбегала в погреб за капусткой и грибами, и сели есть и чаевничать.

— Если что, то я говорю все, что и другим, — сказала опухшая, квадратнолицая бабка Палладия. — Мне уж не помнится, кому чего я наболтала, а ты у нас в первый раз. Вот и наболтаю тебе все заново.

— Я запишу на диктофон, — сказала Марья и, порывшись в складках юбки, достала маленькое цифровое устройство. — На него можно часами говорить.

— Во как! — подала голос Серафима с другой стороны стола. — Где столько словов-то наберешь?

— Они у меня есть — все, как грибочки, по кузовкам сидят. Одна сказка — одни грибочки, друга сказка — други грибочки, — понизила голос бабка Палладия. — И в памяти я ишшо.

Марья за чаем разглядела и Мариониллу. На вид той было лет двадцать — двадцать пять. Самый свежий возраст. Волосы лежали широкой рифленой волной, вроде песчаной дюны в пустыне: видно, на ночь Марионилла заплетала их в косички, а утром расплетала. Вытянутое, без кровинки лицо, прозрачно-серые, чуть подтянутые к вискам глаза, тонкие губы, тонкая шея и высокий рост — Марионилла была похожа на одну из моделей английских художников-прерафаэлитов. Ей не хватало только синего бархатного платья в пол и ларчика Пандоры на коленях. Вместо платья Марионилла была одета в самошитый сарафан из штапеля и вязаные вручную чулки с местным орнаментом. На ногах — тапки-чуни из валяных полусапожек с обрезанным верхом.

Старуха Серафима, пергаментно-желтая, с щелью рта и двумя щелями глаз, обросшими бородавками, с выдающимся острым носом и белым пухом волос, выбивающимся из-под платка, носила одежду по «старой моде»: некрашеное, отбеленное только солнцем платье-мешок, доходившее до коричневых голых икр, высушенных и перевитых венами, словно корнями деревьев. Она ходила по дому босой, стуча по половицам окаменевшими ногтями, а на улице обувала калоши с суконной стелькой. И никогда не снимала с головы плат, подколотый под подбородком невидимой булавкой.



«Да уж, — подумала Марья, — попала я в паноптикум! Тут тебе ни яйца, ни курицы, ни молочка попить...»

— Отчего же молочка нету? Есть, в мангазин через речку привозют с монастыря. И там по семьдесят рублей за трехлитровку продают, — внезапно сказала Серафима, пристально глядя на Марью.

Марья едва не подпрыгнула на косом табурете.

— Да я и так... А может, и схожу... — она покраснела лицом, и только тонкая, с палец, полоса вдоль лба осталась бледной.

— Ты не стесняйся, девко. Мы как свои тут. Мы всех примаем, всех любим... — И бабка Палладия широко перекрестилась на угол.

За ней поспешно взмахнула рукой Марионила, а потом и Серафима, медленно и важно, осенила себя двуперстным знаменем.

— А вы... староверы, да? — спросила Марья робко.

— Да уж не щепотники, — гулко сказала Серафима скрипучим голосом.

Марья даже обрадовалась этому.

— Щепотники у нас на той стороне речки, в монастыре сидят, — добавила Палладия.

Марья достала из рюкзака свою тетрадку и, не распаковавшись еще до конца, устроилась записывать.

Часа полтора они провели за столом в разговорах. Сперва говорила только Палладия: рассказывала про историю деревни, про всяких пришлых и свойских, про местные обряды — словом, то, чего Марья за свою жизнь наслушалась уже выше маковки. Палладия была отменной рассказчицей. Никаких там «гм», «мня», «ото», «как бы вот» и прочих словесных паразитов не проскакивало в ее хорошо сложенной, грамотно организованной, сдержанной браздами умеренности речи. Старуха, видно, уже наловчилась говорить как по писаному. За полтора часа она пересказала с полсотни историй, сказок, быличек и присказок, которые Марья уже несчетное число раз слышала из самых разных уст и во всевозможнейших вариациях. Но Марье все равно было интересно, и она, низко склонившись над школьной сорокавосемистраничной «толстушкой», записывала и вручную, и на диктофон, ныряя в речь Палладии с редкими вопросами.

— А ты кажи, кажи про змия! — подала голос Серафима, прихлебывая простывший чай из блюда.

— Да пося.

— Да ты кажи чичас.

— Да что там говорить-то? Летат и летат.

— Кто летает? — спросила Марья.

Вдруг Марионила, сидевшая с носком и спицами у окна, подскочила и стала, мыча и перебирая руками в воздухе, делать какие-то знаки, странные и очень агрессивные.

— Что? Чего ты махаешь? — строго спросила Палладия.

Марионила продолжала выписывать руками круги и спирали.

— Она, наверное, не хочет, чтобы вы про змея говорили. Может, боится? — спросила Марья, искоса глянув на бешено жестикулирующую

Мариониллу, которую мычание и непонятный страх в один миг сделали некрасивой.

— Да вот прилетат к ней и к бабке Палладии змей, а хвост у змия огненный, а голова горячая — то целовещкая, то звериная. И особо-то Марионилла ждет того змия огнеярого. Как ждет, так он и прилетат, — быстро сказала Серафима и обнажила единственный, коричневым, замшелый верхний клык, которым она ловко разделялась с хлебной коркой, перекусывая ее надвое, перед тем как макнуть в чашку с пустым кипятком.

Марионилла, глухо простонав что-то ругательное, кинулась вон из избы, подняв с половиц пыль, заигравшую в солнечном пространстве горницы как мелкий, дробленный хрусталь.

Все это время Палладия сидела сложив руки на квадратном животе, теребя фартушек-завеску, прикрывающий просторную и длинную коричневую парусиновую юбку и часть груди.

— А еще и не то у нас бывает, — зыркнула Палладия на Серафиму. — Что ж, все казать рази?

Марье стало неудобно участвовать в этом странном объяснении, и она, извинившись, пошла на веранду — в свежепристроенное помещение с большими окнами, где для приезжих была поставлена кровать со стальными шарами-навершиями и стол, покрытый относительно новой клеенкой. Еще здесь имелась вешалка для одежды и два стула, на одном из которых можно было сидеть, а на другой складывать вещи. Марья, прикрыв дверь, задернула белыми вышитыми занавесками окна, из которых открывался вид на огромный луг, укатывающийся далеко-далеко, до самого берега Пини.

Солнце пронизало шторы и сделало стены на веранде теплыми и желтыми, а саму Марью — на лицо нежной и гладкой.

«Как хорошо-то, а! Если все пойдет по-заданному, побуду здесь пару неделек. Скоро и купаться можно будет, ну или хотя бы ноги мочить... Вот только что за змеи тут летают? Не будет же ко мне прилетать: вроде я не вдова и не монашка...» — Марья улынулась.

Сказка про змея, которую рассказывали везде, Марье уже поднадоела. Сюжет оставался один, но в каждой деревне обрастал своими подробностями. Где-то змей был хорошим, где-то злым. Кто-то им утешался, а кто-то падал и помирал. В общем, неоднозначный товарищ, сложно с ним. Интересно, какая тут версия? Может, что-то оригинальное будет, а может, даже всплывет под шумок неизвестный апокриф... Ну, это уж если очень повезет.

Марья выпросталась из длинных одежд и сменила одну юбку на другую, предпочтя все-таки более короткую. Она привыкла прятать свою хромую и кривенькую правую ногу, которая неловко выбрасывалась при ходьбе, словно норовя бежать впереди хозяйки. Из-за этого недостатка Марья даже женихам отказывала по молодости. А потом, когда женихи рассеялись, как пена морская, успокоилась и уже не надеялась, что кто-то изменит ее жизнь, перевернет ее быт. В душе она мечтала о семье, о детях. Когда было особенно горько и тоскливо, принималась пахать за де-



сятерых — и забывалась, постепенно сходила на нет человеческая тоска, просыпался азарт побольше сделать, написать, изработать всю себя, чтобы тоске нечего было грызть...

Марья задумалась, но все же не пропустила тень, что прошла мимо ее окон. Из-за шторы она разглядела Мариониллу, которая спешила куда-то по лугу в сторону монастыря, то и дело озираясь на ворота.

«Вот повезло ей! — подумала Марья. — В каком райском месте живет...»

Тут постучали в дверь.

Марья скинула крючок. Зашла старуха Серафима.

Вечером ее, наверное, можно было испугаться, но сейчас, при свете дня, Серафима, высушенная, как таранка, на жарком солнце и прожаренная вековыми ветрами, с мутными глазами какого-то кошачьего, а не человеческого желтого цвета, не пугала, а только вызывала удивление, насколько глубоко может резец времени прочертить на лице годы. Казалось, что морщины у нее глубиной до костей.

— Девко, ты не шугайся. Я, может, страшная, но я же не Егишна, а человек верующий, — сказала Серафима, переваливаясь подошла к кровати и села на нее, хрустнув матрасом.

— Я таких, как вы, не в первый раз вижу. Навидалась, — вздохнула Марья.

— У нас на деревне-то много дворов было, а как нацали мереть — и все повымерли. Одна я старуха и осталась. Палладия совсем еще молода против меня. Што там...

— А сколько тебе, бабушка?

— Я после семидесятого года перестала щитать. На што оно мне?

— А Палладия тебе родная?

— Как же, тетка по матери я еёшная. Я же обет дала, что девицей помру. А как тяжело было энто, нельзя сказать! Я ить красавицей была. Таковой баской, таковой баской! — и Серафима закачала головой, как китайский болванчик.

Марья улыбнулась в сторону.

— Пойду я в вашу кухню да сварю вам супчику. Хотите? — спросила она старуху.

— Супчику? А-а-а, нет уж! Я знаю, что в мои года его нельзя исть. Я только хлеба с водицей.

— И все?! — испуганно спросила Марья.

— И все. Да потому и живу, девко!

— Да что вы меня все «девко», «девко»... Мне уже сорок лет.

— Да ну! Да ну тебя, не востри!

— Правда.

— Да не бреши!

— Я честно говорю.

— Да брехуха ишшо!

Марья полезла за паспортом в рюкзачок.

— Что ты мне кументы кажешь, я ить не уцона!

— Как?! — оторопела Марья. — Такое бывает? А как же ликбез? Неужели тут ликбеза не было?

Старуха встала с кровати, сложила руки на животе и гордо изрекла:

— Учение ваше суть бесовский мракобесный вой. Про то знаю. Матерь моя, и бабка, и прабабка говорили так: «Есть умный, а ткать не уон». И поле не каждый опашет, и лен не каждый сработает. Вот и думай про то.

— Вы точно из старой веры.

— А откуда же ишло!

И Серафима показала единственный зуб и голый рот.

— Давно оттуль. И про бесовство знаю.

Серафима поманила Марью пальцем. Марья вошла в избу, ступила на влажноватые половички, лежащие на выскобленном сером полу.

Серафима, заглянув в спальную, где спала, отчаянно храпя и подергиваясь, Палладия, завела Марью в горницу. Там в межконье висело огромное вышитое голубками полотенце. Серафима приподняла его.

— Не цемные мы! У нас во цего есть! Про «поженимся давай» смотрим.

Марья хотела засмеяться и прикрыла рот запястьем.

— Хороший телевизор. Очень хороший! Дорогой, — сказала она. — И что, кроме «Давай поженимся», ни новостей, ничего больше не смотрите?

— Да ну их к бесам, осподи прости! — махнула рукой Серафима и скрыла телевизор под голубками. — Ты только ым не говори, а то...

И Серафима грустно посмотрела на Марью кошачьими глазами.

— Сдохнуть бы поскорее. По мамке скудаю. Ты ишло скажи, почему тебя Марьей звать, а? Не Марией, а Марьей.

— Так хочу, — сказала Марья гордо. — Так мне милее...

3.

Марья обошла двор, заброшенную ригу, полуразвалившийся овин, заглянула в огород. День разгорелся яркий, теплый. Обещал, значит, в воскресенье заехать участковый. Но зачем его ждать? Марья взяла авоську, триста рублей и пошла по тропинке, по которой раньше пробежала Марионила, в магазин. Тропинка вела по заросшему клевером лугу. Видно, недавно разобрались с коровами. А раньше тут пасли. Вон, стежек настрочили...

Марья, весело сбивая головки клевера, быстрой походкой, чуть заваливая шаг, пошла к магазину. Миновав луг, она невольно остановилась, залюбовавшись открывшимся ей видом на реку, на монастырь, казавшийся игрушечным и ненастоящим, на другой стороне круглого, высокого берега. Маковки церкви сияли на сплошной голубизне чистого неба. А позади монастыря река, как опрокинутое зеркало, виднелась почти до самого горизонта и петляла, петляла бесконечное число раз, пока не уходила в туманную даль, затемненную лесами.



— Как прекрасно... И как тут мало людей... — прошептала Марья, теребя косицу.

Река, через которую в узком месте были переброшены клады, искрилась рябью течения. На другой стороне под монастырем белел известью одноэтажный, под синей крышей, магазин, а чуть поодаль шла дорога, разветвляясь одним концом в монастырь, другим — в городок.

По этой дороге изредка ездили автомобили. На берегу кое-где виднелись палатки, машины, рыбаки. Около магазина топталась лошадь, выпряженная из телеги, стоящей на асфальтовом пяточке. Это привезли из монастыря свежий хлеб.

Хлеб благоухал кругом, наполняя пространство неким чудным, детским воспоминанием, когда боишься Бабу-ягу, репейника в волосах и недалеко ушел от молока и коржика на полдник. Марья, спеленатая этим запахом, двинулась в магазин, чая скупить все виды хлеба и еще что-нибудь.

В дверях она чуть не столкнулась с разгружающим машину крепким бородатым мужчиной в круглых, как у Троцкого, очках и с голой бритой головой.

— Ну, бабонька, чего ты? Туда или сюда сдвигайся! — сказал он, напирая дощатыми лотками.

Марья метнулась в сторону.

— А купить сейчас можно будет? Разгрузите и станете продавать? — робко спросила она продавщицу, склонившуюся над книгой учета, — молодую девицу в серой косынке и длинной юбке.

— Погодите на улице, — сказала та, не поднимая глаз от книги, что-то туда вписывая. — Ситный? Бездрожжевой? Сколько? Семь... Так, серый, черный... Коврига медовая... Восемьдесят по пять...

Марья вышла на солнце. Возле магазина, стоящего на асфальтовом островке, было жарко. Голос продавщицы неприятно дребезжал из открытого зева магазинного дверного проема.

«Искупаться бы!» — подумала Марья.

С холма она хорошо видела на другой стороне реки и дом Паллады, и вообще всю улицу, уставленную темными домами, еще четче выписанными на свежих красках неба и травы. По полям начала распускаться белыми островками кашка. Желтели лютики, дикая мальва высовывала сиреневые головки, покачиваясь от легкого ветра.

Мимо Марьи быстрым шагом прошла Марионила, одной рукой крепко уцепившись за свою сумку-почтальонку из джинсы, а второй поддерживая синюю юбку. На Марью она глянула искоса и без тени ответной улыбки.

Марионила спустилась к кладям, перебежала речку и по тропинке стала подниматься к дому. Марья с легкостью прослеживала весь ее путь. Лошадь, похрустывая, обрывала осот с края дороги. Вдали, слева, на той стороне реки, весело ругались мужчина и женщина, бегая друг за другом с полотенцами вокруг машины. За ними курились костры маленького лагеря байдарочников.

— Вечером у нас тут еще веселее. А завтра паломники приедут. Вы не паломница? — спросил Марью приятный голос.

Она обернулась. Это был тот самый человек в круглых очках.

— Н-не... Я собираю фольклор, — ответила Марья.

— Я сам тут недавно, всего второй год, — вздохнул человек, снял очки и стал протирать их подолом клетчатой рубашки.

— Тут как-то странно все смешалось. Мои хозяйки — старой веры... Монастырь — обычный... Еще, говорят, иеговисты жили...

— О да. Обычный, да не совсем. Не знаю, можно ли вообще называть монастыри обычными... Кстати, меня зовут Георгий. Я пеку хлеб и живу в монастыре. Трудником пока.

Марья смутилась и покраснела.

— Марья, — коротко представилась она.

— Не Мария?

— Нет, именно Марья.

— А... Ну, это в какой-то мере даже забавно. Я сам крещен Георгием, а как только меня не называют! И я, знаете, не имею желаний возражать. А в детстве-то: и Егорий, и Аллюрий, и даже Ягуарий мать меня называла. Шутница была...

Марья улыбнулась.

— У вас, наверное, характер мягкий.

С колокольни донесся легкий, ажурный звон.

— Как вы? Верующая? — дотерев очки и перестав щуриться, спросил Георгий.

Марья посмотрела на него. Он выглядел немного странно. Босой, в обрезанных по колено джинсах и рубашке навыпуск. Да еще бритый наголо.

— Да так, без фанатизма. А вы? Грехи замаливать приехали? — без тени улыбки спросила Марья.

Георгий пожал плечами.

— Да. Христианство — очень удобная вера. Можно грешить всю жизнь, а потом однажды приехать в монастырь и стать хорошим. То есть... грехи тебе отпустят, это совершенно точно. Другое дело, хватит ли у тебя самого разума понять, что ты прощен. Люди — наглые существа. Они порою приписывают себе какие-то качества, которые невозможно ниоткуда получить. С ними можно лишь родиться.

Марья, качнувшись на пятках, заложила руки за спину.

— А хлеб сегодня будут продавать? — спросила она.

— О, хлеб... — спохватился Георгий. — Я напою лошадку и провожу вас. Хотите?

Марья вошла в магазин. Георгий зашел с нею.

Магазин, построенный после войны из разрушенной прибрежной часовенки, имел одно помещение, разгороженное на задний и передний «приделы», как в храме, и торговали тут теперь не как в обычном сельпо, а как в монастырской лавке: медом, настойками, хлебом, вареным сыром, кислым молоком в красивых высоких бутылках зеленого стекла, пряниками с изображением монастыря... Целый угол был отведен под несъе-



добные товары типа сувенирных кружек, тарелок, православных календарей на любой вкус и убогого текстиля китайского производства: платков и юбок с дикими, не монастырскими принтами.

— Света, посоветуй девушке, какой у нас хлебушек самый вкусный, — сказал Георгий продавщице.

Света, уже отложившая амбарную книгу и сидящая над sudoku, махнула головой в косынке.

— Ты сам печешь, ты и советуй. Кому, как не тебе, лучше знать-то?

— А я люблю весь свой хлеб. Но вот ковриги с изюмом — больше всех. Вы же Паллади берете? Ей иногда наш пономарь Савва носит. Или я. Она ест только серый. Серафима любит сухарики мочить. А вы попробуйте вот — кукурузный с семечками...

Марья снова покраснела.

Но тут в магазинную прохладу ворвался молодой монашек с еле заметными усиками.

— Георгий! Тебя игумен требует. Быстро, быстро! — задыхаясь, сказал он и уперся руками в свои колени. — Уф... в гору да с горы...

— Игумен? — Георгий помрачнел и растерялся. — Еще увидимся, Марья! Думаю, вам наш хлеб понравится... — И обратился к монаху: — Савва, давай ящики грузить и вместе поедем.

— Давай.

Савва и Георгий вышли из магазина на жару. Над монастырем все звонче, все причудливей гудели и позванивали колокола.

— Хороший мужик, — сказала Света, не отрываясь от sudoku. — Выбрали чо, нет?

Марья, пробежавшись взглядом по полкам с хлебами, красиво завернутыми в пергамент с логотипами монастырской пекарни, кивнула.

4.

«Что-то в этом есть... И в ней что-то есть», — думал Георгий, поднимаясь в гору рядом с телегой, на которой, болтая ногами, сидел Савва и, задыхаясь, рассказывал о недавнем происшествии.

— И до нуля, брат, до нуля срезан! И там же погнил... Никак дня три лежал под росой, а там дождь — и все загублено.

— А вообще, кто сеял-то? Зачем?

— О! То разве наше дело? Я как-то спрашивал у отца Евлампия, так тот закидал руками: мол, не лезь, отец настоятель сам разберется! Землю, говорит, дали на время чужим. А что за чужие, в ум не возьму. Кто они могут быть? Кто угодно...

— А кто там в колокола разыгрывает вместо тебя?

— Это иеромонах. Так хорошо, так славно, а?

— Славно... — сказал Георгий, задумавшись.

До ворот монастыря они молчали, но когда, грохоча колесами, поехали под ворота, Савва прыгнул и, коротко попрощавшись с Георгием, скрылся в дверях трапезной. Ему пора было читать за трапезой жития.

Настоятель разоблачался в ризнице после службы, и Георгий пошел сразу к нему.

Дьякон, бледный молодой человек с клочковатой бороденкой, беседовал с настоятелем, когда постучался Георгий, но почти сразу вышел. Настоятель, в одном подряснике, подвязанный пояском, принял пекаря наедине.

Его высокопреподобию настоятелю Ионе не исполнилось еще и пятидесяти. Вид у него был грозный из-за сросшихся бровей и орлиного носа да вечно спесиво изогнутого рта. Это отвращало от бесед с отцом настоятелем огромное количество мирских, желающих «попроситься на житье» в монастырь. Обычно он отсылал всех к иеромонаху Иллариону Бойкову, который видел людей насквозь, потому и дожил без единого седого волоса до девяноста пяти лет. Илларион скрепя сердце называл настоятеля «батушка» и не очень любил за то, что, приехав из Питера, тот принялся начальствовать «столично и архиглавно».

Действительно, отец настоятель обладал некой деловой жилкой. Он вскоре устроил свечной заводик на правом берегу реки, а рядом построил пекарню и кафе для туристов-байдарочников с кемпингом для заезжих автомобилистов. Все это приносило монастырю приличный доход. Построили новый келейный дом, гостиницу для паломников на двадцать четыре комнатки и отдельную трапезную для них.

Полуразвалившаяся школа, заброшенный табор*, на котором давно уже не ремонтировали сельхозтехнику, были обнесены забором и зафункционалировали под началом неких «хозяев».

Марья этого еще не знала, зато Георгий уже видел арендатора Резо и его визави Аслана, которые бурно пререкались, стоя в центре перед магазином, и сердито хлопали дверцами внедорожников.

Но неужели они?

— Ты почему самоуправствуешь тут? — отвернувшись к оконцу и застегивая мягкую, из кашемировой шерсти рясу, гулко спросил отец настоятель. — Мне голову-то оторвут!

Георгий пожал плечами и глянул в угол, где было расставлено несколько мышеловок.

— Да я же не вред сделал...

— Для тебя не вред. Эх...

Настоятель вопросительно взглянул на потупившегося Георгия.

— Ты знаешь, что весь их урожай погубил? Весь! — и возвысил голос: — Они завтра приедут, а что я скажу?

— Скажите, что милиция-де дозналась.

— Да что ты! А милиция тут кто? Бушин, этот кривой участковый? Ты его хорошо знаешь, Георгий? А?

Настоятель тщательно расправил складки одежды.

— Знаешь ведь, житье наше тяжкое: девство, послушание и труд. А куда тебе дальше трудника с таким самомнением?

* Табор — здесь: машинно-тракторная станция, МТС (местн.).



Георгий покраснел и взглянул на настоятеля.

— Простите меня великодушно, отче, но я терпеть злонамеренность не могу. Я же вижу, что совершается лихо! Я сам после войны был в такой удавке, что лучше бы сразу помереть.

— А что плохого совершается, скажи ты мне? То, что кто-то выкашивает чужой посев, — это разве не зло?

— Но это же мак!

— А булки с чем?

— Я вас умоляю, какие булки!

— Ты как со мной разговариваешь, Георгий! — громогласно крикнул настоятель, так что казалось, его услышали на улице. — Ты где? Ты у меня не смей! Если отобьюсь, то останешься: ты пекарь годный, что и говорить. А если нет — то вылетишь отсюда. Вскорости причем. Иди.

— Благословите... — склонился Георгий.

Настоятель перекрестил его размашисто и рассеянно и чуть было снова не разругался.

— Я скажу, что приезжала милиция из района, — сказал он, сдержавшись, — и скосила. А если Аслан у тебя про солому спросит... Говори, что перетаскал кто-то ночью.

— А Савва сказал, что после дождя солома погнила... — подсказал Георгий.

— Нет. Кто-то с края солому перепер. Там еще хватит на все про все. Может, Резо из табора... Ну, иди, иди с Богом!

Георгий отступил назад и вышел прочь, выдохнув.

Настоятель покачал головой, огладил широкою, как лезвие топора, черную бороду и перекрестился на крест колокольни, хорошо видный из окошка.

— Ну, а истинно — бесовское дело. И зачем связывался? Хорошо, Георгий спас, — сказал он тихо.

5.

Вечером Георгий пошел к бабке Палладии и Серафиме с сумкой хлеба. Было у него немного времени: он сделал всю работу наперед, чтобы отпустили на час-полтора. Отец Евлампий, эконом, ценил его за исполнительность, неутомимость и силу, а также за неизменную покладистость.

Согласно обычному порядку, Георгий должен был вскоре стать послушником, а после принять постриг. Но ему, погруженному в раздумье над собственной жизнью, все еще мерещился выбор.

Он за то время, что провел в монастыре, уже привык к постоянным прихожанам из райцентра, к бесконечным отпеваниям здешних обитателей, к бабкам-ведьмам на белокаменной паперти по праздникам. Наблюдал, как вымирают деревни, запустошивается пашня, как приходят новые хозяева, и роют, и копают, и достают со дна земли и воды все, что пожелают, а то, чего природа не в силах создать, — создают вопреки и во вред этой природе. Кругом враги, думалось ему, и он вел себя внимательно

и сдержанно. А дисциплины в наблюдениях позволяла добиться монастырская жизнь с ее ранними подъемами, трудами и молитвами.

С братией — с тридцатью монахами, двумя старцами и начальством — он дружил, безропотно выполняя все поручения и работу. Вставал в полпятого утра, чтобы к шести булки уже были посажены Саввой в печь, огромную, как пасть кашалота: отец настоятель увидал такую на заморском сайте в Интернете, перерисовал чертежи и вызвал из города мастеровитого печника.

Георгий шел по тропинке вниз, к селу, любясь панорамой. Стоящие в два ряда дома, озеро, совершенно круглое, чуть с краю села, рядом с заключенным за забор табором, вдали обширный луг, а на горизонте — словно море, дышащее белым паром, и совсем мелкие, как хвойные иголки, воткнутые в бахромчатый край леса, трубы большого города. Там, кажется, конец земли.

Лето короткое, мощное, густое. Цветы и травы тяжелые и пахучие. Солнце будто тянется, задерживаясь в меду закатных красок, и не может убраться на покой. За ним хвост, как от круто падающей кометы. Хвост аделаидовый*, малиновый, желтушный, облачно-сиреневатый.

Георгий перебежал клади. Идя мимо табора, послушал какой-то нарастающе-конвульсивный гул непонятных машин и повернул к дому Паллади.

По двору ходила Марионилла, помыкивая и рассыпая немногочисленным курочкам черные сухари, пережженные в печке. Увидав Георгия, она демонстративно отвернулась, показав торчащие под тонким платьем лопатки немного искривленной юношеским сколиозом спины. Собака Чамба, рыжая и беспокойная, подбежала к Георгию и стала лапиться, захватывая его колени и вертя головой.

— Чамба, хорошая девочка... На тебе хлебца... — сказал Георгий, улыбнувшись, и достал из кармана брюк кусочек сухой краюшки. — А хозяйки твои где?

Он прошел в сени, тукнул дверями у мостка, чтобы услышали.

— Хозяюшки! Деушки, баушки! Я вам хлебушка принес.

Его встретила Серафима с обычным равнодушно застывшим лицом, но с искрой радости в молодых и лукавых глазах. Палладия спала на своей высокой кровати, отвернувшись к стенке. Ее заботливо укрывала Марья, одетая в цветной хлопковый свитер и джинсы, слишком короткие у щиколоток.

— Матушка, я вам принес хлебушка и еще хотел вас попросить... — Георгий замер, втянув воздух. — А самовар ставили?

— Ставили! — сказала Серафима. — Но ужжо выпили. У Паллади опять голова болит, вот поляжили, положили.

Марья, смутившись, протянула Георгию руку. Тот взял ее за сухую ладошку и отпустил, почувствовав тепло.

* Аделаидовый цвет — красноватый оттенок лилового.



— Ну, пускай спит. Тогда вот хлебушек, а я вашу гостью прогуляю с полчаса, — сказал Георгий, заторопившись и отчего-то зашмыгав носом. — Хорошо?

Марья, улыбнувшись Серафиме, обула мокасины и легко выскочила на крыльцо. Марионила прошла ей навстречу тяжело и шумно, как груженная баржа, задела костлявым бедром Георгия и скрылась в своей комнатухе за занавеской.

— Ой... Сегодня она что-то совсем не в духе! — сказал Георгий настороженно. — Так пойдете?

Марья кивнула.

— Только ненадолго. А то я травками чайными надышалась и, думаю, засну скоро.

Они медленно пошли по улице, разговаривая неторопливо и легко. Поговорили о политике, о погоде, о красоте здешних мест. Скоро наедут дачники, туристы, паломники. Скоро жизнь вернется сюда.

— Не понимаю, почему тут никого не осталось? — удивленно спросила Марья Георгия. — А вы не знаете? И какими судьбами вы тут, если не секрет?

Вечер уже забрал голоса у птиц. Над пустыми дворами висело затененное томление, и комары с жужжанием отшатывались от рябиновых веток, которыми Георгий снабдил и Марью, и себя для более спокойной прогулки.

— Знаете... А можно я на «ты» перейду? — спросил он, погладив бритую голову и поправив очки.

— Можно, чего уж там...

— Только хотел сперва спросить, что вы за чай пили, — и Георгий искоса глянул на Марью.

Марья чистосердечно ответила, что Марионила поит Палладию каким-то особым чаем, от головы. Серафима сказала, что Марионила как раз и приехала из города, чтобы лечить сказительницу всякими снадобьями и травками.

— Может, она ведьма какая-нибудь? — засмеялась Марья и сморщила нос, став совсем молодой и озорной. — Или вы в колдовство не верите? Мне что-то про змея огненного рассказывали... Вы не видали тут змеев?

Георгий с сожалением покачал головой.

— Ох, мне, как Георгию, пришлось бы с ним бороться! Но нет, не видел. А все-таки, чай... Пригласите меня как-нибудь, когда она будет ей голову лечить.

— А что? Что-то не так? — обеспокоилась Марья.

— Да нет...

— Ну, расскажите, что вас сюда привело.

Георгий, еще немного пройдя по грунтовке, вдруг взял Марью под локоть.

— Пойдем посидим на кладях, там хорошее место. Вода журчит.

Марья согласилась, немного вздрогнув от неожиданности. Но это была приятная неожиданность.

Они сорвали еще веток и пошли вниз по тропинке к реке, которая текла спокойно и величаво, кружась и завихряясь к морю, к ледяным его водам.

На кладях уже попрохладнело. Георгий снял с себя флисовую куртку, оставшись в простой клетчатой рубашке с коротким рукавом, в которую обычно наряжался, когда выходил из монастыря по мирским делам, и накинул Марье на плечи.

— Я бабушкам часто хлеб ношу, но в доме ни разу не был... Марионилла всегда забирала. Это из-за вас... из-за тебя сегодня зашел. Еще хожу за монастырь, в Хамозеро. Там народу побольше. Место поглуше, возле леска. Там холмы есть, и с них хорошо полярное сияние видно. Я тут всего второй год, а каждую зиму видел, как небо играет. Такие цвета редки. Только над Москвой бывают: над ней ведь в морозные вечера такие краски блещут, каких нигде больше не увидеть.

— Это да. Но я живу не в Москве. У меня в Черноголовке комнатка. Я оттуда езжу в Москву на работу. Предлагали в общежитие переехать, на Бауманскую, но я, честно говоря, нажилась в общежитии. Я ведь с шести лет в детдоме. Хорошо еще, взамен родительской квартиры правительство выделило мне комнату. Свою, — сказала Марья не без гордости и заболтала ногами над бегучими водами Пини. — Однако вас... тебя на разговор не выгатишь!

— Да я...

— И не очень-то открываетесь... ешься кому попало...

— Ну, ты не кто попало. Да что рассказывать... Родился, женился... Как часто бывает, ранний брак рухнул. Пошел служить в милицию, попутно учился. Работал я лет десять: и опером был, и потом на Петровку попал в ОБЭП... Родился, кстати, я в Холмогорах, и меня, как Михал Васильича, занесло в столицу. А уж как началась эта свистопляска в девяностые... Я уже к первой чеченской был не юный, а поехал воевать. Повоевал, посмотрел, каково это... Всегда мечтал о войне — с детства. Думал, что там подвиги, там лучшие качества человека открываются: и честь, и доблесть, и сила, и милосердие, и справедливость. Пусть всё на крови, но там не так, как в обычной жизни... Оказалось, все наоборот. Война, даже самая короткая, самая маленькая, — это показатель того, как разложилось общество. Там сразу все пороки видны. И они так ужасны! Так неизлечимы...

Марья смотрела на воду, и у нее начала кружиться голова. Георгий рассказывал, а она, слушая внимательно, думала о том, что всякий человек ищет себе испытания. Хоть какого-нибудь: будь то война, голод или адреналин от быстрой езды. Без испытаний человек ничто, каждый это понимает. Кто без испытаний живет — становится растением, бурьяном.

— А еще у меня глаз стеклянный, — сказал Георгий.

Марья повернула голову и уставилась на его лицо, уже с печатью немалого жизненного опыта, твердое, с несмываемым терракотовым загаром, на загорелую бритую голову, на которой едва заметно пробивались остинки седых волос. Правда: один глаз, голубой и неживой, смотрел



прямо. А второй смеялся, лучился, светился. И первый глаз был отличен от второго как покойник от живого человека.

— А я теперь понимаю, почему мертвых «жмуриками» называют. Мертвые — от глаз. Первое, что умирает, — глаза, — сказала Марья, отводя взгляд от Георгия, лукаво улыбувшись. — Вы... По тебе не заметно.

— Еще меня контузило. Я, когда вернулся, долго не мог прийти в себя и злился, да как все военнослужащие, что мирские не понимают... то есть гражданские... О, я сравнил войну с монастырем! — и Георгий ненадолго замолчал, опустив голову.

— Такой же закрытый мир.

— Вот это точно сказано. Я над собой смеюсь.

— Что? — не поняла Марья. — Почему?

— Я так много плакал, но никто не видел. А смех — это то, что можно показывать другим. Вот я и не плачу, а смеюсь. Марья, я еще тебе не все рассказал. Я вернулся живым, но искал сил для жизни. Тут мать слегла. Два года лежала пластом. Я ухаживал за ней. А как умерла, я прямо с цепи сорвался — и «присел» на героин. Раз, два, три... десять... За полгода чуть до смерти не скололся. Хорошо, сослуживец мой положил меня в больницу святителя Алексия. А потом я напрямик сюда. Оттуда многие расходятся в поисках Бога, и я пошел искать. Не нашел — Бог просто во мне заговорил. Со мной заговорил! Стало быть, всегда был тут, — и Георгий погладил бритую макушку. — Или... Не знаю!

Марья вздохнула.

— Я, Георгий, продрогла немного. Не знаю, как ты сидишь на сквозняке. Пойду уже спать. Да и тебе пора, а то монастырские ворота закроют.

— О... Закроют!

Георгий быстро вскочил и помог Марье подняться. Взял ее за обе руки. Он был значительно выше ростом, поэтому ей пришлось поднять голову, чтобы по-приятельски поцеловать его в бородатую щеку. А что? Почему нет?

— А ты не замужем? — опасливо спросил Георгий.

— Не пришлось, — ответила Марья. — Я же до сих пор жду принца на белом коне. Смешно? Пусть.

Георгий отпустил ее руки.

— Приходи завтра на раннюю обедню. В нижнем храме, где иеромонах Илларион служит.

— Спокойной ночи, — сказала Марья. — Не провожай меня, тут рядом добежать, — и она, накинув на плечо Георгию его куртку, быстро пошла к тропинке и полезла наверх, светя голыми щиколотками.

— Гоподи, спаси мя от обольщения бесовского! — сказал Георгий, следя за ней не без удовольствия, и, присвистывая, почти побежал к монастырю по каменистой дорожке.

По Пине плыла группа байдарочников и пела на разные голоса старинную хулиганскую песню.

6.

В тот вечер, как Марья и Георгий гуляли, старуха Серафима застала Мариониллу за странным занятием. Девушка сидела в позе лотоса на своей кровати и смотрела в мобильник, быстро набирая пальцем сообщения. Как только голова Серафимы в черном платке просунулась за занавеску, Марионилла быстро спрятала телефон в одеяло и кивнула старухе головой.

— Да ницего не хоцу. Хоцу, щоб тебя отсюда прибрали, — сказала Серафима.

Марионилла покраснела, постучала кулачком о кулачок и провела ребром тоненькой ладошки по горлу, сжав и без того тонкие губы.

Серафима вздохнула.

— Живи, малеванная*.

И пошла спать в свой закуток, в самое теплое место, за печку.

Марья вернулась вдохновенная, счастливая и краснощекая. Свежестью пахло от волос, закрутившихся от влажного воздуха мелкими кольцами. Марья чувствовала какую-то силу. Она захотела поговорить с Серафимой, но та уже сняла платок и в косынке, плотно закрывавшей волосы, в позе предрекающей сивиллы, закрыв глаза и сложив руки на коленях, сидела на высоченной перине, свесив тонкие, щеглиные ноги. Марья зашла в переднюю комнату, где на столе уже остыл самовар, чтобы провести Палладию.

Палладия лежала прямо, ровно, открыв глаза. Марья подошла, услышав ее чуть сипловатое, но мерное дыхание. Палладия не спала. Она улыбалась и что-то очень медленно, очень старательно говорила, но нельзя было разобрать и понять что.

— Про змия огнеярого бредит, — сказала Серафима, дребезжа и напугав Марью.

Марья заглянула в глаза Палладии и заметила, что в полумраке комнаты, где горела одна лампочка под вязаным абажуром, зрачки той ушли в глубину радужки. Марье стало жутко, и она села за стол и налила себе чай.

В ту же минуту из-за своей занавески выскочила Марионилла и, мыча, стала кричать на Марью что-то непонятное.

— Она ярится, што цай остыл, — пояснила Серафима.

Марионилла же, подхватив горячий заварник, выбежала из комнаты в сени.

— Налить пошла, сухая родия**, — прошелестела Серафима. — Стала девка в табор бегать. Видать, нашла себе ухазора.

— А она внучка бабушки Палладии? — спросила Марья тихонько, прислушиваясь к звеньканью посуды за стеной.

— Никакая она не внучка. Ее сам внуцок Палладыин прислал смотреть за бабкой. И! Как приехала, так сгнуло ужжо целовек дваццать.

* Малеванная — здесь: красавица (ирон.).

** Сухая родия — молния, возникающая в отсутствие грозы и бьющая даже в невысокие предметы (местн.); здесь: непредсказуемая опасность, бедствие.

Ты сходи на погост, там видно. Она змия, она... Избави нас Христос от нее!

И старуха смолкла, снова прикрыв глаза.

Марья немного напряглась, когда вошла Марионила, неся на блюде вафли и заварник с горячим чаем. На этот раз Марья внимательно изучила чай, который плавал в чашке. От греха подальше.

Она прихлебнула немного, надкусила ковригу Георгия и пошла спать.

Однако среди тихой ночи, когда все уснули, над заросшим током за деревней взлетел со свистом в небо хвостатый шарик, блеснув во всех окнах ярким, словно электрическим светом. Старуха Серафима, услышав, тут же вскочила, приникла к окну — и, закрыв глаза, кинулась назад. Еще шарик, еще... Шипение, свист!

— Спаси, осподи! От рабы Божией Серафимы и от дому ея отгни летающего змия огненного и духа нечистого, прикасливого, денного и ноцного, полуденного, утреннего и вечернего, часового и минутного, всю силу нечистую! Отврати его ото всех ея дум и помыслов, видений и мечтаний, действий и воли... Спаси, осподи, меня!

Старуха бросилась на кровать, закрыла голову подушкой и стала горячо молиться, сухо плача и вздрагивая.

7.

— Говорят, у вас тут народу много померло. А отчего? Может, эпидемия? — спросила Марья продавщицу.

— А кто знает? Кто их знает? Помирают, потому что пьют. Больше не от чего. Тут жить ща можно. Только работать негде.

— Да, это проблема для всей страны.

Света перекрестилась на угол, где висел православный календарь с указанием церковных праздников. Марья заметила, что продавщица немного косит и разговаривает чуть заторможенно.

— Может, как разрез выроют, так все и вернуться...

— Какой разрез?

Света пожала плечами.

— А тут, где деревня, холм. Там будут алмазы добывать.

Марья вскинула рыжие брови.

— Да? Там что, кимберлитовая трубка?

Продавщица скривила губки.

— А я не знаю, как оно называется... Уже давно бы открыли, да тянут из-за директорской бабки! Это она все тут сидит и никуда не уезжат. А он разработку не начинает, пока она не помрет... Может, это только слухи, но все говорят. Вы спросите в монастыре. Да хоть у Георгия. Он прошаренный, в курсе.

Марья накинула платок и пошла к обедне. Впереди нее уже тянулось несколько бабок из Хамозера и человек пять автотуристов из кемпинга, шумных и одетых в попугайные майки и шорты. У входа в монастырь им перегородила дорогу местная смотрящая бабуля и заставила надеть юбки и платки, которые тут же и запрдала им по полтиннику за штуку.

Местные прихожане и наезжающие туристы в праздники создавали толпу в нижнем приделе Свято-Успенского храма. Когда приезжали паломники, к иеромонаху Иллариону и вовсе было не подступиться. Он по полчаса выслушивал исповедующихся, и люди покидали его с разными чувствами. Многим он отказывал в исповеди, коротко бросив: «Подготовься — приходи». Марья даже не думала к нему попасть. Она оглядывала стены и вдруг увидела справа усеянную головками горящих свечей большую икону святого Георгия, сидящего босиком на огромном крутоголовом белом коне и поражающего острым концом копья в разверстую пасть змия с раздвоенным языком. Марья на миг замерла посреди прохода, протиснулась к иконе и, увидав свое отражение в стекле, которым было забрано изображение святого, удивилась, насколько просто она выглядит в белом платочке, с выскочившими вокруг лица рыжеватыми, почти ржаными мелкими локонами.

Марья забыла, зачем пришла, а служба меж тем началась.

Так она и простояла до самой исповеди, пока ее не подперла очередь.

Дьяконы и алтарник с пономарем Саввой прошлись по церкви с кадилами. Марье стало душно. Защекотало в носу, в горле, и она, чтобы не раскашляться или не чихнуть, выбежала, перекрестившись, за дверь.

На чистом воздухе ей стало легче дышать. От моря шла косматая темно-серая, словно дымчатая, туча, на фоне которой белели клочки загулявших облачков. Пели птицы. Возле своего дома хорошо была видна старуха Серафима в черном платье и темном платке вокруг лица, завязанном на макушке в узел. Она обрезала какие-то кустики в палисаде.

— Марья! — окликнул вроде бы знакомый голос.

Марья обернулась. Это был участковый Николай Бушин, при полном параде и в сапогах. Серая форма ему очень шла. Из-под фуражки торчали белобрысые, чуть отросшие на шею волосы. Участковый не особенно следил за своей прической. Он был белобрыс до того, что и ресницы отливали какой-то жемчужной белизной. Марье даже показалось, что он альбинос, особенно по тому, как легко краснели его гладковыбритые щеки.

— А, это вы, — ласково сказала она, и участковый выпрямился и приосанился. — А я как раз хотела кое о чем у вас поинтересоваться.

— Да? — растерялся Бушин. — Пожалуйста. Как ваши сборы?

— Все хорошо. Записываю потихоньку. Палладия перлы выдает, а Серафима рассказывает, что вчера ночью видела огненного змия. Вот не знаю... В других местах мне говорили, что змии прилетают к вдовам, оборачиваясь умершими мужьями. Или в столпы превращаются.

— Нет, Серафима точно не вдова. Она даже и замужем не была. А эта, трясогузка вредная, не досаждают вам?

— Марионилла?

— Она.

— Нет вроде бы. Все хорошо. Да что вы ее вредной-то все зовете? Попробуйте-ка немым жить! — заступилась Марья.

Участковый сощурился.



— А еще что?

— А еще мне про вашу алмазную трубку рассказали.

Бушин неожиданно выпрямился и сдвинул брови, отчего его нос расширился, а лицо стало до крайней степени некрасивым.

— Про что это?

— Про разработку.

— А кто вам сказал? Кто-то из монастыря?

Марья, заметив его тревогу, дернула плечом.

— Слухи, наверное. Ладно, я пойду. Мне надо по делам.

Участковый, мотнув головой, быстро подскочил к ней и взял за локоток.

— Вам тут наговорят, ага! Только слушай... Нет, ничего такого нет. А если и есть, то мы этого не знаем, ага?

Марья смутилась.

— Да я тут, собственно, не за тем, чтобы слухи собирать. Просто интересно стало.

Туча закрыла солнце, и мгновенно порывистый ветер взвил пыль на площадке перед входом в храм.

— И не собирайте, не надо. Так а кто же?..

— Неважно. Это просто чушь. Я поняла.

Марья вытянула локоть из цепкого захвата участкового и, кивнув ему головой, не оглядываясь пошла к речке. Ей нужно было успеть домой до дождя.

8.

Вечером Палладия снова сидела на кровати, вытянув ноги в коричневых трикотажных чулках, обтянувших ее уродливые бугристые стопы, и терла виски толстыми пальцами. Марья сидела рядом на табуретке и, держа на коленях для удобства том «Графа Монте-Кристо», записывала в тетрадке сказку.

— И потом узяла ее такая тоска, что пошла она и кинулась в наше Хамозеро. И тут утопла. На том все... — нехотя закончила Палладия. — Как пройдет боль-то, еще расскажу, почему жук голову не подымат. Почему так ходит, с опущенной головою.

— Почему же? — спросила Марья, тоже не поднимая головы. — Грустно ему на севере?

— О, там цѣльная история, девко... Ох, девко, кликни мне Мариониллу-то!

Марья посмотрела на Палладию. Та покрылась буровато-красными пятнами, часто дышала и моргала слезящимися глазами.

— А где она может быть? — спросила Марья.

— Где! Кликни мне ее! — злобно рывкнула Палладия, и Марья, сорвавшись с табуретки, выскочила во двор.

Шел теплый летний дождь, долгий и шумливый. Марья не увидела во дворе Мариониллы и, накинув на себя штормовку, пошла к сеннику.

И каково было ее удивление, когда она услышала с улицы два голоса: мужской и женский. Они тихо переговаривались за забором, вроде бы на повышенных тонах.

— Ты чего глядишь на нее? Я тебе гляделки-то повыцарапаю!

— Ну что ты, цветик мой! Ревнивая, что ли? Вот глупая...

— Э-э-э, глупая, ревнивая... Нормальная! Сколько еще ждать-то? У меня жизнь проходит. Ты бы почаще появлялся со своей ракетницей, тогда, может быть...

— Они и так боятся до смерти. Потерпи.

— Он говорил, бабку не трогать. А мы трогаем, получается...

— Ничего такого мы не делаем.

— Тогда придумай что-нибудь, чтобы быстрее... И оксти*, оксти ее, эту блудную дуру! Вон, бежит! Я пошла.

— Как так — «оксти»? Стой...

— Как получится! Или я разберусь.

Марья увидела сквозь щелочку в заборе две неясные фигуры за струями дождя. Одна из них поспешила в сторону кладей.

Испугавшись, что ее заметили, Марья резко развернулась и пошла звать собаку.

— Чамба! Чамба!

Собака подбежала к ней.

— Собачушка? Не видала ты тут Мариониллу? Нет?

Собака виляла хвостиком, подпрыгивала, поскуливала, и уши ее подлетали вверх, как крылья мясистой бабочки.

Ай да Марионилла, ай да немая! Как мастерски научилась прикидываться! И Георгий хорош, а ведь Марья уже почти прониклась к нему симпатией... Интересно, что у них за общие темные дела? В том, что это были Георгий и Марионилла, Марья почти не сомневалась. А кто там еще мог разговаривать?

Марионилла пришла спустя недолгое время с бумажным пакетиком. От пакетика благоухало чабрецом, мятой и чем-то резким, но приятным. Она поймала на себе недобрый и подозрительный взгляд Марьи, но притворилась, будто не знает, в чем дело.

Палладия лежала и сучила ногами, а Серафима натирала ей виски и переносицу бальзамом «Звездочка» из Марьиных запасов. Марья залила кипятком лапшу и тихонько сидела за столом, ужинала. Марионилла скинула старый выцветший плащ и тут же подбежала, явно обеспокоенная, к Палладии.

— Дусегубка ты! — дрожа всячими пергаментными щечками, сказала Серафима. — Довести до смерти хочешь бабку? Да? Всех хочешь до могилки довести? Да не выйдет! Куда нам надо, мы и сами успеем.

Марионилла отчаянно зажестиковала, бессловесно заругалась, скрючив пальцы из вредности. Волосы ее завились на дожде, глаза горели. Она была в каком-то нервном возбуждении.

* Оксти — здесь: урезонь, образумь, поставь на место.



Не успела она подойти к кровати Палладии, как вошел Георгий в красном полиэтиленовом дождевике. Марионилла метнулась от него как черт от ладана.

— Марья! — позвал Георгий.

Марья вскочила и подошла, кутая голые плечи в плед. Она уже разделась до майки.

— Да?

— Вот уже! Нацал приходит! Цо? Цо? — Серафима бросила на Георгия подозрительный взгляд.

— Я, баушка, не к вам. К Марье. В Хамозеро ее хотел позвать. Там тоже есть старуха одна... рассказывает.

— Это Капка Дьяконова? Она — старуха, что ль? — оживилась Палладия.

— Она, — ответил Георгий.

— А они тоже староверы? — сдержанно спросила Марья.

— Они — нет. Это вот только Серафима староверка. А ишло его-висты были. Аккуратненьки таки люди! Тут жили. Ах, да ты не знаешь, кто был в этом селе... Уехали. К своим уехали, куда-то на Алтай, что ли...

— Да ты скажи, поцому они уехали! — едва слышно добавила Серафима.

— Что ты, старая, завелась? Остынь! — отвела ее руки от своего лица Палладия. — Ужо все. Намажировала*.

— Может, вам чаю крепкого с сахаром? Мне помогает от мигрени. Только надо очень крепкий и очень сладкий, — сказала Марья.

— Да, так что? Дождь прошел. Пойдем в Хамозеро? У меня три часа. — Георгий ждал ответа.

Марья, неожиданно для себя, согласилась.

— Да, конечно. Я могу там даже остаться... А завтра приду назад.

— Может, сегодня только познакомимся. Туда сейчас автолавка поедет, хлеб и продукты повезет.

— А кто на автолавке?

— Наша продавщица и ее муж.

— Хорошо, сейчас. Пойду утеплюсь, — сказала Марья и вышла на веранду.

— Где эта? — тихо спросил Георгий Палладию, кивнув на Мариониллину завеску. — Там?

— Там, — обмякла Палладия. — Только пришла.

— Как ваша голова?

— Разыгралась.

— Эта поит ее всякой потравой. Ужо я знаю! — сказала Серафима.

Георгий кашлянул.

— Опять у вас какой-то дрянью пахнет. Вы смотрите! А ну как зайдет участковый?

— Да его долго не было, — сказала Палладия. — Вот подохну, приедет меня закопать.

* Намажировала — здесь: помассажировала.

— Цур тебя! — цыкнула Серафима.

Марионилла, видимо переодевшись, вышла из-за занавески в оборочатой юбке и футболке с длинным рукавом, накинув на плечи вязаную шаль. Георгий примолк, а она вперилась в него ненавидящим взглядом. Хоть и немая, а прочитать в ее глазах можно было все без слов, и от этого Георгию стало немного страшно.

Он извинился и вышел во двор — ждать Марью.

— Эвон какой умный... — сказала Серафима. — Сморит на нем-тырьку-то нашу как!

— Он и умный, а мы умнее, бабушка, — сказала Палладия, дрогнув квадратным, мужским подбородком. — Видали мы и переумных, и умных, и в полтину. Все под голубцами залегли, одни мы затоптались на белом свете.

9.

До Хамозера было идти всего-то километра полтора, а ехать на «Волге»-автолавке вообще быстро. Марья и Георгий сели назад и близко друг к другу. Георгий смотрел в окошечко, забрызганное дождем, и то и дело поворачивался на Марью, беря ее под руку, чтобы она не так тряслась на ухабах.

— Да ети ее мать! Когда ж нам дорогу-то наладят? — ругался Вася, брат участкового и муж продавщицы Светы. — В поселке, на, уже все чики-пуки. Асфальт постелили, на, а у нас никак!

— Это чтобы меньше паломников припиралось, — ответила продавщица. — Да и смысла-то... как говорят...

Вася с хрустом повернул голову и молча глянул на Свету. Та отвернулась в окошко.

— А говорят, что кур доят. Правда, Свет? — спросил Георгий.

— Да разное болтают.

— И про алмазы тоже болтают? — вставила Марья.

В салоне воцарилась недолгая тишина.

— Болтают, — наконец взял слово Георгий. — Что ж еще? Ведь если тут их разводить, разработки эти, вся окрестность крякнет. Это же не город Мирный. Это так, мусорные селища.

Марья двинула плечами.

— Да, но ведь тут люди живут...

До Хамозера доехали молча.

Выбравшись из машины, Марья окинула взглядом сельцо. Тут, по крайней мере, была церковь, хоть и с проломанной крышей, и домов двадцать — огромных, со вторым светом, с галерейками. Начальная школа жалась к родниковому озерку, дающему начало огромному Хамозеру, с каменистым дном и чистой водой. Народу тут жило побольше, чем в Опашке.

Георгий проводил Марью до дома Капитолины Дьяконовой, завел ее во двор, познакомил с дочками старухи.



В Хамозере уже и уклад был другой, и одевались по-другому, и по-вязывались. Тут жили православные, не старообрядцы, и над высокими домами не было особой резьбы с солнечными завитушками. Все было попроще и поглубже, без традиционного живого изыска, мелочной прелести наивного искусства.

В комнатах, которые здесь именовали «каморы», были только разрисованы стены. Не было прялок, как у Паллади, и швеек, и деревянных ковшей. В каждой каморе было по телевизору, и каждый орал, как для глухих, транслируя «Первый канал» и Малахова с их убогими персонажами. Марья поздоровалась с толстой Капитолиной — седой, но причесанной в «хвост», дома простоволосой — и, выпив обязательного чаю и поговорив про Путина, которого непременно должна была «на Москве» знать или хотя бы видеть, села записывать.

Остаться допоздна она не собиралась, но ее задержали пятидесятилетние дочери старухи, Анна и Настасья, пытая, что в столице носят, сколько получают, куда ходят. Марья, расслабившись, с удовольствием болтала с ними, перенимая их говор, быстрый и текучий, и вылавливая оттуда новые словечки.

«Как богат наш язык! — думала она, выйдя из дома Капитолины в сутемках. — Нет ему конца и края, как морю небесному...»

Впереди, за холмами, у монастыря горел фонарь. На него она и пошла. А там уж близехонько и до дома.

Грунтовка намочила от дождя, и Марья поскальзывалась в неудобных калошах, но ночевать у чужих людей ей не хотелось. Ничего даже, что дома Марионилла смотрит волком. Дойдя до магазина, Марья отерла калоши от грязи о траву и с радостью увидела светящееся оконце в доме Паллади.

Однако, интересные тут люди! Какие-то напряженные, немного заторможенные. Чего-то опасаются. В Хамозере и десяти жилых дворов не наберется, а это считается много...

Марья решила наутро сходить на кладбище.

В совершенной уже темноте она вошла во двор, потрепала по загривку Чамбу, бегающую на цепке, и, стараясь не разбудить старух и Мариониллу, пошла спать на свою панцирную сетку, гремящую на всю веранду от любого поворота тела.

10.

Наутро Марья тихо оделась, не дожидаясь никого, и выскользнула за калитку. Свежий, промытый дождем мир сиял вокруг, как бывает только в короткое северное лето. Пичужки летали и свистели на все голоса, заняв своим ликованием весь окружающий мир. По реке снова кто-то плыл и пел. Ночью в автокемпинг на том берегу приехало пять машин, видно, откуда-то из-за границы. Речь оттуда летела не русская, но и не английская. Не разобрать было. Марья пошла по широкой улице до края села, посмотрела на бурые пятнышки семи монастырских коров,

пасущихся вдалеке, свернула за круглый пруд, миновала большой холм и прямо за ним, в малорослом березняке, увидела посверкивающие табличками кресты кладбища за неухоженной деревянной оградой. Правда, ворота на кладбище были из черного камня, выглаженного и выбитого завитушками. Это все, что осталось от старого дореволюционного забора. И прямо через эти ворота на кладбище шла тропка, ровно через могилы с красными памятниками.

— Марья Авдеевна Неплаклина, дочь купца второй гильдии Авдея Ефстафиевича Саморядова. Почила в бозе в тысяча восемьсот первом году двадцати трех лет пяти месяцев семи дней... — прочитала Марья. — Ну, привет, тезка! Прямо через твою могилку проход сделали, а?

На остальных камнях, которые тут лежали необыкновенно тесно, были вырезаны «голгофы» с черепами и костями. Это были самые старые захоронения. На многих были сбиты кресты и набиты пятиконечные звезды. Захоронения двадцатых, тридцатых годов... Поодаль, будто отдельно, стояли металлические, уже сгнившие от ржавчиныobeliski — могилы военных и послевоенных лет. Голубые оградки шестидесятых, семидесятых. Алюминиевые — восьмидесятых. Черно-золотые — девяностых. И, наконец, украшенные фотографиями «три-дэ» холмики двухтысячных...

Эти уже более свободно расположились на восточном берегу кладбища, и между могил легко можно было пройти. Тут покоились и семейные пары, и одиночки, и старики, и очень много молодежи, и дети... Все под «голгофами», все увенчаны восьмиконечными крестами.

Марья, начитавшись и насчитавшись годов, прожитых местными покойниками, с гудящей головой села на скамейку у свежей могилы симпатичного кудрявого паренька шестнадцати лет. Он умер недавно, в начале лета. Марья его уже не застала.

«А почему это столько молодых?»

Она встала и снова пошла между могил.

«Две тысячи пятнадцатый, май... Пятнадцатый, пятнадцатый... Шестнадцатый... и вот... и вот... И тут шестнадцатый...»

Марье стало жутко. Ветер налетел на березки, и те залямпали-захлопали легкими листиками. С чьей-то могилы сорвался, испугав ее, зеленый дятел.

«Да это... геноцид!» — подумала Марья и давай бог ноги побежала с кладбища к холму, к пруду, к речке, в магазин.

Возле открытой двери магазина стояла автолавка, и ловкий Вася с Георгием переносили хлеб, молоко и колбасы с сырами в багажник.

Марья, растрепанная и озадаченная, остановилась. Георгий ее заметил, поставил ящики, вытер руки о штаны и подбежал. Его бритая голова блестела. От глаз расходились лучами добрые морщинки. Просто не верилось, что это он недавно беседовал с Мариониллой о каких-то темных тайнах... Но если не он, то кто же?

— Марья! Чего ты тут? Чего такая? — Георгий приобнял ее и тут же отпустил, застеснявшись.



Марья, сунув руки в карманы курточки, ошарашенно смотрела на Георгия.

— Я в воскресенье домой. Много чего надо осмыслить. И еще кое-что узнать...

Георгий сошел с лица.

— Что узнать?

— Да так... А ты что — ничего не знаешь в своем монастыре?

Марью кто-то тронул за плечо. Она обернулась. Прямо за ее спиной стояла Марионилла и головой показывала следовать за ней.

— А, врединка наша... — добродушно сказал Георгий. — Ну, мне догрузить, а там увидимся.

И он чмокнул Марью в щеку.

Марья пошла за Мариониллой до кладей. Та, оглядевшись, достала из кармана широкой юбки блокнотик и ручку и быстро стала писать, после чего вручила написанное Марье.

— «Видела вас на кладбище. Все ли вы поняли?» Что, Марионилла, что я должна была понять?

— «Два года».

— Да, поняла. Что-то мрет народ...

— «Нас всех убивают».

— Кто, Марионилла? — испугалась Марья.

— «Я не знаю. Но догадываюсь. Доказать того не могу. И еще мне не поверят, а вы скажете — вам поверят. Только разберитесь».

С холмика, погрузив ящики с продуктами в багажник автолавки, Георгий поглядывал на переписку Мариониллы и Марьи. Он видел только спину Марьи, но понял по ее скованным движениям, что она переживает.

— Чего там они встали? — спросил Савва, подавая ящик с газировкой.

— Что-то Марионилла показывает вроде... или пишет... — Георгий сдвинул брови.

— Ох, соблазн бесовский! — вздохнул Савва.

11.

Игумен, высокопреподобный Иона, давно готовился раскрутить монастырь еще больше. Что, если все — и площадь, и природа — позволяет... Но сейчас, в наступившем году, ветер перемен подул порывистее. Иеромонах Илларион часто приходил к настоятелю, и они, сидя в просторных каменных покоях постройки семнадцатого века с расцветающими кринами* на потолке и затейливыми змеевиками** над арочными окошками, убранными желтыми стеклышками, пили рябиновый морс.

— Последние дни наступают для обители нашей. Уезжать придется, как ахнут сюда громы адские, — говорил Илларион, сжимая костистой

* Крин — лилия (устар.)

** Змеевик — круглое украшение с изображением змееподобных существ.

ладонью наверхие монашеского посоха, коим так часто показывал паломникам на выход. — Мало их — в алых трусах ходят и с собачней на святой земле играют? Пльвут и едут! А мне по нраву больше столп в лесу.

— Бросьте, отче, — отвечал настоятель. — Кто сейчас на столпах стоит? Кто вериги да власяницы носит на себе, уничижая страданиями тело и возвышая дух? Нет сейчас сподвижников, оттого и мир стал беспросветен, мелок и малодушен. Никакого почтения к старшим!.. А ехать нам никуда не придется. Тут обитель поднимется, немного осталось подождать. И уже никакая власть нас отсюда не вытурит.

Приезжала комиссия из епархии. Отдали в монастырское ведение еще часть старинных построек. Настоятель, недолго думая, сдал их под склады старику Резо из города, который стал быстро богатеть на заготовке «мертвого» дерева и продаже его для коттеджей в Москву. В таборе у Резо трудились только его родня и свойственники, русских из Хамозера, Дукова и поселка он не брал на работу.

— Пьют и наркоманят, — объяснял Резо, почесывая нос. — Моим жить, а эти и так и сяк сдохнут.

Ниже по течению, в спокойном и живописном месте, где Пиня-река разрывалась островами, Резо построил собственный «хутор» из десяти домов, где жили его многочисленные братья, сестры и тетки с дядьями. А над «хутором» высилась гора, Ставровы Сады ее прозывали, где построили церковь, по архитектуре напоминающую грузинскую. Поговаривали, что на деньги епархии.

Всего этого Марья не знала, догадавшись только навскидку, что творится здесь что-то неладное. Пусть так, Палладия — «крутая» бабка, но разве может она одна повлиять, скажем, на решение совета директоров какой-нибудь «Алросы», копать тут, в Опашке, или не копать?

И все эти люди, вымершие, как динозавры, за последние два года, и сбежавшие иеговисты, снявшиеся целой деревней... Чем им пригрозили? Кто их заставил уехать?

Прошла неделя, как Марья гостила у Палладии. Накануне ночью снова по небу катались снопы искр, и Серафима успокаивала Палладию тем, что ей «кажиццо». Меж тем казалось все страшно. Марья вскочила с кровати, громыхнув сеткой, и кинулась к окну. Полыхнула еще одна ярчайшая вспышка — и все стихло.

А тут новая проблема: Марионила задержалась в Хамозере. Пошла за нитками в сельпо и не возвращалась со вчерашнего дня.

Серафима пришла к Марье — звать ее поесть в дом. Марья как-то привыкла уже варить картошку и заваривать лапшу быстрого приготовления. Как-то раз она хотела дать Серафиме шоколадку.

— Нет... — отмахнулась та. — От его дуреют. Это все бесовское искушение. Я и хлеб-то не ем монастырский. Больно сладкий. Вот уж два года ем только мангазинный.

— А что, разве не вам Георгий приносит хлеб? — спросила Марья.

— Да ей, — Серафима указала на Палладию. — И немтырьке нашей. Они вместе тот хлеб хорошо едят.



Марья удивлялась. Монастырский хлеб был мягок, вкусен. Георгий добавлял в него то изюм, то орехи, то семечки, то ванилин. То какие-то булочки с глазурью разноцветной делал, то пряники в виде кроликов, цыплят, медведиков — детские. И все цветные, красивые и приятно пахнут...

12.

— Если ты столько будешь закупать, мы разоримся! — сказал отец Иона Георгию, когда тот попросил еще денег на корицу, ванилин и красители для выпечки. — Можно и ненатуральные брать.

— Ненатуральное все плохое. Это же синтетика! — сказал Георгий. — А что за хлеб без изюма? Без ванилина, без корицы? Тем более — какую упаковку Савва придумал, а? В сам Архангельск, в Питер берут, да с каким удовольствием!

— Да, это вы уже бренд сделали, — довольно сказал настоящий. — А тут что? Формы, краски... Для украшения, что ли?

— Для фигурок и для посыпки.

— Вот пошлю я в вашу пекарню отца келаря: пусть поглядит, не суете ли вы под полу продукты!

— Да что нам за радость продукты красть? — нахмурился пекарь. Он не любил, когда ему не верили. — Я от чистого сердца.

— Ты еще со мной за мак не рассчитался, Георгий. Меня Аслан за него чуть не зарезал. Прямо тут.

— Охохонюшки, отче... Я как лучше хотел! А все равно получилось, что солому-то стащили.

— Вот и я говорю, что стащили. Была бы гречневая или ржаная, так бы и лежала. А то — маковая. Ясно!

Во дворе Георгий столкнулся с отцом экономом и иеромонахом Илларионом. Те на ходу беседовали о необходимости открыть печатную мастерскую. Увидав Георгия, кинувшегося к нему за благословением, Илларион отпрянул.

— А, ты? Все мечешься? — глаза иеромонаха, подслеповатые, как у крота, и глубоко посаженные, вечно сощуренные, пронизали Георгия насквозь.

— Благослови, отче.

— На благое дело благословляю, — сухо ответил старец, осенил пекаря крестом, потом развернулся спиной, согбенной годами, и ушел в келью молиться.

— Никто тебя не любит, Георгий! — хохотнул эконом, круглый, тощевородый иеродьякон. — Не стать тебе иноком, а?

Георгий смиренно опустил глаза.

— Кого Бог любит, того бьет, — ответил он тихо.

Пономарь Савва по вечерам любил пробежаться до заросшей речной заводи, глухо скрытой от любых взглядов, и проплыть, скинув рясу



и подрысник, размашисто и вольно, так чтобы ноги потом задрожали. Вода в речке студеная, но чуточку к июлю прогрелась, терпеть можно и плавать безопасно: не возьмет мандраж.

В этот вечер закат уже почти отгорел и начинало темнеть. Савва усердно мылился, стоя по пояс в реке, а сам поглядывал по сторонам. Напоследок взбив на голове гнездо из пены, пономарь ухнул, упал на спину и поплыл, широко раскидывая руки и стараясь держаться в верхнем слое воды, нагретом за несколько последних дней до температуры парного молока.

Но, не проделав и половины своего обычного маршрута, Савва не просто выплыл, а выскочил из речки, крестясь и дрожа от ужаса.

Нечто, качающееся на поверхности, будто детский плавательный снаряд, но не так весело раскрашенный, медленно приближалось к нему по течению. Вокруг этого странного предмета роем вилась мошка и плескалась мелкая рыбешка, оставляя за собой пузырчатые окружности.

— Господи... Господи Иисусе, да это... это...

Пока Савва одевался, дрожа всем телом, и, скача по песку, путался в полах одежд и тряс волосами, оно подплыло к берегу, уперлось в тростниковые стебли и повернулось...

— Да это Марионила наша! Точно, юбка ее... Господи, помилуй! Надо в «скорую» звонить! Надо в «скорую» звонить!

Савва хлопал себя по коленкам, а сам не мог оторвать взгляд от раздувшейся Мариониллы с выеденными рыбами веками и надорванной кожей на щеках.

— Чтoб я еще купался, святая Богородица! Никогда больше в воду не зайду! — причитал пономарь.

Наконец, чуть успокоившись, он сел на корточки и задумался.

«Темнеет уже. Нужно что-то делать. Нести весть в монастырь и бабкам, что пропажа нашлась? Или так все и оставить? Не больно-то ее ищут, утопленницу... Как же она в реку угодила? Неужто кто помог?»

Савва, преодолев страх и вытерев полой рясы мокрую бородку, нашел на берегу толстую палку с сучком и, подцепив Мариониллу, затянул ее в кусты. Сейчас сюда никто не должен прийти, значит, у него есть время. Савва завязался опояской, подоткнул повыше рясу и побежал, сжимая в руках сандалии, к монастырю.

Бежал он во весь дух, припомнив, что ему сегодня еще нужно приготовиться к всенощной.

Эконом, сидящий с иеромонахом Илларионом на скамеечке у ворот, крикнул вослед:

— Эй-ко! Ты, как Архипп Херотопский, бежишь архангелу Михаилу помолиться? Что там, две реки в одну слились*?

* Преп. Архипп Херотопский — христианский святой, живший в IV в. Согласно житию, служил в храме Архистратига Михаила в местечке Херотопа (во Фригии). Однажды язычники решили разрушить храм и для этого объединили потоки двух горных рек. Но св. Архипп помолился архангелу Михаилу и тот, явившись перед храмом, ударил жезлом по скале и направил в получившуюся расщелину воды несущегося потока. Храм был спасен.



— Вы бы не смеялись! — весьма дерзко отвечивал Савва и пробежал на задние дворы, чтобы оттуда незаметно выскользнуть на берег через черную калитку.

Через недолгое время Савва, пряча в складках рясы саперную лопату Георгия, которую тот привез с собой из армии как лучший инструмент на все случаи жизни, выскользнул через дальний выход за стены монастыря. Георгий с одним из братьев-монахов смолил гуся на задах трапезной: на завтра ждали гостей из епархии. Значит, лопаты он сейчас точно не хватится.

Савва почти съехал на пятках с крутого берега, перебежал через клады и повернул налево, к заводи, где, распространяя страшный дух, в прибрежных кустах безжизненно покачивалась Марионила. Он разделся, завязал себе лицо по самые глаза предусмотрительно захваченной тряпичей, чтобы не надышаться мертвой вонью, и только потом взялся за дело.

Действовать нужно было как можно аккуратнее, чтобы никакая ищейка не смогла найти следов. Среди густого лозняка, где над обрывом нависал пенёк сломавшейся от старости ивы, Савва выкопал небольшую нишу. Влажная земля, смешанная с песком, поддавалась легко, так что времени ушло немного. Борясь с тошнотой, он перетащил Марионилу в яму, стараясь поменьше прикасаться к телу, а больше пользоваться суком, забросал тело пригоршнями мокрого песка и комьями земли, натаскал ила и прикрыл место полусгнившими ивовыми ветками. Теперь никто бы не догадался, что здесь обрела последнее упокоение Марионила.

Задыхаясь и дрожа не то от волнения, не то от крепчающей вечерней прохлады, пономарь тщательно вымылся в речке, а потом отплыл на середину — поглядеть, не заметно ли могилу с воды. Немного успокоился: тростник и лозняк не давали ничего высмотреть.

Савва выбрался на берег там, где бросил одежду.

— Не отпели... — спохватился он. — Хоть и вредная, а все же человек...

Делать было нечего, тем более что он безбожно опаздывал на всеобщую. Но на душе скребли кошки, и, больше для очистки собственной замаранной совести, Савва наскоро прочитал молитву об упокоении, поднимаясь к монастырю.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленную рабу Твою и яко благ и человеколюбец... прости ей вся согрешения вольная и невольная... Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабе Твоей... И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь...

В кармане вдруг неожиданно ожил телефон, поставленный на вибровызов. Савва вынул его — и оцепенело уставился на светящийся дисплей. Вызов обозначался как «Она». Звонящий упорствовал. Не чувствуя собственных пальцев и едва владея голосом, Савва обреченно нажал на кнопку и произнес:

— Да?

На другом конце молчали.

— Слушаю...

Трубку положили.

— Господи помилуй... — прошептал пономарь одеревеневшими губами.

На всеобщую Савва, конечно, опоздал, и его обязанности принял на себя младший алтарник. Пришлось притвориться, что распорол ногу о разбитую бутылку в реке. Настоятель, смерив пономаря недовольным взглядом, все же кивнул и отправил его в келью.

— А чего от тебя так воняет-то? — спросил иеромонах Илларион, когда Савва, припадая на «больную» ногу, прошел мимо него. — Как будто все бесы в тебе разом передохли...

— Грешно смеяться над болезным! — обиделся Савва, вздохнул и побрел спать.

Его знобило от пережитых приключений, да еще пришлось настоящему разрезать кожу на стопе, чтобы наутро не забыть в суете про свою «травму» и хромать истинно.

13.

Серафима после очередного фееричного явления змия решила уходить. Марья все не могла дозвониться до участкового Бушина по поводу исчезновения Мариониллы. Палладия слегла и не хотела ни пить, ни есть, а только плакала. Серафима, древняя старуха, и то перенесла отсутствие Мариониллы достойнее.

— А у меня что? Головы не болят. Завяжи и лежи. А я уйду. Боюсь я тут.

— Куда же ты, бабушка, пойдешь? Тебе бы на месте доживать. В своем доме, — сказала Марья.

— От дом уже не мой. Мой дом там, — сказала Серафима и махнула коричневой дланью в сторону кладбища. — А всё не вынесут. Хоть сама ложися.

— Не могу вашему милиционеру дозвониться, — вздохнула Марья.

— С телехвона? С этого твоего? — Серафима ушла в дом и через пару минут вернулась на веранду. — А с этого спробуй! — и подала Марье завернутый в тряпицу серый смартфон.

— Ого! Это твой, что ли? — удивилась Марья.

— Эге, мой... Девкин, — кокетливо подняла лысые брови Серафима. — Он, видать, ее и довел. Они всех доводят.

— Мариониллин?

— Ее.

— Ух ты, надо же... — Марья нажала кнопку, и телефон, зазвенев и завибрировав, включился — и тут же запищал неприкрытыми вызовами.

Марья уставилась на экран. Десять неприкрытых. Кто это был? Марья нажала, чтобы перезвонить. Трубку долго не брали. Наконец тревожный мужской голос спросил:



— Да?

Марья молчала.

— Слушаю...

Марья, похолодев, нажала отбой.

Голос был знакомый, но неожиданно испугал ее.

— Што? Ответили? — спросила Серафима.

— Да... Но не знаю кто.

— А поехали и ты со мною? Я пойду, а ты поедешь. Што там, Палладия со своей килою помрет, а я одна останусь, штобы меня змий в ино царство утащил? Нет, не дамся! Все одно помру, но не тут.

Марья взглянула на Серафиму. Старуха, маленькая, сгорбленная и живая каким-то чудом, давным-давно уже была нездешней, чужой в мире, напрочь о ней забывшем. Жизнь шла помимо нее, ничем не умаляя и не задевая ее существования. Женщина она? Нет, скорее... дитя? Видно, для того Бог и забирает у стариков разум, чтобы они еще раз прошли счастливую пору самозабвения и вселенской свободы. Теперь она вне общества, она ничья и даже свободнее, чем дети, которых контролируют старшие.

— Я пока тут останусь. Есть у меня еще дела. Небольшие, — сказала Марья и незаметно смахнула с ресницы слезу.

Серафима покачала головой.

— А энтот полюбился тебе... Да ты не гляди, што лысый! Я уйду, а ты смотри за бабой, ей уже недолго.

— Да что ты заладила, бабушка, что недолго! Палладия тебя лет на двадцать моложе, — возмутилась Марья, но по-доброму.

— Ох! Тлен не в роже и не в коже. А в дусе, откуда Бога выгнали.

Марья с этим охотно согласилась.

...Она спала, разморенная жарой и мыслями о Георгии, когда Серафима ушла, взяв с собой только старое Евангелие своей матери — ветхое, рассыпающееся, перевязанное резинкой и спрятанное в надежный полиэтиленовый пакет из «Леруа Мерлен», который Марья отдала ей в путь вместе с теплым платком и шерстяными носками на случай холода.

14.

Вселенский заговор, как есть заговор! После ухода Серафимы стало совсем плохо и Палладии. Она тряслась на кровати, плакала и просила спасти ее. Марья перепугалась и побежала в монастырь. Больше людей поблизости не было, и накатывала нехорошая тревога, жуть. На дворе табора ухало, и Марье показалось, что это долбят землю, чтобы ее, последнюю живую душу, свести во ад отсюда, с этой драгоценной земли.

Кто ответил по телефону? Как Палладию спасти? Марья, проходя мимо МТС, в темноте углядела кого-то, испугалась. Это тень, черная тень не то в плаще, не то просто в чем-то длинном... Марья решила постучаться в глухие ворота из профильного железа. Ей почти сразу открыл один из родственников Резо, окинул ее нехорошим взглядом.

— Там бабушке плохо. Нельзя ли мне через вас «скорую» вызвать? — спросила Марья. — У меня телефон глючит.

— Да... — сказал загорелый, будто копченый, родственник. — Можно... сейчас... — и ворота затворились с грохотом перед ее носом.

Когда копченый выглянул через несколько минут, Марья стояла, вся сжавшись, и дрожала от волнения.

— Сейчас к кладям подъедет из района. Сказали, в Хамозере на вызове. Там вроде опять кто-то помер.

Марья кивнула и ушла в дом, где Палладия синела на глазах и бредила. Марья дала ей пить, но та выплюнула воду.

— Столпом идет, искрами пыхает... В трубу идет, рассыпается...

Марье было невдомек, что старуха доживает последние минуты. Пока она бегала встречать фельдшера, Палладия отдала богу душу.

Теперь остаться здесь для Марьи стало делом принципа. Нужно было дозвониться до внука Палладии, а если не удастся, то самой заняться похоронами.

Первым прибежал на помощь Георгий, как только «скорая» уехала. Потом приехал участковый Николай Бушин: как и предсказывала старуха, на ее смерть он явился немедленно.

Марья смотрела на Георгия с подозрением, хотя в ее душе еще теплилась надежда на что-то хорошее. Его спокойный вид придавал ей уверенности.

Обычно безразличный, участковый, составляя акт, как будто нервничал.

— Что-то она быстро померла...

— Так болела давно, — сказал Георгий. — Мариониллы ведь нет... Кстати, вы ее ищете?

— В розыск объявили, да.

Бушин уткнулся в свой рабочий планшет и что-то писал.

— Понятых бы надо...

— Тут же не убийство, — сказала Марья с вызовом.

— Так положено. Пойдите, Георгий, позовите кого-нибудь. И дом надо бы опечатать.

— А я? — спросила Марья. — Можно я еще поживу?

— А вы что, им родственница?

— Нет... Но надо тогда родным позвонить.

Участковый бросил на Марию испепеляющий взгляд.

— Каким еще родным?

— Ну, у нее же внук в Архангельске! Или в Питере... У меня его телефон есть.

Бушин чуть напрягся.

— Что? Дайте мне, я позвоню...

— Зачем? Я сама.

Участковый медленно встал из-за стола, за которым еще так недавно любила чаевничать хозяйка дома и Серафима с Мариониллой.



Марья тоже встала. Только Георгий остался сидеть, наблюдая, что будет дальше.

— Ну, звоните. Только сейчас! — отрывисто сказал участковый и метнул взгляд на пекаря.

Тот опустил глаза.

Марья вышла во двор. «Все, — подумала она, — сейчас или кто-то из них себя откроет, или они меня тут сообщца прибьют!»

Ее руки тряслись, когда она набирала с телефона Мариониллы номер, названный в телефонной книге «Папа».

— Алло, — сказал на том конце усталый голос. — Кто это?

Марья выпалила:

— Это от бабушки Паллади, из Опашек.

— Что случилось?

— Она умерла.

— С кем я разговариваю?

— С чужим человеком. Срочно приезжайте! Мариониллы тоже нет...

Небольшая пауза.

— Кто вы?

— Неважно. Я пока буду при покойной. Марионилла пропала. Приезжайте скорее!

Марья договорила и положила телефон в карман куртки. Она повернулась войти и увидела на крылечке Георгия. Он смотрел на нее через очки в упор.

— Марья, тебе не надо тут одной ночевать, лучше езжай в Хамозеро. Я не смогу тебя охранять.

— От кого? — пожала плечами Марья.

— Он только завтра прибудет, даже если выедет сейчас. А ночью — как ты в одном доме с покойницей?

— Да уж как-нибудь.

Участковый тоже вышел на крыльцо.

— Может, лучше к нам? К Васе и Свете? — предложил он.

Марья уже готова была согласиться, но что-то заставило ее покачать головой.

— Нет...

— Как хотите.

Георгий расстегивал и застегивал пуговики на джинсовой жилетке. Бушин ушел обратно в дом.

Марье стало страшно и грустно. Ее донимали комары, но войти внутрь она теперь боялась.

— Откуда у тебя ее телефон? — спросил Георгий. — Что вообще делается?

— Это я от тебя хотела бы услышать, — сказала Марья.

Георгий затряс головой.

— Если бы я знал...

— Что-то я тебе не верю.

— Воля твоя. Не веришь — не верь.

Участковый вышел из дома, огляделся и, вытерев потное лицо платочком, попрощался с Георгием за руку, а с Марьей отмашкой.

— Салют. Ждите завтра, — сказал он и пошел широкими шагами по росе, в сторону реки.

Георгий спустился к Марье, выбрал из кармана горсть семечек и протянул ей.

Марья была страшно голодна, поэтому семечки взяла. Она сегодня не топила печку и не кипятила чайник.

— У меня голова болит.

— Тут у всех голова болит, — сказал Георгий, отмахивая от Марьи комаров. — Пойдем пройдемся. Тут недалеко есть один крепкий дом. Хозяева уехали, попросили меня присматривать. Давай-ка я тебе выдам ключи и ты пойдешь туда. Только обязательно запрись. Хорошо? Запрись и спи. Не бойся. И без меня никуда, ни ногой! Я за тобой приду.

Марья потупилась.

— Чего уже бояться? Если мне судьба остаться здесь, то я и останусь. Похоже, тут есть какая-то тайна.

— Может, и есть. Но под силу ли нам ее отгадать? — вздохнул Георгий.

15.

В запертом доме было влажно и прохладно. Жильцы, как видно, большую часть своих пожитков бросили. Сняли только иконы из красных кутов да забрали необходимое. Георгий завел Марью в комнату, зажег фонарик и показал на кровать, покрытую домашним лоскутным одеялом, высокую и величественную.

— Спи тут. Никуда не ходи. А я до утра вернусь в монастырь...

Голос его дрожал. Георгий вздохнул пахнувший плесенью и дустовым мылом избяной дух и отошел от Марьи.

— Вот видишь, как случается... Приходишь благодати и покоя искать, а находишь сладкий соблазн... Может, это лучший из всех соблазнов и есть.

Марья в полусвете фонаря пристально смотрела на Георгия. Сейчас она верила ему и боялась своей веры.

— Да ведь чуть ли не вся мирская жизнь — это грех, — сказала она.

От нервного напряжения ей было холодно. Ноги подкашивались. Она бросила свой рюкзачок на кровать.

— Мне, может, тоже есть от чего бежать в моих разъездах. Может, мы от себя бежим? А надо ли?

Георгий вздохнул еще горше.

— Одно знаю — что в обиду тебя дать не могу.

Марья улыбнулась. Георгий ушел, погасив фонарь.

Марья села у занавешенного окна и наблюдала, как он быстрым шагом удаляется по пустой улице и камешки шкворчат у него под ногами,

разбрызгиваясь в стороны. Она осталась в тишине и темноте, но страшно не было. И не такого навиделась.

Крюк от люльки в потолке, пустые глазницы киотов, убранные золотой фольгой... Что заставило людей отсюда уйти? Ведь веками жили. Ничего не пожалели. Сбыли хозяйство за бесценок и уехали в далекие места. И эти страшные годовые надписи на могилах...

Марья прикорнула на широком диване, обитом старинным красным бархатом, уже линялым и неприятно пахнущим мышами и сыростью обезлюдевшего дома. Кто жил здесь, любил, радовался, землю обихаживал?

Попить бы чаю...

«Что я сию?» — подумала Марья. — Я теряю время. Есть Георгий со своим хлебом, есть Марионила со своим чаем. Чай с хлебом, хлеб с чаем...»

А не Марионила ли бабушку отравила? Сейчас, поди, в городе, сбегала туда...

Марья заснула в раздумьях. Сон долго кружил ее чередой навязчивых образов, хитросплетенных и неразрывных. Наконец приснилось ей, как она и Георгий идут по дороге среди деревни, запряженные в маленькую тележку. Марья оглядывается — а тележка легкая, полная хлебами. И наверху сидит Иисус Христос, маленький, как в церкви, и весь в белом. Сидит и говорит: «Ешь плоть мою, кровь мою пей, и так насытишься благодати Господней, перед тем как закроют тебя пески Моисеевы...»

Марья открыла глаза. Через занавешенные окна раздавался треск ночных цикад. Взошла луна.

— Хорошо... Светло... — Марья вскочила, отряхнулась и, перебросив рюкзак через плечо, тихо вышла из дому.

Она предчувствовала опасность. С детства была чувствительной. Тихо идя по обочине дороги, чтобы не шаркать гравием, она быстро промочила ноги. Сейчас будет спуск к реке. Там на другой берег — и Хамозеро недалеко...

Тихонько перебравшись через реку, Марья обернулась.

Яркая вспышка с легким свистом взвилась в небо, прямо на краю Опашек. Да, это был он — змий, которого так боялась Палладия! Старуха лежит в закрытом доме, одна и мертвая. Марионила пропала. Серафима ушла смерти искать. А этот огнярый тут, ищет новых жертв! Марья кинулась в лопухи, за магазин. Мимо проехала Васина машина и остановилась на площадке.

Марья замерла. Мокрые ноги передали холод всему телу.

Из магазина вышла Света. Значит, ночевала тут. Странно...

— Что она? У бабки спит или где? — услышала Марья голос Васи.

— Да вроде там собиралась спать, на, — голос участкового Бушина.

— Слушай, просто подпалить дом, и все...

— Я тебе говорил, давай я ее по-тихому грохну.

— Конечно... Грохальщик...

Света закурила, чиркнув колесиком зажигалки. Как показалось Марье, она стояла на пороге.

— Короче, вы идите берите партию. Я пока ваш срач в багажнике уберу. И зайдете заодно к бабке в дом. Она по-любэ никуда не могла свалить отсюда. По-любэ... — Света плюнула.

— Да этот, придурок... Я ему сказал не пускать больше его хреновы петарды. Сегодня, говорю, проблемы у нас...

— Привык он, вот и пускает, Вась.

Марья вжалась в лопухи.

— Что, когда звонить-то будем? — поинтересовалась Света. — Все вроде подошли.

— Позвонили уж. Завтра Владимирович приедет, бабку закопает — и тогда пора нашу долю просить...

— А он не узнает, что это я ее?..

— Что, вскрытие будет, что ли? Они опиаты не найдут. Ты молодца! Но про карьер зря болтанула. Прибавила нам проблем.

— Я нечаянно. Этот мне подсунул какую-то новую хрень попробовать. Я съела — и как меня развезло на рабочем месте... Блин, и слоны на меня бежали, хоботами махали, и свет глаза выжигал. Я та-а-ак испугалась! А потом такой тормоз по всему телу... Короче, трипнуло клево! — созналась Света. — И тут эта подваливает. Я, видать, торчала еще. Взяла и ей про разрез ляпнула. Думала, она мимо ушей пропустит. С еговистами легче было. Как узнали, сразу всем кагалом снялись и уехали... А эта, видишь, рыскать осталась.

— Что вы тут раззвизделись? Пошли к кладям. Вон подходит, — сказал участковый.

Марья еле сдержалась, чтобы не высунуться из своего укрытия, так ей захотелось посмотреть, кто и куда подходит.

Впрочем, и услышанного было уже достаточно. Теперь понятно. Будет разработка. Сделают тут карьер, станут добывать полезные ископаемые. А людей легче переселить на кладбище каким-нибудь простым и действенным способом, чем каждому давать жилье в городе. Там ведь квартиры дорогие. Это земля для мертвых здесь ничего не стоит.

Марья дождалась, когда Света с Васей и участковый уйдут к реке. Наверное, пошли в дом Паллады. Сейчас поднимется такая буча, что мало не покажется...

Где же Георгий?

Марья услышала, как на дворе Паллады отчаянно и резко залаяла Чамба. Ей отозвались псы на дворе табора. Потом понесся далекий лай из Хамозера.

Чамба завизжала и смолкла.

Марье стало жутко. Сейчас глубокая ночь, спасения искать негде. Нужно получше спрятаться и подождать, что будет дальше.

Заприметив людей, идущих обратно, Марья отползла еще глубже в лопухи и забила под арку разваленного погребка. Раньше тут было какое-то зданье, его частично разобрали на кирпичи. Спрятавшись в заросших крапивой и лопухом руинах, Марья почти ничего не видела, но все слышала.



Света, Вася и участковый, а с ними кто-то еще шли к магазину, тревожно переговариваясь. Сначала Марье были слышны только обрывки их речи, но по мере приближения разговор делался все отчетливее.

— Я откуда знал?! — ругался участковый. — Утром придет Владимирович, он нам всем по ушам надает. И за бабу. И за шлюшку. И за то, что в таборе копать начали без его ведома... Ну, скажи, какого они там роют?! Чем думают? Как пронюхали вообще?

— Спроси у них. Мне-то что? Я свое дело делаю. Зверей бью.

— Так-то на тебя посмотришь — и не скажешь! — тихо засмеялась Света.

— Они для меня все звери. Мог бы — и этих бы вычистил...

Бушин пресек разговор Светы и нового участника, голос которого показался Марье знакомым.

— Что испек сегодня? — спросил Вася. — Так же по адресам развозить — или в закладки?

— Положи пару пряников на могилу почетного гражданина Сыромясова. Синего медведя и птичку розовую. Остальные, как и раньше, по секторам.

— Знал бы он, Сыромясов, чем его поминают...

— Думаешь, мертвые не знают? Они умнее нас, — был ответ.

Теперь Марья все поняла. Человек, одетый во все черное, пошел к калитке вместе с Васей. Там же пекарня... Там Георгий. Но этот — не Георгий! А голос знакомый...

Марья напрягла слух. Завели машину. Тихо скрипнул багажник. Запахло хлебом и ванилью: из магазина вынесли ящики. У Марьи подвело живот. «Мне бы сейчас кусочек...»

— А тут обычные? Булки, серый, белый и в пакетах, да? В город повезем? — спросил участковый Свету.

— А то! Сегодня можно и в город мотнуться. Что, вы эту не пойдете искать?

— Георгий сказал, что ездил ее на поезд провожать, — сказал незнакомец.

— А, хорошо... Хоть эта ушлась! — обрадовался участковый.

Марья напрягая зрение и слух, высунула голову из лопухов. Сердце било пульсом в ушах. Через некоторое время из калитки вышел Вася и с ним человек в черной рясе.

«Это Савва. Надо же! Как я раньше не поняла? И он же из ракетницы стрелял. И за забором тогда, возле дома Паллады, тоже он разговаривал. Со Светой. Света с ним была, а не Марионилла. Света давала Марионилле что-то для бабки...»

Марья ужаснулась. Теперь ей срочно нужно идти следом. В Хамозеро, на кладбище. И искать могилу Сыромясова с «помином».

Савва, перекрестив машину, замурлыкал какую-то песенку и пошел вразвалку в свою монастырскую калитку. Лязгнул запор.

Как только все стихло, первые предутренние птицы начали робко свистать из берегового ракитника. Над рекой клубами шевелился туман.

Марья на четвереньках выползла из кустов. Держась тенистых укрытий, не выходя на дорогу, она кубарем скатилась к реке и двинулась к Хамозеру.

16.

На могиле почетного гражданина Сыромясова лежали два пряника. Можно было сколько угодно искать и не доискаться, думать и не додуматься. Сейчас, ночью, их никто брать не будет. За ними придут с утра пораньше. Марья перекрестилась, разорвала довольно жесткую прозрачную обертку и разломила пряничного медведя.

Внутри что-то тихонько хрустнуло, смялось. Марья расколупала мякиш и достала маленькую прозрачную упаковку. В сумерках было видно, что внутри пересыпается что-то похожее на порошок.

Марья быстро сунула находку в карман и разломила второй пряник. Там был такой же пакетик, а в нем таблетка в виде сердечка.

— Ага, господа наркоторговцы! Так вот как вы тут народ изводите... — сказала Марья.

Однако с собою она взять ничего не могла. Мало ли что. Марья перебралась через несколько оградок и сунула пакетики в вазон на забытой могиле с алюминиевым заборчиком.

«С меня, пожалуй, хватит, — подумала Марья. — Теперь нужно найти Георгия».

Наутро у ворот дома покойной Палладии стояло две машины.

Приехал ее внук из совета директоров алмазодобывающей компании «Бутона» и его охрана. Охрана скаталась в Хамозеро и привезла бабок-плачей: Капитолину с дочерьми и еще двух старух.

Бабка Палладия не была «старой веры», как Серафима. Только повторяла крестное знамение за старухой, чтобы та не обижалась. Отпевать Палладию полагалось как всех остальных — тут же, в Свято-Успенской церкви.

Сергей Владимирович, тучный, обрюзгший мужчина лет пятидесяти, с сиплым голосом хрюка и с таким же широким лицом, как у бабки, недоуменно смотрел на обстановку: на вышитые полотенца, на кровати с затейливыми подзорами, на домотканые половички, на которых стояли его отекие ноги в мокалинах от Армани, поправлял костюм от Бриони, и пот капал на очки от Валентино. Ничего русского на нем не было, даже трусы и те из тончайшего итальянского шелка, чтобы зад не потел.

Когда-то, пару лет назад, Сергей Владимирович клятвенно пообещал, что никто из «Бутона» не узнает о результатах геологической разведки данной местности, пока жива его любимая бабушка и в Опашке остаются люди. Тут родился его отец, на соседней улице родилась его мать. В Хамозере похоронена старшая сестра и племянник Мишка. Марионила, племянница-сирота, росла в интернате из-за немоты. Сергей Владимирович поначалу часто ее навещал, но потом заметил, что она уж как-то чересчур к нему привязалась. Прямо как к отцу родному. Дочка, да еще немая, в планы Сергея Владимировича не входила, поэтому он по-



степенно свел общение к минимуму. Опять сблизиться пришлось, когда Палладию понадобился присмотр. Уезжать в город из родных мест бабка наотрез отказалась.

На литургиях из алтаря выносят антикварный напрестольный крест — подарок Сергея Владимировича. Облитые золотом дикирий и трикирий для архиерейских служб — от него. Подарил и киворий — балдахин для алтаря, из старинного лилового бархата, вышитый в Сергиевой лавре. Семь миллионов отдал!

Словом, он довольно заплатил за то, чтобы не быть ни русским, ни местным, ни черти кем. Он теперь просто человек. «Достаточно состоятельный», по его словам. Нет, ему не стыдно быть получужим-полусвоим. Сергей Владимирович точно знал, что замолит свои грехи и Господь ему все простит. Он всем прощает.

Сейчас Сергей Владимирович стоял, жался к широком гробу, убранному самым дорогим — белым с серебряными лилиями — атласом.

Не смотрел он ни на бабу, с хитроватым лицом лежащую в гробу, будто в новенькой коробочке, ни на старух, согнутых годами в причудливые горбыли, ни на переминающегося в стороне нервного участкового, ни на продавщицу, по-хамски лужгающую семечки «Черное золото». Только думал, куда упорол Серафима и что будет, когда она вернется, а тут такие дела — дом закрыт...

Сергей Владимирович усовестился и хотел забрать хоть собачку, уж больно та по бабке скулила. Но Чамба, поняв, что ее сейчас поволокут в машину и повезут со двора, завизжала, покусала охранников и осталась на цепи.

«Эхма! — подумал Сергей Владимирович, покрывшись потом скрытого гнева. — Даже и собачка тут огрызается на меня, чертова кукла...»

Как закопали Палладию, он в последний раз зашел в дом, снял из красного кута набожник*, вытряс его от пыли, страшно при этом чихая и пыхтя, свернул и сунул охраннику.

— Памятка будет... от наших... — тут слезы сами собой подступили к его маленьким, заплывшим жиром глазкам. — Что там билеты? — спросил у охранника.

— Заказал. Вас встретят. Бунгало и все такое... Шугаринг, СПА... Только вы сказали для девушки тоже заказать, а она вне зоны действия сети.

— Ну, раз эта вне зоны, звони Алке...

— Которая перед Мариной была?

— Да! Ей звони. Пусть она со мной летит. Нормальная, хоть не звездит, как другие...

— А этой, новой — не звонить? А если сама позвонит?

— Забей. Эта уже не актуальна.

На пороге храма топтался Савва. Он дождался, когда Сергей Владимирович останется один, и робко подошел.

* Набожник — специальный рушник, полотенце для украшения икон в красном углу.

— Тебе что? — обернувшись на него, с легким испугом спросил Сергей Владимирович.

— Марионилла-то ваша утопла...

— Как? Когда? Откуда знаешь?

Сергей Владимирович начал постепенно бледнеть через красноту и стал нормального, розового цвета.

— Убил кто? — спрашивал он.

— Нет! Несчастный случай, наверное.

— Ну, пусть лежит спокойно. Земля ей будет... как это говорят... пухом! А я и смотрю, что ее нет. Жалко, жалко... Ее теперь нужно как новопреставленную поминать. Но как же она утонула-то? Расследовать бы надо! — Сергей Владимирович заговорил быстро, словно пытаясь за скороговоркой скрыть свои слишком личные чувства.

— Я хотел...

— Чего ты хотел? Надо было сразу в милицию звонить! Теперь-то уж и концов не найдешь... — Сергей Владимирович взвизгнул. — Хотел! Да, она была немая, сирота, но человек же! Хоть и вредный...

— Ну, я потом хотел... — смешался Савва и покраснел.

— Потом, потом... Ладно, что уж теперь. Ты мне на имейл напиши, что тебе еще надо от меня. Только не на рабочий! На личный — и так, как ты умеешь: со вторым дном, что ли... Я и отвечу.

— А вы его вообще читаете, имейл ваш? Я писал уже.

Сергей Владимирович глянул исподлобья.

— Слышь, хриstopопик... Вали-ка ты отсюда! Ты уже меня за пять минут достал, так достал! А ну, иди звони! Раззванивай...

Савва поднял голову, закусил губу и, резко развернувшись на мягких ногах, ушел.

— Ишь паразит! — выругался Сергей Владимирович. — Прости Господи... Твою душу мать!

Георгий наблюдал за похоронами с верхнего яруса колокольни. И злой Савва, и взвинченный Сергей Владимирович, ругающийся на охрану, и игумен, с улыбкой в пол-лица принявший из рук богатого гостя небольшой пакет, — все было видно Георгию.

Сергей Владимирович похоронил бабу Палладию со слезами и помпой. А на другой день приехали маркшейдеры и геодезисты делать инженерные изыскания и разбираться с Резо и его родственниками, что за разработки и с чьего разрешения ведутся в таборе.

Погрозил штрафами. Резо с родней, хоть и взяли землю в аренду у монастыря на сорок девять лет, с серьезными людьми спорить не стали. Уехали на свой «хутор» на тот берег Пини.

К тому времени Марья уже была в Черноголовке. Приходила в себя и ждала окончания отпуска, чтобы снова начать свои «трипы на собаке», как она выражалась, в Москву и обратно.

Ну вот и все... Георгий поднимался на колокольню, где Савва вы-
званивал завершение ранней обедни. Там же притулился на маленькой
скамеечке иеромонах Илларион. Смотрел, как рабочие из Хамозера за-
бивают крестами окна в доме Палладыи.

Несколько дней назад, наутро после смерти старухи, Георгий пришел
за Марьей в запертый дом. Нашел ее в слезах от потрясения. Марья дол-
го не могла успокоиться. Когда она рассказала все, что слышала ночью,
и про свой поход на Хамозерское кладбище, Георгий сразу же понял, где
Савва иногда пропадает по ночам. Только в мастерской, больше нигде.

Следующим вечером, по темноте, Георгий отвез Марью на поезд.
Никто ничего не заподозрил, потому что Илларион расхворался и попро-
сил пекаря съездить в аптеку за лекарствами. Георгий и Марья через лес
ушли в райцентр. Там дождались пригородного поезда.

Прощались очень быстро. Марья больше не надеялась увидеть Ге-
оргия. Георгий скрепя сердце молчал, чтоб не наговорить лишнего.

— Спросишь Марью Андреевну Чулымову, — сказала Ма-
рья коротко. — Если приедешь искать меня в институт. А если нет...
то я не обижусь.

И на глаза ее навернулись мелкие слезы.

Георгий тоже сентиментально сморкнулся, вытер очки и еще долго
смотрел вслед поезду, сунув руки в карманы.

Спустя несколько часов он аккуратно вскрыл замок в бывшей ре-
монтной мастерской. Вот где удивился! Там его ванилин для пирогов и ку-
личей, там его глазурь и красители... И все в дивной чистоте. Да, был бы
Савва неряха, не стал бы он помощником в пекарне.

— Ах ты... змеище! — сквозь зубы сказал Георгий. — Погоди же!

Посветив верным фонариком на маленькие пакетики с порошком,
сложенные в коробочки из-под чипсов «Прингс», он взял сверху не-
сколько штук и сунул во внутренний карман куртки.

— Ах ты, помощник... Я бы сказал, пособник!..

Георгий вернулся в монастырь, пошел в свою келейку, разделся и лег
на кровать. Спать оставалось полчаса, поэтому пришлось завести будиль-
ник.

Хлеб в этот день он не пек: у него выходной. И вчера тоже. Значит,
вчера Савва и приготовил партию. Для этого время надо, процесс не бы-
стрый...

Георгий сомкнул глаза и провалился в сон.

Через полчаса он уже был на ногах. Оделся, причесался, умылся
из кувшина над тазиком и решил пока не бриться.

Он услышал торопливый, как будто нервный звон и понял, что Сав-
ва на колокольне.

— Ишь как бойко он теперь звонит! А пару дней назад как плакал
на отпевании Палладыи! Слезки ронял.





Иеромонах Илларион часто поднимался на колокольню. Он еще мог это сделать. Медленно топал по ступеням, вытертым до блеска, немного скользким, с щербинками древними, помнящим ноги прежних звонарей. Тут, сидя под колоколами, Илларион мог спокойно впадать в свою старческую оцепенелую задумчивость, из которой ему порой не хотелось выходить. В ясные дни с колокольни можно было увидеть и море, лежащее вдали прочерком синевы, и город...

Савва, действительно, был на нервах. Он колошматил в колокола и колокольцы, бухал и тренькал.

— Чего ты так заполошно вызваниваешь? Эх, чего так криво... Не получается у тебя с умом, с усердием, — досадливо выговаривал ему Илларион.

Савва поглядывал на иеромонаха и кусал губы, натягивая и отпуская бечевки, веревочки и шнуры. К каждой из групп колоколов были привязаны своего вида приводы.

Георгий поднялся и молча встал у выхода, сунув руки в карманы. Он сверлил Савву взглядом, пока тот не оборотился и не побледнел, увидав его.

— Брат Георгий, ты что здесь? — спросил иеромонах, заметивший Георгия, как только тот вошел на колокольню.

— Змия пришел побеждать, — ответил Георгий и блеснул здоровым глазом через стеклышко очков.

Савва бросил колокола и шагнул было к проему на галерейке. Да вот беда — выход только один!

— Что заметался? — спросил Георгий ледяным тоном. — Страшно стало?

В сравнении с Саввой Георгий был раза в два шире в плечах и крепче, как ни погляди.

— А что? Кто у нас змий-то? Энтот пономарь? — не понял иеромонах.

— Энтот пономарь потравил всех людей в округе. Сидит себе в мастерской и таблетки делает. А потом кладет их в мой хлеб, прикидывай, дедушка! В мой хлеб! И хлебом убивает.

Савва стал белее стены, прижался к галерейке.

— И что? Они и так сдохнут, — сказал он еле слышно, отыскивая руками опору.

— Ага. А ты, значит, помощник по их препровождению в царство небесное? — недобро прищурился Георгий.

Иеромонах чуть улыбался. По его изборожденному морщинами лицу пошли слезы от ворвавшегося на колокольню ветра. Казалось, он и не слышал разговора, что звучал совсем рядом.

— Они сами себя убивают. Только медленно. А я вреда не делаю. Это польза, польза! И как помирают хорошо — без боли и мучений. Раз — и нету...

— Да вы что думаете с твоим Сергеем Владимировичем: что так просто вывернетесь, да? Ты поговори мне еще, договоришься! Хватит уже слушать тебя!



Георгий сделал шаг к Савве. Тот, пытаясь обойти его по галерейке, жался к стенке. Георгий вдруг подступил, схватил Савву за грудки и легко выкинул его на свободу. Тот только сдавленно вскрикнул — и пропал вниз.

Иеромонах проморгался и повертел головой, оглядываясь.

— А Савва где?

— Ушел.

— Надо же, как шустро. И здесь торопится как на пожар. А ты...

— А я, батюшка, великий грешник.

— Ну... епитимью на тебя накладываю. Четыреста земных, Ефрема Сирина читай да покаянный канон, и отпустится тебе твой грех.

— Ох... Кто это с колокольни улетел? Никак брат Савва-пономарь? — сказал отец эконома настоятелю отцу Ионе, глядя в окошечко.

— Что? Сорвался?! А? — настоятель подбежал и выглянул наружу.

— Да вроде как.

— Пойди братию позови! Уже, наверное, мертвый...

— Верно. Лежит вон на дворе.

— Как же это он? Уж не выпихнул ли кто?

Эконом задрал голову и посмотрел на верхнюю площадку колокольни. Поправил кустистую бородку.

— Да там вроде, кроме отца Иллариона, больше и нет никого. Сам, сам упал...

18.

В Москве бывает хорошо летом, когда солнце не плавит асфальт, а трогает его утренними лучами, играет с подвижной тенью дворовых деревьев, напластывая одну тень на другую, нежно заискивает, в парках просвечивая насквозь кроны вековых лип или дубов, зеленую шерстку лиственниц, широкие ладони кленов... И всюду летает июньский пух.

В обеденный перерыв Павел Валерьевич Смирецкий, полковник и начальник особого отдела на Петровке, любил сбегать в сад Эрмитаж и выпить там хорошего кофе, за которым в Москве гоняться почти бесполезно. Его нигде не варят. А тут, в маленьком кафе, варили по-турецки, в песке, и выносили на улицу.

— Ты как заправский ханцуз. Кофий с круассаном... — сказал Павлу Валерьевичу Георгий, кладя локти на столик.

Он щурился, поглядывая на Марию, которая загребала носком бононожки пух на дорожке и, топая в нем, устраивала облака. Издалека она была похожа на девочку-подростка, когда стояла спиной, а не поворачивалась к нему круглым животом, спрятанным в длинном льняном платье.

— А вы кого ждете? — спросил Павел Валерьевич, прихлебнув кофе из миниатюрной чашечки.

— А мы двойню ждем. Решили, что уж постараемся раз и навсегда.

— Это хорошо, — вздохнул Павел Валерьевич. — Мы с моей Ленкой уже сколько лет стараемся... Достало все. Надо делать ЭКО.

- Уже бы сделали.
- Она говорит, не хочу толстеть... Как ее убедишь?
- Свози ее к Иллариону. Пусть он с ней поговорит. Она ведь крещеная?
- Ну да... Это мысль! — кивнул Павел Валерьевич.
- Есть новости о нашем деле?
- Есть кое-что. Запела наконец наша подозреваемая.
- Светка?
- Да. Поняла, что все равно не выкрутится. Столько всего вывалила, мы и не ожидали.
- Что, и «Бутон» теперь за потроха возьмете? И Сергея Владимировича?
- Ну, тут Следственный комитет пусть подключается и копает. А Светлане пятнашка светит паровозом. Это она Мариониллу убила. Георгий оторвал взгляд от Марьи.
- Убила? Она?! Я не мог даже подумать...
- Ревновала к ней Савву. Роман у нее с ним был, при живом-то муже. Ну как обычно... Для России это в порядке вещей. У нас обязательно найдется какая-нибудь баба, первопричина всей свалки. Что называется, шерше ля фам...

Света оказалась далеко не душой и знала на удивление много. Что-то — из разговоров с участковым Бушиным и Саввой, а до чего-то и своим умом дошла. По словам Смирецкого, из того, что она рассказала на допросах, вырисовывалась вот такая картина.

Главная проблема Саввы, самая страшная и раздражающая, заключалась в том, что он больше любил деньги, чем Бога, и, собственно, пошел в церковь, чтобы получить богатство и славу самым, как ему казалось, простым путем. В голове у него была только карьера, а она почему-то застопорилась. Он уже и семинарию окончил, а ходу ему всё не давали. Еще и насмеялись, что так и помрет пономарем да алтарником.

До семинарии Савва серьезно увлекался химией, даже учился в техникуме. В домашней лаборатории ухитрился изготовить особый термостойкий пластик, но не смог свое изобретение запатентовать. Оказалось, не нужно никому.

В общем, кругом ему не везло, хоть о стену головой бейся.

Тут и появился Сергей Владимирович.

— Знаешь, — сказал он, зайдя в монастырь и случайно разговорившись с Саввой в один из приездов на родину, — а ты изобрети способ народ отсюда вытурить скоренько и безболезненно, года за два! Чтобы, так сказать, площадь очистить. Не хочу я возиться с этими местными, муниципалами... Пусть уедут к едреням все, а? Только бабку мою пока не трогайте. Сколько проживет...

Потом Сергей Владимирович выкупил МТС, где ржавели остовы тракторов и комбайнов и сдал грузинам. А в бывшей ремонтной мастерской за табором, одноэтажной, неприметной, распорядился оборудовать лабораторию и присылал Савве какие-то порошочки и мензурки с кол-

бочками. Думал, тот пугалки всякие изготавливает, чтобы местные поскорее снялись с насиженных мест. Теперь клянется, что про наркотики ни сном ни духом. Вроде бы Савва и клан Бушиных сами здесь наркобизнес организовали.

Где-то через полгода в монастыре появился Георгий и со своими пекарскими навыками очень Савве пригодился. Савва, наготовив в лаборатории разного синтетического барахла, бежал в пекарню помогать с хлебом. Георгий возился с опарой, с тестом, с рецептами, оставлял тесто на расстойку и шел отдыхать. А Савва один сажал хлеб в печку, лепил пряники. Туда же, в пряники, свою начинку закладывал. И когда была готова новая партия, запускал петарду или стрелял из ракетницы. Приезжал участковый со своими и забирал «товар» через магазин.

В магазине сидела Света. Она иногда баловалась наркотой, но конкретно не присаживалась. Зато на Савву глаз положила. Жизнь в тех местах на события небогатая, а ей хотелось романтики. Савва же заодно над ней эксперименты ставил: разную дурь ей на пробу подбрасывал.

И все бы ничего, если бы не Марионила.

Марионила, немая дочка покойной сестры Сергея Владимировича, до восемнадцати лет жила в специнтернате, а потом ее привезли в Опашку, чтобы ухаживала за Палладией. И ведь если бы уродкой была, а то выросла красавицей! Окончив школу для немых, войдя в возраст и приехав сюда, девица ошалело заметалась в поисках счастья. Поначалу перемигивалась с туристами, а потом присмотрела Савву.

Савва, участковый Бушин и Вася со Светой начали возить пряники и хлеб на автолавке. По всему району ездили. В пряниках были заложены тонкие пластиковые конвертики, а в них — все, что закажут. И метадон, и героин, и мескалин, и таблетки.

Марионила однако, заполучив для Палладии чудесное «лекарство» от головной боли, которое Савва ей принес бесплатно, решила, что хватит киснуть на морошке. Пора уже и в город. Стала она бабку подтравливать. Савве Палладия тоже порядком надоела, он мечтал поскорее получить обещанные Сергеем Владимировичем деньги и податься уже с ними куда-нибудь, все равно церковная карьера не задалась. А пока развлекался, как мог. Раз устроил огонь и визг из ракетницы, другой, третий... Тут бабка и начала мозгами съезжать, змия видеть. А потом и Серафима вслед за ней в истерику ударилась.

Когда Георгий скопил мак, Савва тайком от всех половину соломы перетаскал в свою лабораторию. Не пропадать же добру! Солома пошла в дело. Марионила ею бабку и довела до ручки. Может, ненароком перестаралась, а может, и намеренно...

А незадолго до этого стала она на Савву давить, претензии предъявлять. Видно, он ей успел чего-то наобещать, да выполнять не торопился. Эсэмэски строчила, что, мол, расскажет Сергею Владимировичу, которого почему-то «папой» звала, про Саввины нечеловеколюбивые методы. Савва растерялся — и посоветовался, посплетничал со Светой. Ну а у той к немтырьке еще и свои счета накопились, женские.

Был вечер, шел дождь. Марионилла встретила, вроде бы случайно, со Светой на кладях. На скользких, на скрипучих... Что там было того мостика. Да еще попало ей скалкой по голове. Света бить умела, в юности ходила с одноклассниками драться село на село. Удар быстрый был, целый. Кровь в воде чернилами распустилась. И никто не видел того...

Речка Пиня неглубокая, но омутистая и быстрая. Унесло Мариониллу.

— А куда иеговисты делись? — спросил Георгий Павла Валерьевича.

Тот вздохнул, удрученно посмотрел на пустую чашечку кофе.

— Ты смотри... Стоит дорого, а наливают с гулькин нос! — и продолжил: — Это Савва пришел к иеговистам в Опашку и стал притворно горевать, что придет-де сюда разработка, серьезные люди, и всю деревню прахом распустят. Те все поняли и упорствовать не стали. Погрузили в свои хорошие импортные машины семьи, скарб и книжки да уехали. Может, даже в Европу.

Подошла Марья. Она заметно подхрамывала, ей было тяжело.

— А мне нельзя кофе, — сказала она, втаскивая живот за стол. — А хочется очень...

— погоди, родишь, откормишь. Тогда все будешь пить, — улыбнулся Павел Валерьевич.

— Все не надо. Чай, кофе, какао, — ответил за нее Георгий.

Дохнуло теплым ветром. С тополей полетели пуховые облачка.

«Нет ничего уютнее сорокалетней женщины. И кротость в ней, и ум, и разумение, и теплота, и сила. Все в ней соразмерно, толково, грамотно. Все умеренно, истинно, ясно выражено, чудно выправлено. Хороша она вся, когда ест, когда спит, когда встает поутру непричесанная, зевая, когда обувает тапки, когда собирается на работу, когда гречку на завтрак варит. Хороша она всегда: когда заботится, когда горюет, когда радуется...»

— Георгий! О чем задумался? — спросила Марья.

— Я? Вот вспомнил Первое послание к Коринфянам апостола Павла...

— Это где про любовь?

— Про нее, родимую. Ехать бы так всю жизнь!..

Марья и Георгий возвращались домой на электричке, и ее голова лежала на его плече. Они весело болтали. Потом перебирали друг у друга пальцы, потом стали играть в города. И тут Георгий, поцеловав Марью в макушку, замолк.

Завтра понедельник... Надо ехать ей — на работу, ему — в Следственный комитет. Все только начиналось... Предстояли долгие дни, долгие расследования.

Одно только счастье было: змий больше не летал.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

НОЧНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

в храме

барабана небесная плоскость,
где застыл в вечереющей славе немой Пантократор
над барыгой и нищим, прости им юродство, прости им неловкость,
посрамленную твердь и сбесившийся чокнутый атом.
вот те крест! — подошли под причастье, сойдясь, демократ с патриотом,
я ж на паперти поперанной церкви молюсь об инаком.

а свеча оплывает, сияя синайской слезою
у меня на щеке, и сизарь благодати присел на скрижаль Моисея.
тишина. полумрак. так случается перед грозою.
и в малиновых тучах сокрыта пустыня-Расея.
пахнет хрусткой антоновкой Яблочный Спас, только пред аналоем
промелькнула свинцовая молния, и, сатанея,

хлынул ливень, смывая
золотистую пыль с изумрудной шинели солдатской
на дорогах Синая,
там, где мытарь с блудницей обнялись по-сестрински-братски,
и летит всеблагая
над колючею проволокой из крестов арестантских
белостенных церквей вдохновенная весть о Свободе и Мае.
дождь идет и идет, и дойти до вершин Араратских
можно, тонко затеплив свечу, словно рыбку, в сетях этих ливней рыбацких,
или Бога увидеть по-новому, не умирая

* * *

нам в жизни незаметно открывались
 соленый хлеб да сладкая беда,
 пускай мы в мире навсегда расстались —
 мы в небе не простимся никогда,
 и для меня с тобой приносит аист
 ребенка, да,

жена моя, ребенок сумасшедший,
 в твоих руках наследник мой лежал,
 как мало я вас в сердце обожал!
 да, на слова и знаки изошедший,
 я проклинаю свой бездарный век —
 уже не человек,

когда в меня вобьют тоску по горло,
 по горло съят рифмованной бедой,
 я попрощаюсь навсегда с тобой,
 но попрошу у Бога непритворно,

чтоб мы сошлись, избрав пути иные,
 как в небе параллельные прямые —
 здесь у меня рифмовки нет другой...

весенняя элегия

закат, как ларионовский лучизм,
 как чай спитой, грачами полон воздух,
 притушен звук, но музыка звучит,
 и соула сопливые лучи
 проходят рошу, снятую на кодак.

опять один средь выводка собак
 иду предместьем. в яму врос бульдозер,
 и, как за чередой случайных драк,
 я весь потух. но всякий буерак
 березками больными кургуазен.

такая красота перелилась
 сквозь тютчевскую крынку горизонта —
 в распадке этом хочется упасть,
 упадок этот хочется проклясть,
 а за ветлюю — воды ахеронта

и ближе, и понятней, чем москва,
 но так тепло на grimпенских болотах,
 что от тоски (что, словно тень, близка)
 и радостно, и сладко отчего-то

«смерд»

не в творчестве (с писательской оглядкой
 на критику/цензуру бумазейную) —
 он пропадает над капустной грядкою,
 и под ногтями грязь редкоземельная.
 Не супротивник Бога и не ябеда
 на херувимов Кальвина и Лютера,
 он — как последний могиқан Ф. Купера,
 и томагавк его зарыт под яблоней
 (так лучше в осень вызревают яблоки),
 так легче жить в судьбу и зиму лютую...
 а что еще крестьянину христианину и надобно,
 чтоб пересилить бездну пресловутую?..

в больнице

под вечер пуста процедура
 как вымя коровье
 уехали в звонких мензурках
 анализы крови
 молочная маркая марля
 колючие шприцы
 и нету на улице марта
 но стены больницы
 в шкафу оловянном/стеклянном
 пробирок стеклярус
 плывем в тридевятые страны
 нам ширма что парус
 пробитого этого (с течью)
 кривого баркаса
 где шепчет тоска человечья
 с безумием Тасса:
 — за Керчью, за смертью, за речью —
 Таласса, Таласса!

 вот лампочка в сестринской в вечность
 зажглась и погасла...

* * *

— Это какая улица? — Это? В. Б. Кривулина.
 — Кто он, В. Б. Кривулин? — Очень большой поэт.
 — Что ж так по карте вьется чертова загогулина?
 — Я бы всерьез ответил, правда, ответов нет.
 Может, поэт свободный так уходил от власти,
 жарко дыша на стекла зимнего витража.
 Может быть, так уходит и от пророка счастье,
 словно э/к(,) бежавший(,) из-под карандаша.
 Может, шальная музыка в руки нам не дается
 так, как большая птица, что и сама — ловец.
 Может быть, так шатает тело канатоходца
 страх, не доступный глазу, сглазу людских сердец.
 Может, из-под скребущего грифеля карандашного,
 пишущий знает истинно: ныне и навсегда,
 в прошлом, в сегодня, в будущем будет уже для каждого
 улица, площадь, улица, город, болид, звезда.
 Может, и мне, отверженцу ряда сего калашного.
 Каждому, то-то ведь, каждому сторицей Он воздаст.

* * *

там, где греки танцуют сиртаки,
 обожают и холят детей,
 даже в сварах и уличной драке
 хоть чуть-чуть, но теплей.
 треплет нить, как загривок, ананке
 среди масличных ветвей.
 гей, эгейское море, довольно
 мусикийским дразнить сквознячком,
 оторочено пеной прибойной
 в раме перистой тучки, мне больно
 видеть небо — ничком
 в ковьях или кашках, в болотах
 в ледниковых фавелах твоих,
 гус! но нет для руси окорота,
 и тяжелые гуси в полете
 провожают любимых своих.
 дозвонюсь, олимпийка-эллада,
 до тебя из сибирской зимы,
 а другого подарка не надо!
 нам и хмарь — неземная отрада.
 очень гордые мы!
 здесь выходит егорий на гада,
 здесь вальхалла снегов — не преграда
 для енежков смешков детворы

Отращивали лохмы, брились налысо,
 искали смыслы, уезжали в Питер
 бессмысленно, безрадостно, безадресно...
 И жили жизнь, и становились — фрики.

Повыросли из гоголевской ветоши,
 обозначая сильными словами
 избыток грусти накануне вечности.
 В шинелишке с пустыми рукавами
 прошли парадом вдоль пустого Невского
 до точки бифуркации — до Лавры.
 Почили. А хотели счастья детского
 этрусски, готы, гунны, саксы, мавры.

Художники-острожники-писатели
 (как велики — так падки до магарыча)...
 А нынча все то же, что и давеча:
 о доблестях, о почестях, о славе —
 прогульщики уроков каллиграфии,
 помарочка Акакия Акакиевича.

ночные радиостанции

Похоронный оркестрик рок-группы «Сплин»
 рвет гитары на невском дне.
 Мы на кухне сидим, и, как бел керосин,
 ночь бледна в петербургском окне.
 Петроградскую сторону злая река
 раз за разом уносит в залив.
 Что Маркизова лужа, жизнь вышла — мелка,
 как мелком силуэт очертив,
 за который — ни шагу. И если шаги
 донесутся сквозь лестничный марш,
 ты поймешь, что ко мне заглянули враги,
 в зеркалах углядишь раскардаш
 развороченных комнат... Так что ж — приходи?
 проходи за стеной — стороной,
 мне ребенка роди, чтоб глазами следил:
 — тех, кто ходит ночами за мной;
 — тех, кто ржет за фанерной стеной;
 — тех троих — ленинградский конвой...

Здесь бутылка открыта, здесь стынет гарнир,
 здесь стучится волна в допотопный гранит...
 ветер спорит с FM-волной

(трески, шумы):

И лампа не горит...



* * *

я пропащий, пропащий, пропащий,
пожалей же, поплачь обо мне.
я как есть, словно пить, настоящий
и на сизом сгораю огне.

ничего от тебя мне не надо,
кроме кроткой последней слезы
у решетки, у Летнего сада
в ожиданьи грозы.

может, эта слеза не потушит
разворачивающийся огонь,
но, упав на ладонь,
успокоит и сделает лучше.

так что плачь, безутешная тая,
хоть не тонет резиновый мяч,
я еще и живу, и горяч,
и по-своему странно

не узнать сверхзадач —
уплывает кораблик бумажный
вдоль покинутых дач,
мир всамделишен, жаден, незряч
и по-новому страшен



Елена ЛОБАНОВА

ЖЕНЩИНА В ПЛАТЬЕ «КОКТЕЙЛЬ»

Р а с с к а з

В этот день Вероника Захаровна изучила себя всесторонне.

В зеркалах примерочной попеременно отразились: корпулентная особа в полосатом сине-белом, похожая на ветераншу морского флота; пожилая дама в черном, с мятым лицом — ни дать ни взять с похорон; растрепанная тетка в красном, с неприличным декольте — карикатура в стиле вамп; наконец, молодящаяся толстуха с претензией, сиреневая юбочка над увесистыми коленями.

Однако в чем-то же надо было явиться на юбилей библиотеки! В которую целую четверть века водила учеников. Где одних только конкурсов чтцов проведено не счесть сколько! А книжных выставок? А викторин? Пора, пора и совесть иметь. Тем более уже пропустила и встречу с московским поэтом, и постановку к юбилею Чехова — постановку, между прочим, силами читателей, которых в наше время по пальцам пересчитать! Так что придется не просто отметить, а выступить, найти сердечные слова, выразить благодарность от имени школы...

Дело осложнялось тем, что ожидалось телевидение.

Не то чтобы Веронике Захаровне было не в чем показаться на люди. Но классическая юбка с блузкой тут, пожалуй, не подходили. И к тому же по прогнозу ожидалось потепление. Да и муж как-то подозрительно задушевно предложил: «Уже купи себе что-нибудь приличное!» От этого «уже» она даже оробела и задумалась: не посоветоваться ли с дочками? Но не стала. Мало ли что молодежь насоветует...

Вообще, все эти мероприятия она терпеть не могла. За суету. Это же вырвать из жизни как минимум два часа: намучиться с феном, надышаться лаком для волос, нечаянно смазать непросохший лак на ногтях, перекрасить ногти, подщипать брови, вспотеть, еще раз принять душ, намочить концы волос, опять высушить феном, забрызгать лаком выбившиеся пряди, ровным слоем нанести тональник, и на шею тоже, потом тени на внешний угол век потемнее, на внутренний посветлее, а под бровями совсем белые — с ума сойти! Хорошо хоть, с тушью она покончила, как ни стыдили дочки: хватит с нее этих вампирских подтеков. И с помадой не заморачивалась — красилась на ощупь со снайперской точностью.



А вот купить новое платье — это дело другое. Это любая женщина — всегда пожалуйста. Тем более — постоите-ка! — ну точно, впервые лет за пять!

Так рассуждала Вероника Захаровна по дороге в «Моду плюс».

Однако не прошло и получаса, как примерка уже казалась ей пыткой.

В этот раз вещи вздумали глумиться над ней! Поманив издали благородным пурпуром или небесной голубиной, сверкнув золотой пряжкой, умилив дорожкой крохотных пуговиц, вблизи они внезапно уменьшались и, соприкоснувшись с телом, коварно набрасывались со всех сторон, норовя удушить ее! А те, которые все-таки позволяли дышать, оседали на фигуре бесформенными тряпками.

Между тем женщины вокруг обнаруживали чудеса выносливости. Некоторые заходили в кабинки с целым ворохом одежд. И не по разу!

Ругались за тряпичной перегородкой:

— Сказала же — пятьдесят второй! Нет, даже не буду примерять! Ищи два икс эль... Ну ты видишь — не мой цвет! Забирай... Ну и вот, любимая невестка заявляет: мне на фитнес надо каждый день ходить, чтоб скорей в форму вернуться. Нет, ты поняла?! А я, значит, сиди с дитем! Мне, типа, ни на фитнес не надо, ни в парикмахерскую! Да, вот эта вроде ничего... А сынок, ясное дело, не слышит, в телефон уткнулся... Глянька: на спине нормально? Складок нет? Подожди, синюю тоже оставь, я потом сравню. И ту, с распродажи. Которая с воротничком!

Вероника Захаровна не верила ушам. Это какое же терпение надо иметь! Фанатизм буквально. И главное, ради чего — в таком-то возрасте?! Всерьез соперничать с дочками, что ли? С невестками? Обольщать мужа, как в юности, презрев тридцать минувших лет и двадцать прибывших килограммов? Обольщать не мужа?

И все это ровно тогда, когда только-только перестала вертеться как белка в колесе. Только ощутила, что не только ты — жизни, но кое-что и жизнь — тебе. Дом. Профессия. Какой-никакой уклад. Кофе по утрам. Сериал по вечерам. Детектив перед сном. Тапки с помпонами, в конце концов.

— С ума сошла! — ужасались за шторкой. — В образе должна быть одна активная зона. А у тебя на кофе стразы, на руках браслеты, в джинсах дырки.

— Ой, кто бы говорил! Сама в прозрачной майке! — язвили в ответ.

— Да какая она прозрачная?! Полупрозрачная максимум...

С другой стороны, ведь написал же Достоевский, что красота спасет мир, рассуждала за шторой Вероника Захаровна. И возможно, женщины это интуитивно чувствуют. Потому и стараются, и бегают по распродажам, и надрываются в фитнес-клубах.

Лично она, кстати, тоже не возражала бы спасти мир. Но, возможно, каким-нибудь другим способом. Изобрести, например, лекарство от всех болезней. Или договориться со всеми странами о ненападении. Жаль, что была она не врачом или хотя бы биологом, а всего лишь учите-



лем литературы. Да и в плане переговоров не блистала. Ученики, конечно, слушали про одиночество Печорина и образ маленького человека, но без энтузиазма.

А поболтать она, что греха таить, любила. Иногда ощущала прямо-таки физическое желание. Только исполнялось оно нечасто: муж был смолodu неговорлив, девчонки общались все больше в соцсетях, а задушевная подруга Светка ушла из школы в бизнес, да еще и переехала в новый район. А по телефону что за разговор по душам?

Тут уж волей-неволей забеседуешь то с маникюршей, то с попутчицей в трамвае, то с аптекаршей, пока очередь не собралась.

Вот сейчас бы, между прочим, в самый раз посоветоваться с продавщицей насчет платья... Но девушка у кассы, сгорбившись, чиркала пальцем по экрану телефона с такой злостью, что боязно было и подступить.

Хотя в общем ясно было, что преимущество на стороне сине-белого. Все-таки приятные ассоциации: море, море, пенный шелест волн прибрежных... нашей юности надежды... Единственное, что смущало: стоили ли эти надежды суммы, выделяемой раз в пять лет? Могли ли привести ее деформированное жизнью тело в резонанс с атмосферой торжества? Или же следовало продолжить поиски? Но от мелькания ярких пятен в голове уже туманилось, мысли неудержимо расплывались. Взгляд цеплялся то за несообразные с ее профессией джинсы, то за сарафан цвета поросячьего визга. В придачу куда-то подевалось чувство времени, и уже непонятно было, сколько минут, часов или иных временных отрезков провела она в этом пестром царстве. Хотелось пить...

Тут на глаза попался островок какого-то успокоительного оттенка. Ориентируясь на него, как на стрелку компаса, Вероника приблизилась и потрогала рукав платья. Материал был тонкий, но плотный, в мелких пупырышках, будто замерзший: по серому фону — тисненные синие розы.

Она выудила вешалку из плотного ряда.

— Модель «коктейль», — подала голос девица у кассы. — Длина классическая. — И снисходительно бросила: — Меряйте!

Модель «коктейль», однако, не порождала алкогольных ассоциаций. Было сразу видно, что это платье из другой жизни — красивой и одухотворенной. К его линиям незримо прилагался тонкий аромат духов, сумерки зрительного зала и просверк скрипки, точным движением прижимаемой к подбородку.

А ведь когда-то Вероника Захаровна вела почти такую жизнь. Да-да, посещала концерты, и слыла театралкой, и беседовала с настоящим режиссером, и записывала умные мысли в особую тетрадку! Вспомнишь — и самой не верится... Теперь-то предел мечтаний — потрепаться со Светкой. За жизнь. Что старость на носу, вот уже и платье покупать не в радость, и в нормальную одежду не втиснуться... Светка, правда, наверняка обозвала бы ее дурындой и заставила бы примерить еще штук двадцать всяких моделей. И вусмерть загоняла бы продавщицу.

Она повертела в руках этот самый «коктейль». На спине низкий вырез оканчивался бантом — вот еще сюрприз! В жизни не носила Вероника Захаровна бантов на спине. Муж, пожалуй, поднимет на смех.

Но зачем-то она снова побрела в сторону примерочной — в последний раз, пообещала сама себе. Хотела спросить насчет размера побольше, но девица уже снова погрузилась в телефон.

Разумеется, модель «коктейль» тут же стиснула ее со всех сторон, и что-то впилось в бок — пластмассовый ярлык, что ли? Но это оказался язычок молнии. Кряхтя, Вероника Захаровна стянула платье, расстегнула взвизгнувшую дорожку и вновь нырнула в заросли синих роз.

На этот раз пошло полегче. Руки сразу скользнули в рукава, вырез вместе с бантом деликатно прильнул к коже. Молния взвизгнула уже не так пронзительно. Вероника перевела дыхание и посмотрела в зеркало.

Женщина напротив встретила взгляд недовольно. У нее оказались требовательные брови и вредная складка губ. Но эти губы и брови как-то странно сочетались с линиями лепестков — будто нарисованные одним художником. А ее фигура имела непривычно четкий, строгий контур. Некоторое время Вероника удивленно таращилась на эту недовольную... Наконец по платью наискось перелился матовый отблеск — незнакомка переступила с ноги на ногу, как бы торопя: «Мы все еще здесь?» И тогда Вероника спохватилась, заспешила: закинула на плечо сумку, подхватила юбку и блузку и, отдернув штору, предстала перед телефонной девицей.

Та заморгала, словно спросонья. Потом вскочила, что-то бормоча про скидку, заметалась в поисках кулька — уложить старые вещи, потом ножниц — отрезать ярлычок. Уже на улице Вероника обнаружила зажатую в кулаке сотню, сунула в кошелек и быстро зашагала к трамвайной остановке. Она все еще боялась передумать.

Дома муж поднял брови, потом опустил. Смотрел-смотрел, хмурился-хмурился... И наконец высказался одобрительно:

— Другая женщина!

А дочки просто завопили хором:

— Вау-у!

Что на их языке, несомненно, означало комплимент.

Ночью ни с того ни с сего приключилась бессонница. Но не привычная смутно-тревожная, изгоняемая сердечными каплями, а какая-то молодая: бестолковая и рождающая дурные мысли. Можно было, конечно, поискать снотворное, но лень было вставать. Так и лежала кулем, изумляясь собственным фантазиям.

Вдруг страстно захотелось куда-нибудь поехать... например, к морю! В прошлом году ездили, но как-то не по-настоящему, а наспех, сумбурно: уже начался учебный год, и вдруг ей не поставили уроков на субботу — понятно, случайно, пока расписание не установилось. Но в пятницу на нее вдруг что-то нашло, и она закатила натуральный скандал с рыданиями и упреками мужу, что все лето толклись в жаре на даче и она ни дня



не отдыхала, живя от моря в двух часах езды. Муж, не терпевший истерик и оскорбленный за любимую дачу, сначала окаменел лицом, потом плюнул и, наконец, гаркнул: «Ну так собирайся! Через десять минут выезжаем!» — и она, сама уже испугавшись — но поздно! — метнулась искать купальник и плавки. Девчонки переглянулись, покривились и остались дома, имея собственные планы на воскресенье.

И вдруг все сложилось как по заказу: свободная трасса до знакомого поселка, небо без единого облачка и шелковая гладь воды. В гостиничке в квартале от пляжа номера сдавались за полцены. Днем отдыхающие нежились в воде, насквозь прогретой солнцем, или в полузабытьи лежали под тентом. Это был сезон пенсионеров. Приезжали парами и компаниями, здоровые и на костылях, некоторые даже с собаками. Иногда спасатели в своей будке включали музыку, две докрасна обгоревшие старушки отплясывали на камнях, подпевая: «Моя бабушка курит трубку», чей-то маленький внук смотрел во все глаза, и муж жалел, что на телефоне не работает камера.

По вечерам обнаруживалась публика помоложе: зажигались огни в кафе на углу, девушки-официантки сновали по веранде, разнося шашлык, и за самым большим столом молодой хозяйин с друзьями затихали, когда под щекочущие звуки красавица с черными как смоль волосами, в красных шальварах и лифчике с крохотными колокольчиками плывущей походкой огибала столики, творя свое колдовство струящимися руками в браслетах и ритмично подрагивающим нежным станом.

После кафе гуляли по пляжу. Сначала кромешная тьма открытого моря пугала, как черный обрыв; но постепенно из нее проступала полоса прибой, дальние огни корабля на горизонте. Какая-то старушка сидела на складном стуле лицом к набегающим волнам, прислонив к коленям палку. Муж вспоминал забавное: как впервые, еще до свадьбы, поехали вместе к морю и у Вероники на шее расстегнулась ненадежная застежка купальника... «После такого я, как честный человек, должен был жениться!» — «А если б не расстегнулась?» — фыркала Вероника. «Да ладно! Сама ж нарочно расстегнула!» — блестел он зубами в сумраке.

Поздно ночью, когда смолкла музыка и стихли последние разговоры и шаги за окном, Вероника осторожно, чтобы не разбудить мужа, отодвинула жалюзи. Комаров здесь не водилось, и свежий воздух, не стесненный никакими сетками, свободно входил в комнату. Узенькая улочка в упор смотрела на Веронику, словно безмолвно спрашивая: «Ну и что ты обо всем этом думаешь?»

Но она понятия не имела, что думать, например, о непроглядном мраке, чуть было не поглотившем водную стихию. О танцующей красавице в красном и о танцующих старушках на пляже. Или о том, как вдруг на мгновение вернулось забытое чувство — все впереди! Не знала, что думать даже о домике с островерхой крышей, стоявшем через дорогу. Было похоже, что она нарисована ребенком: высоченная, несимметрич-

ная, лихо сдвинутая набок и увенчанная флюгером в виде льва. А позади замер поросший густым кустарником склон горы. Так бывает в поселках у моря: сразу за каким-нибудь домиком — гора и темный лес. Но что за домик то был: кафе? магазинчик? И почему она не заметила его днем? Эта косая крыша и спутанная масса ветвей за нею почему-то волновали, как вопрос без ответа, мешая уснуть. Казалось невероятным, чтобы здесь обитали курортники, такие же, как они... и в угасающем воображении мелькали какие-то невиданные птицы... свирепые драконы... прекрасные принцессы...

А наутро все завертелось, замелькало: холодные камни пляжа, торопливая прощальная ласка воды, сборы — выехать пораньше, пока нет пробок! — набивание дорожной сумки: «Куда столько тряпок? Еще кофты какие-то!» — «А вдруг бы похолодало!» — яичница и чай в кафе, утреннему притихшем, и наконец-то знакомое урчание мотора — до свиданья, море! — и вот уже позади милая синяя полоска... «Ой, а дом? Забыла посмотреть!» — «Что за дом?» — «Ладно, проехали...» И детская обида: поманили и обманули, недосказали сказку...

И почему-то теперь, чуть не год спустя, странный вопрос — что обо всем этом думать? — вдруг снова надвинулся из темноты, как нерешенная задача по геометрии; требовалось правильно расположить в плоскости жизни все это: море, и дом с косой крышей, и танцующую красавицу, и одинокую старушку у кромки прибоя; а теперь еще и женщин в примерочных кабинках, и новое платье, и библиотеку... а кстати, юбилей! Поздравительная речь!

Тут уж пришлось, отогнав мечты, с кряхтением вылезать из-под одеяла, включать лампу, искать отчет по внеклассной работе и расписывать план выступления: обзор мероприятий, благодарности, пожелания... Но, как ни странно, она постепенно вошла во вкус. Даже ощутила что-то вроде вдохновения! Дежурная речь, называемая в народе «барабанной», вдруг обрела и ритм, и чуть ли не стиль. Структура каждого абзаца разворачивалась перед ней, как даль свободного романа перед Пушкиным. И слова складно и весело строились друг за другом, словно малыши на уроке физкультуры. И потертый, лохматый от времени блокнот-долгочитель принимал их в себя, приветливо шурша страницами... Правда, когда перечитала, показалось, что в самом конце чего-то недостает: сравнения, что ли? неизбежного эпитета? или, может, поговорки? Что-то еще смутно напрашивалось на пустующую половинку страницы в бледную клеточку... Но мозг уже явно забуксовал — и то сказать, в третьем-то часу ночи! Так что решила не придирааться.

— Ты как, нормально? Вроде под глазами мешки, — заметил наутро муж.

— А, ничего, — отмахнулась она. — Есть такая штука — намажешь, и вообще не видно! Тем более сегодня уроков нет. Специально поменялась, чтоб по-человечески подготовиться.



И она подготовилась! Старшая дочь руководила макияжем «смоуки айз». Младшая лично делала французский маникюр. Единственное, волосы Вероника уложила на свой вкус — слегка начесала затылок и накрутила челку, как на первое сентября и выпускной вечер. А надев платье и взглядевшись в зеркало, окончательно успокоилась: *эта* женщина не могла подвести ее.

Весна уже вовсю делала свое коварное дело, отвлекая людей от работы и учебы. Но уж сегодня-то можно было расслабиться! Вероника Захаровна шла по улице, и принарядившиеся в ярко-зеленое деревья стояли строгим строем, будто почетный караул. И откуда ни возьмись то же ощущение — все впереди! — вдруг пронзило ее, словно мир послал ей тайный знак. Мечты одна другой фантастичнее: ее речь покажут по телевизору? напечатают в газете фотографию? вручат абонемент в театр? — так и роились в воображении, пока перед ней не выросла знакомая серая железная дверь.

Странно: почему-то она не была ни торжественно распахнута, ни даже наполовину открыта, как в обычные дни. И, чтобы войти, пришлось потянуть на себя тяжелую створку и буквально протиснуться внутрь, в холл, где царил — новая странность! — полумрак, духота и полная тишина.

Некоторое время она оглядывалась и прислушивалась — не стучат ли где каблучки, не доносятся ли голоса. Но расслышала только неспешное шарканье уборщицы Люси. А тут и сама Люся с чашкой в руке показалась из коридора и удивилась, похоже, не меньше.

— Тю! — даже отшатнулась она. — Верник Захарна! А вы здесь что?

— Как что?! — Вероника возмутилась. — Мероприятие же! Юбилей!

— Тю! — Люся поставила чашку на стойку гардероба и всплеснула руками. — Так вам что, не сказали? Его ж в Дом строителя перенесли. Не позвонили вам? От люди!

Вероника Захаровна продолжала стоять столбом, никак не реагируя на сообщение. Не то чтобы она не поверила Люсе. Но уж очень дико было слышать приговор своим планам от тетки в растянутой футболке, с серыми волосами, без затей свисающими по обе стороны лица.

В самой глубине души еще теплилась надежда. Может, просто перепутала время?

— Да вы не расстраивайтесь, — бубнила Люся. — А вы знаете что? Вы щас сядьте на трамвайчик, на «двоечку», и опоздаете, может, минут на сорок всего. Сразу ж не начинают. Еще на концерт успеете.

Наконец Вероника Захаровна кивнула, выдавила в ответ что-то вроде «спасибо, конечно» и, повернувшись, налегла на дверь.

Оказалось, температура на улице подросла еще на пару градусов. Настал тот коварный день, когда робкая весна внезапно сменяется нещадным зноем. Когда женщины отчаянно перескакивают из сапог прямо

в босоножки и с ужасом обнаруживают, что надеть нечего, потому что все летние кофточки в чемодане на антресолях и не затевать же поиски и глажку перед самым выходом.

И в кои-то веки в этот день она была одета по погоде...

Может, и впрямь метнуться на трамвай? Правда, до остановки квартала три. И ждать еще неизвестно сколько. Потом втиснуться в «двойку», трястись сорок минут среди потных тел, в духоте... и дотелепаться из последних сил, с бордовой физиономией: «Здрасьте, а можно еще выступить? У меня тут речь! И платье специально для телевидения!»

Не лучше ли спокойно вернуться домой? Устроить настоящий праздник книги: на диване, с любимым детективом...

Перед дочками, конечно, немного неудобно. Все-таки маникюр, макияж... И муж что-нибудь этакое выдаст...

Такси отпадает: вчерашней сдачи до Дома строителей точно не хватит. Да и в пробках простиошь дольше трамвая.

А если позвонить Светке? Набиться в гости в кои веки? Наконец-то поболтать вволю... отвести душу... обсудить, почему это мир, вместо того чтобы выстроиться в единую прекрасную картину, в последнюю минуту разваливается на куски?

Но по закону подлости телефон любезно известил, что «недостаточно средств на звонок».

Да что же это за день выдался? Сговорились все, что ли, против нее?!

Вот тебе и предчувствие, и интуиция, и передача по телевизору! Никакая мечта и не собиралась сбываться. Так что впереди по-прежнему тетрадки с загнутыми углами, кривые строчки «автор данного текста поднимает проблему...» и взгляды классиков со стен кабинета... Особенно укоризненно они смотрели после уроков, когда Вероника запирала кабинет и мчалась на репетиторство; задыхаясь, влетала домой, кричала девочкам: «Пропылесосили уже? Через пять минут ученик!» — и, похватав со стульев раскиданные халаты и ночнушки, делала приветливое лицо на встречу угрюмому восьмикласснику из соседнего дома.

А здесь, в другом мире, трава и листья будут наливать зеленым соком, кусты невесты раскинут кружевные ленты, а конские каштаны увенчают ветви гроздьями белых цветов. И, дождавшись первых неподвижно-знойных дней, кто-то другой бросит в машину пляжную сумку и покатит в знакомый поселок...

— ...Вы заходите или нет? — кто-то бесцеремонно подтолкнул в спину.

Почему-то она очутилась у дверей незнакомого кафе. За плечом маячила старуха с кошелкой. Волей-неволей пришлось шагнуть внутрь.

Девушка за прилавком встрепенулась навстречу. На голове у нее была косынка в кофейных зернышках. И она улыбалась, словно ждала их всю жизнь. Такие улыбки всегда озадачивали Веронику. Где их только выдают?

— Здравствуйте! А у нас сегодня самая свежая выпечка! Что вам предложить?

В самом деле, почему бы не посидеть здесь? В приятном полумраке. Вот за этим уютным столиком между колонной и окном. Уж на пирожок-то у нее точно хватит!

— Мне... э-э-э... молочный коктейль! — вдруг воскликнула Вероника во внезапном озарении.

А может, все в жизни гораздо проще? Платье «коктейль» — чтобы пить коктейль. А свободный день — чтобы сидеть на стуле с высокой спинкой и, глядя в окно, ни о чем не думать.

— И еще сегодня бонус — имбирное печенье каждому покупателю! Да, да, вот именно! И вдыхать аромат имбирного печенья.

Она выложила свою сотню на белую с золотом тарелку. Приняла поднос с белопенным бокалом и смуглым печеньем на блюдечке. И, лавируя между столиками, поспешила занять уютное местечко.

Но день, как видно, выдался не просто неудачный, а провальный.

Она не просто споткнулась, а с размаху врезалась подносом в колонну. И не просто упала, а растянулась с грохотом и звоном.

В голове успело трусливо мелькнуть: может, как-нибудь обойдется?

Но уже кинулась к ней девушка из-за прилавка, причитая: «Ой, что же... как это?» — а старуха молвила звучно и со вкусом: «Мать честная!» И уже растекался пенистой лужей коктейль вокруг осколков бокала, и саднил локоть, и все вокруг было липко, противно и наполнено странным клочковатым туманом.

И великая ярость овладела ею.

Приступы ярости посещали Веронику нечасто, зато памятно. Именно в такие минуты она, бывало, с размаху грохала половником по стеклянной кухонной двери или железной рукой писала заявление об уходе.

Ярость требовала физического выхода.

Завизжать что есть мочи?

Хватить стулом о стол?

Мешал туман перед глазами. И девушка, которая все топталась рядом, норовя ухватить Веронику под мышки, помочь встать.

Старуха командовала:

— Полотенце намочи и на лоб! Она вроде головой ударилась. Голова болит? — наклонилась она.

Вероника качнула головой и тут же почувствовала: болит. Желтое старухино лицо и бледное личико девушки плавали смутными пятнами. Ухватившись за стул, она кое-как приподнялась и плюхнулась на сиденье. В окружающей пелене замелькали искры.

— Ниче, отойдет, — заключила старуха и отвернулась к прилавку.

— Вы посидите пока... Вот, влажные салфетки возьмите, — шепнула продавщица.

Будто Вероника могла идти! В залитом коктейлем платье! С гудящей головой!

Она зажмурилась и прикрыла лицо ладонями — показалось, что так будет легче. Перед глазами разливалась чернильная мгла. Вероника не любила темноту. И даже черный цвет не любила. Но уж лучше чернота, чем туман перед открытыми глазами. Опять почему-то вспомнилось открытое море ночью, целое море черноты. Что в нем высматривала та старуха на складном стуле? Чего ждала в одиночестве?

Смерти, вдруг словно сказал кто-то в голове Вероники.

Она беседовала с морем о смерти. Наверное, имела на то свои причины.

Возможно, готовилась к ней. Обдумывала детали. Прикидывала — не стоит ли ускорить встречу?

Например, с помощью скал. Кстати, скалы с другой стороны бухты были что надо: и высокие, и крутые. Наверху по дороге сновали маршрутки. Ограждение — по колено. Только и требовалось, что, улучив момент, перешагнуть бетонную перекладину. Уж на это-то старуха еще была способна!

А вот чтобы войти в море и утонуть — это уж прямо сказки, наверняка рассуждала она. Небось тело само, хочешь не хочешь, начнет барахтаться, выплывать... Если только наложить камней в карманы? Где-то она читала про такой способ...

Никто не отвлекал ее от размышлений. Только редкие парочки брели мимо, хихикая и шурша гравием. Но постепенно и они исчезли. А она все сидела, хотя мысли двигались все медленнее, словно засыпая...

Как всегда, напоследок явилась любимая мечта о кончине во сне — сладкая, несбыточная греза... О кончине легкой, деликатной и изящной, как английская шутка: утром весь мир проснется еще *здесь*, а она — уже *там*... Этаким прыжок. Как заключительное па в сольной партии балерины. Как...

— ...Чайку! Я вам чайку принесла! Вы меня слышите? — Девочка-продавщица смотрела испуганно.

— Да-да... спасибо! Сколько я должна?

— Ничего не надо! Просто я смотрю, у вас лицо такое... Не плохо вам?

— Да нет, нормально! — заверила Вероника. — Задумалась просто.

...Однако какой-то звук мешал. Собака, что ли, возилась поблизости: то ли чавкала, то ли с кряхтением устраивалась на ночлег? Старуха оглянулась. Глаза, привыкшие к темноте, без труда различили покачивание надувного детского домика. Выходит, это не собака? Губы ее брезгливо искривилась. Она давно смирилась с тем, что близость моря низводит людей до уровня животных. Но досадно было недодумать любимую мысль. Она вздохнула и с усилием поднялась, опираясь на палку. Подхватила легкий, одним движением сложившийся стул и побрела прочь по камням.

Но шагов примерно через пять ее левая нога, вместо того чтобы сначала нащупать опору, а уж потом полновесно наступить на нее, вдруг будто наткнулась на невидимое препятствие и возвратилась, не довершив движения. Старуха обернулась, и брезгливое выражение ее лица сменилось озадаченным.

— Ревешь? — подозрительно спросила она, адресуясь к надувному сооружению.

Из-за угла его наполовину высунулась растрепанная голова и потрясла не то утвердительно, не то отрицательно.

— Ревешь, — заключила старуха. И, помолчав, приказала: — Поди сюда.

Голова скрылась. Из домика неслышно выскользнула щуплая фигурка и, как призрак, двинулась к ней и остановилась в двух шагах.

— Девчонка, — разглядела старуха. — Ну и чего рыдаешь? Чего родителей пугаешь, домой не идешь?

Девчонка всхлипнула и буркнула хриплым баском:

— У меня мама... и сын... без меня ложатся. Я поздно... в кафе работаю.

— Ишь ты! Взрослая! — подивилась старуха. — А чего ревешь тогда?

Ответа пришлось ждать так долго, что она махнула рукой:

— Ладно, если секрет — я пошла! Ноги уже отваливаются.

Но девчонка скакнула следом:

— Давайте я стул понесу!

— Ну неси, — разрешила старуха и продолжила допрос: — Официанткой работаешь?

— Беллиданс танцую! — с мрачной гордостью объявила девица.

— Ишь ты! — опять удивилась старуха. — А я вон там живу. Вон, хибара кривая.

— Знаю. Я вас видела. У вас шляпа с сиреневой розой.

— Глазастая! А хочешь, зайдем, — предложила старуха. — У меня мороженое есть.

Девчонка сверкнула белками глаз:

— Вы ж меня не знаете!

— Ну и познакомимся. Меня Маргарита зовут. Тетя Марго.

— А меня Лилия.

— Прямо цветочная клумба, — оценила старуха. — Так ты, наверно, цветочек нежный, капризный?

— У меня парень завтра уезжает...

Тут голос подвел Лилию — невнятно пискнул и оборвался.

— Курортный роман? Сам женатый? Жена из поморских крестьян? — помогла Марго.

— Из каких... крестьян?

— Из поморских! Это в наше время так охмурили, — объяснила старуха. — Холодная в постели, значит... Так что, женатый он? Городской?

— Нет, здешний... И холостой. Он молодой еще, учиться в город едет. А раньше говорил — уедем вместе...

— Ну ясно, ребенка испугался, — встала Марго.

— Да нет, с мелким он хорошо, на рыбалку даже его брал, — заступилась Лилия. — Ему работа моя не нравится. Позоришь меня, говорит!

Голос у нее опять рванулся вверх, готовясь оборваться. Но она прокашлялась и продолжала воинственно:

— А чем я позорю? Мне даже гости деньги в лифчик не засовывают, я не допускаю! За пояс только... А он еще тряски делать не разрешает: разврат, говорит! А какой беллиданс без трясок? Говорю ему: давай вместе уедем, я студию открою, детей учить буду. А он: сама позоришься и детей позорить будешь... Вообще не понимает в искусстве!

— Трагедия, — согласилась старуха. — Ну ничего. Сейчас придем, я кофейку сварю...

Вероника открыла глаза. Туман уже рассеялся, и все вернулось на свои места: матовые шары светильников, плетеные салфетки на столах, девушка в косынке за стойкой.

— А где старушка? — спросила Вероника.

— Ушла домой, наверно, — пожалала она плечиками. — Вам как, лучше?

— Мне отлично! — уверила Вероника. — У вас прямо... волшебное кафе! Можно еще немножко посидеть?

— Да сколько хотите! — просияла девушка.

Вероника принялась лихорадочно рыться в сумке. Рухнувший было мир начинал выстраиваться! Просто это был другой мир. Старушка, танцовщица, дом с кривой крышей — все в нем находило свое место. Лица, голоса, шутки, слезы, пейзажи и диалоги — все это было частью огромной картины. Требовалось только разглядеть ее до конца, до мелочей. Вот только удастся ли разглядеть в чернильной тьме, а потом еще запечатлеть все мельчайшие подробности? Когда-то это умели Те — глядящие со стен кабинета литературы... Быть может, если у нее получится, они не будут смотреть с таким упреком?

Надо хотя бы попытаться... попробовать...

Наконец блокнот нашелся.

В нем было еще несколько свободных страниц.



Марина НЕМАРСКАЯ

СЕРГОРОД

* * *

Музыка на дне твоей шкатулки:
Сергород, бессонница без глаз.
Гул тележки дворника в проулке,
хопчик или утренний намаз.

Кошка ест под дверью у парадной,
зажигалкой чиркает сосед.
Тишины не слышно, ну и ладно,
тишины среди живущих нет.

И в тебе чуть свет
как вопль истошный
под ярмом кредитных ипотек,
поздно просыпается художник,
рано засыпает человек.

* * *

Я выхожу на улицу в простом,
не чувствуя затылка под крестом.

И долго тонет колокол в тоску,
а хочешь, разобью себе башку.

Когда-нибудь, когда-нибудь, когда...
Холодный берег, талая вода.

Я не прошу, не верю, не боюсь,
о каждый зов твой как о камень бьюсь.

А хочешь, ты утонешь и потом
сожжешь мне губы побелевшим ртом,

шепча неслышно в облачную синь:
спокойной ночи, милая, аминь.

* * *

Скифских черт прямые линии,
глаз холодная вода.
По фамилии и имени
зывает в никуда.
Теребит руками нервными
кофту, что дверной засов.
Снегопад в глухой губернии,
поезд через шесть часов.
И не слышно над молитвами
про наскучивший уют,
как в раю за душу битую
две небитые дают.

* * *

С бечевой на шее не повисну,
спрячь расшитый бисером мешок.
Матушка, страна тяжелых мыслей.
Больно. Беззаветно. Хорошо.

От рожка до свадебной гребенки
ты меня ласкала, как скала —
колыбель спартанского ребенка,
лишь бы всех мужей пережила.

Ты меня поила не напрасно
мертвою водицей наперед.
Знала, пресмыкающийся аспид
по нутру шершавым полоснет.

Причастила не единым хлебом,
выжгла мне по чреву «не убий».
Матушка, поклон тебе до неба,
а теперь прости и полюби.

Юрий МАГАЛИФ

**«Я ВСЕ ЭТО ВИДЕЛ
И ВСЕ ЭТО ЗНАЮ...»***

* * *

Это может лишь присниться:
В луже хвойная вода,
Две вороны, три синицы
И ворота в никуда...

Два столба, на них ворота —
Посреди лесной глуши!..
Кто-то здесь затеял что-то,
Да, видать, не завершил.

Что он думал в этой чаще?
Как поставил бы забор?
Был он пьяница пропащий
Иль безумный фантазер?

Я бы сам для интереса,
В меру уходящих сил,
Тайну сказочного леса
Для себя отгородил.

И ходил бы на поклоны
В эти заросли тогда:
Три синицы, две вороны
И ворота в никуда...

9 сентября 1997 г.,
Тогучин, дорога на Кийк

* Редакция благодарит за помощь в подготовке подборки жену писателя Магалиф Тамару Федоровну.



* * *

Слабеет звон сердечных сокращений.
Земная слава, как и срок земной,
Не выпрямит дрожащие колени
И позвоночник перебитый мой.

Но что же дальше — вот вопрос вопросов!
Каким там шрифтом в Книге Бытия
Меж запятых, кавычек, переносов
Оттиснется потом строка моя?

Когда и где, в какой библиотеке
Запросит эту Книгу книголюб?
В каком забывчивом грядущем веке
Строка возникнет между влажных губ?

Кто б ни был ты, мой будущий читатель,
Пожалуйста, одно лишь в толк возьми:
Я был не посторонний наблюдатель,
Живя в двадцатом веке меж людьми.

Жестокий век! Как он меня корежил
И укрощал стремительный мой бег!..
А я не раз, бывало, лез из кожи,
Чтобы прославить свой двадцатый век, —

Пускался в путь и возвращался к дому,
И предан был всегда земле одной —
Не сторожа, подобно псу глухому,
Земную славу, как и срок земной.

3 февраля 1997 г.

* * *

Все стало новым для меня.
И сам я стал как будто новым —
То, что вчера было суровым,
Вдруг подобрело в свете дня.

Я как турист в чужой стране:
Все странно так и непривычно.
И долго потолок больничный
Как небо будет виден мне.

А все минувшее приснится
 Бездонной светлой пустотой.
 И эта жуткая больница —
 Как столб за пройденной верстой.

14—16 ноября 1996 г., больница

Елизаветино

Для других тут — дачи, дачи,
 Валуны как валуны...
 А вот мне совсем иначе
 Эти просеки видны.

Были розовыми камни —
 Те, что нынче в седине.
 Улетевшая видна мне
 Птица в синей вышине.

А тропинка за ольхою
 Вроде та да и не та...
 Незабвенной чепухою
 Моя память занята:

Тут был столбик, там канавка,
 Там аллея из осин;
 Здесь была когда-то лавка
 «Бакалея, керосин»,

У вокзальной водокачки
 (Только где же тот вокзал?!)
 Зойке Пуховой — гордячке —
 Я Корнилова читал...

А за третьим поворотом
 Жил эстонец Гуго Сепп,
 В русской печке по субботам
 Выпекал он черный хлеб.

Эти знаки, эти лица —
 Все пустяк и небылица,
 Вроде воздуха в руке...

Пусть хоть что-то сохранится —
 Не строкою на странице,
 А пробелами в строке...



* * *

Мне снилось, будто в лодочке у берега
 Два нищих инвалида-старичка —
 Два беженца с какого-нибудь Терека
 Дудели в два поломанных рожка.

И так они старались, так внимательно
 Друг друга слушали, глаза скосив! —
 Тянули аккуратно и мечтательно
 Нездешний нескончаемый мотив.

Рожок у каждого был чем-то перевязанный,
 Источен стариною за сто лет...
 Под темными чинарами, под вязами
 Явилась эта песенка на свет.

Явилась где-то там, где нам не велено
 Теперь ни петь, ни плакать, ни играть...
 Где для меня, конечно, не постелена
 Кошма на подогретую кровать.

А лодочка у берега качается,
 А музыка нездешняя скулит...
 И сон такой вовеки не сбивается
 И ничего мне в жизни не сулит.

6 декабря 2000 г., 3 часа 40 мин. дня*

* * *

Привычные словечки, словно спички
 Из коробка, выходят чередой, —
 Бездумно, по затверженной привычке:
 «Мой славный», «мой хороший», «золотой»...
 Но спичка моментально обгорает:
 И трепетанье слабого огня
 Кого-то, может быть, и согревает... —
 Кого угодно, только не меня!

12 февраля 1996 г., Тогучин

* Последнее стихотворение в записной книжке Ю. М. Магалифа. — Прим. ред.

В больнице

Е. И. Рохлиной

Он бережно несет в себе самом
Свое больное сердце. Осторожно,
Словно по проволоке акробат,
Идет он медленно по коридору.
...И пахнет хлоркой. И мочой, и потом.
И кто-то стонет. Кто-то сладко спит...
А он идет и до конца не верит,
Что жить ему разрешено опять!
Еще полгода, а быть может, годик...
А может, два... А лучше если три —
Он будет видеть небо за окошком,
И слышать по листве скользящий дождь,
И плач соседской крохотной девчушки,
И шорох мыши в кухне, под окном!..
Врачи — его заступники пред Богом —
Не понимают: для чего опять
Они уберегли на срок недолгий
Вот эту невеселую судьбу?
Он книгу, что ли, сочинить успеет?
Или насадит сад вечноцветущий?
Или продолжит знаменитый род —
Седой старик восьмидесятилетний?..
Нет, ничего он этого не сможет.
А сможет просто жить. Четыре буквы
На русском языке вобрали тайну —
Пленительную тайну бытия.
Жить! Как живет в болоте черепаха,
Как воробей в полете недалеко,
Как хрупкий колосок в огромном поле
Под необъятным небом голубым!..
И сколько радости, и сколько света,
И сколько вечности и любопытства
В звенящем, односложном слове «жить»!
...И надо быть по-птичьи осторожным,
Чтоб медленно лететь по коридору —
Не расплескав свое больное сердце,
И сохранить его в себе самом.

7—8 июня 1998 г., больница



Маленькие радости

Обмакнуть кусочек хлеба
Аккуратно в банку с медом
И запить из толстой кружки
Охлажденным молоком;
Да, упав среди ромашек,
Наблюдать за небосводом,
Где медлительная птица
Спорит с верхним ветерком...
Раздобыть из-под кострища
Пропеченную картошку,
Разломить ее на части,
С аппетитом присолить;
А на озере, под ивой,
Видеть лунную дорожку
И Венеры отражение —
Как серебряную нить...
Зачерпнуть ковшом жестяным
Воду темную из кадки
И, как будто не проснувшись,
Тихо подойти к окну —
Поглядеть на старый тополь
Да на звездные порядки
И на цыпочках вернуться
К потревоженному сну...

4 августа 1997 г., Тогучин

* * *

Я все это видел и все это знаю,
Я все это трогал своими руками;
Не все понимаю, но все принимаю —
В лесу, за столом, на реке, над лугами...

Живу не по правилам, а по наитью,
И в дальние дали мне путь не заказан.
Но крепче становятся тонкие нити,
Которыми с детства опутан и связан.

Я связан с кривой деревенской дорогой,
Я связан с асфальтовой липкою пылью,
Со сказкою строгой, с мечтой-недотрогой
И с древней, как мир, фантастической былью.

Висит на стене небольшая иконка —
Премудрый все видит, все слышит и знает.
Железные ходики тикают звонко.
А день угасает.

А день угасает?

29 марта 1998 г., Новосибирск

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ЮРИЙ МАГАЛИФ: ПИСАТЕЛЬ ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ

Есть предприятия градообразующие.

А есть художники и писатели градообразующие.

Они растут как бы незаметно, но все больше и больше людей втягивается в орбиту их интересов. И если сперва говорят: «А, это тот поэт (художник) из Новосибирска?», то приходит пора, начинают говорить: «А, Новосибирск? Это же город Грицюка, город Магалифа!»

Конечно, в этом есть некоторое преувеличение.

Есть люди, считающие Магалифа ленинградцем, и это тоже верно.

Кто-то запомнил из общения с Юрием Михайловичем то, что отец его был провизором, а мать — польской графиней. Другим запомнились рассказы про мать — наполовину цыганку. Подтверждалось сие стихами: «Моя бабка Федосья Трофимовна была маленькая цыганка...»

Слушая Юрия Михайловича, ты начинал понимать, что мир не совсем такой, к какому каждый привык. Родился Юрий Михайлович давно, в 1918 г. Само по себе звучит неслабо, но Юрий Михайлович намекал, что родился он в тот день, а может, и час, когда в Екатеринбурге расстреливали семью Николая II. Кто проверит? Да и зачем проверять? Поэт всегда прав. Поэт имеет право делать своим героем Ленина, человека, перевернувшего двадцатый век. Да, именно героем, несмотря на то что самого поэта именно выстроенная Лениным (и не только им) система приравняла к врагам народа. Мало ли что ты родился в Петрограде? Это не значит, что там ты и будешь жить. В 1935 г. Юрия Магалифа вместе с матерью выслали в Казахстан. Конечно, он оттуда вернулся. Не сразу, но вернулся. Ленинград — это же его город. Там он поступил в театральный институт, обучался мастерству актера-чтеца.



Юрий Магалиф. 1938 г.



Но в 1941 г. актера-чтеца арестовывают по 58-й статье (контрреволюционная деятельность). Мотивы? Раз — хранение стенограмм Первого съезда писателей, с которого почти треть делегатов ушла в лагерь и в небытие. Два — народ и партия едины, а где твой личный энтузиазм?

В марте сорок второго
Мы строили аэропорт.
Вот была работенка!
Общественная притом.
В будние дни — вечером,
По воскресеньям — с утра
Костры разводили. Не помню,
Грелся ли кто у костра?
За пазухой отогревали
Хлеб, от мороза твердый,
И в четезе щеголяли —
В онучах из твердого корда.
Мы делали планировку,
Возили в тачках бетон...

Такие вот «общественные» работы.

Все равно повезло: срок отбывал в Новосибирске.

Тачка. Бетон. Виброрейка. Интересно, что будут делать в этом новом цеху? Одни говорили — самолеты, другие — танки. Для Победы все хорошо. Незаметно, незаметно, на пределе сил, а поставили четырнадцать цехов.

Вот она — *работенка общественная*.

В 1946 г., выйдя из лагеря, Юрий Михайлович остался в Новосибирске.

Кормился актерством. Оно и поддерживало. Профессиональное актерство подчас позволяло весело говорить то, что в обычном разговоре не пройдет — обратит на себя внимание. Рассказывал о Марии Николаевне Слободзинской, племяннице инженера и писателя Гарина-Михайловского. Когда-то Юрий Михайлович жил у нее в Ленинграде. Водила по музеям, давала читать книги знаменитого дяди. Воображение поэта работало. Через много лет, в 1995 г., получив литературную премию имени Н. Г. Гарина-Михайловского, самым легковерным Юрий Михайлович весело сообщал, что лично знал писателя. А в близком кругу признавался, что в жилах его жены Ирины Михайловны (он прожил с нею сорок семь лет) текла кровь русских царей. Почему нет? Почему царю не иметь побочных детей? Но при этом любил вспоминать о том, что в Ленинграде в давние тридцатые годы не раз прогуливался с самим Сергеем Мироновичем Кировым — якобы жили неподалеку. Особенно убедительная деталь: водил собак Кирова — охотничьих.

Юрий Михайлович во всем был ярок.

Актерство (в самом лучшем понимании) было в его крови.

Как чтец-декламатор он объездил многие районы и области Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока. Маленькие станции, заброшенные городки, дождь, снег, отсутствие транспорта.

Ах, жизнь актера! До чего же любо,
Что ждет тебя десяток лесорубов
В сосновом клубе посреди тайги...

Юрий Никулин в письмах благодарил за книжку «Приключения Жакони», которую обожал его маленький, часто болевший сын. Литературовед и критик Владимир Лакшин представил читателям книгу сказок, в которую вошли повести, сделавшие имя Магалифа известным: «Приключения Жакони», «Бибишка — славный дружок», «Путешествие не окончится», «Типтик, или Необычайные приключения одного мальчика и говорящего ворона». Всю жизнь Юрий Михайлович тянулся к детству. Но когда появились и «взрослые» его книги, никто не удивился. За юмором и иронией пережитое не спрячешь, писателю надо выговориться. К тому же он может все! Он волшебник. Давая автографы, так и расписывался: «Маг-Алиф».

Тридцать шесть книг, членство в Союзе писателей, репутация человека открытого, честного, веселого, в высшей степени интеллигентного. Он очень любил делать подарки. Моей жене однажды преподнес чудесный набор суповых тарелок. Служили они долго, а одна (последняя, к сожалению) до сих пор, пусть надтреснутая, остается в рабочем состоянии. Ничего удивительного. Юрий Михайлович и сам даже в восемьдесят лет оставался в рабочем состоянии.

Подружились мы в семидесятых.

Я помогал продвижению его самой первой книги стихов.

Он очень, очень и очень хотел увидеть свои стихи напечатанными.

«Монолог» — так называлась книга. Я был ее редактором. Какие-то строки мы бурно обсуждали (тогда-то и выяснялось нечто спрятанное в самой глубине души).

Да, Магалиф — лирик.

Да, он человек взволнованный.

Да, он все вокруг видит глазами поэта.

Она, конечно, умерла
В тот год, зимой блокадной.
Фонарь лилового стекла
Рассыпался в парадной...
Ей навсегда семнадцать лет!
Я запишу в тетрадке,
Что все стоит лиловый свет
На лестничной площадке...

К счастью, горечь поэта всегда особого свойства. Она не может длиться бесконечно, рано или поздно она растворяется в светлой печали природного пейзажа.

Чтоб раньше, чем кинуться в темную воду,
 Увидеть сухую щетину покоса,
 Тальник, пожелтевший погоде в угоду,
 И лодку, прибитую к берегу косо...

И они, эти нежные строки, остаются в тебе. Пусть сам ты не видел именно этот тальник, не видел именно эту сухую щетину покоса, лодку, прибитую к берегу, — главное, ты помнишь...

В общей работе, в дружбе открылась первая часть жизни Юрия Михайловича — лагеря. Он, конечно, писал о них, не мог не писать. Но ни в какие журналы и издательства не лез: слишком личная тема. Да и где издаваться? В девяностых уже уходили в прошлое издательства и журналы, даже «Сибирские огни» практически кончились. Вот тогда моим друзьям Аркадию Пасману и Леониду Шувалову пришло в голову издавать в полуторамиллионном Новосибирске новый толстый журнал. Писатели же работают, просто у них нет возможности выйти к читателю. Печатаение «Прозы Сибири» (само название определяло специфику журнала) должно было снять проблему. Думаю, в какой-то мере нам это удавалось. Пока не кончились деньги.

Согласие сотрудничать с журналом «Проза Сибири» дали Виктор Астафьев (Красноярск), Александр Бирюков (Магадан), Кир Булычев (Москва), Владимир Войнович (Москва — Мюнхен), Евгений Евтушенко (Москва), Василий Коньяков (Новосибирск), Владислав Крапивин (Екатеринбург), Юрий Магалиф (Новосибирск), Валентин Распутин (Иркутск), Роман Солнцев (Красноярск), Борис Стругацкий (Санкт-Петербург), Борис Штерн (Киев). И другие, многие другие. Ни в каком ином журнале тех лет не могли появиться вот так *рядом* приведенные мною имена. Слишком мощные сражения разделяли, расслаивали общество, разъедали литературную среду. Кипел «китанический бой побище», как писал в свое время Артем Веселый.

Вот в журнале «Проза Сибири» и появился рассказ Юрия Магалифа «В те еще годы...».

Рассказ этот прост.

Заключенного Ставина вызывают к майору Шурикову.

Конечно, мысли Ставина полны надежд. А вдруг ему решили дать расконвойку? Такое случалось, а о чем большем можно мечтать? Расконвойка — это удача. Это можно идти на ту же самую работу не в общем строю, а по обочине дороги. Можно (по разрешению начальства, конечно) побывать в городе, да мало ли... Майор Шуриков все о нем, о Ставине, знает. Норму он перевыполняет, правил не нарушает. Ну что, что еще нужно, чтобы получить расконвойку?

А нужно еще многое, милый, наивный ты человек!

Казалось бы, после «Крестов» и «Шпалерки» бояться уже нечего, всё мы видели, но у системы свои методы. И хорошо срабатывают самые простые. Вот, Ставин, давай, подпиши эту бумагу, говорит майор. Бумага простая: мы знаем, болтал при тебе один человек. Подписывай, Ставин, наказывай врага. Ты же прекрасно знаешь: сейчас не подпишешь ты — завтра другой подпишет. Нам все равно, врага мы накажем, а вот ты потеряешь шанс. И загремишь в карцер. А там, в карцере, мало тебе, доходяге, не покажется.

Невозможно уйти от выбора.

Этот выбор всегда перед тобой — помни!

Тогда, после рассказа «В те еще годы...», и родились мои стихи, посвященные доброму другу и волшебнику Маг-Алифу.

Юрий Михайлович мне говорит:
«Водки, пожалуйста, Гена, налейте».
Тянет желудок,
сердце болит,
в окнах не море, не Родос, не Крит,
окна распахнуты в палеолит, —

а Пан играет на флейте.

Серый забор и «скворешник» над ним.
«Водочки, Гена, не пожалейте».
Чад переклички,
лагерный дым,
нимб над колючкой — сияющий нимб.
«В лагере легче трубить молодым», —

а Пан играет на флейте.

Юрий Михайлович жмурится: «Всем
пусть будет вкусно. А вы мне — долейте».
Жизнь коротка,
перегружен модем,
бездна крутящихся в памяти тем,
дымный безбожный далекий Эдем, —

а Пан играет на флейте.

Вот и нет уже Юрия Михайловича, поэта и прозаика градообразующего, пережившего все, что должны были (правда должны ли?) пережить наши современники, но стихи его с нами.

С 2016 г. журнал «Сибирские огни» курирует сайт «Журнальный мир» (zhurnir.ru) — сетевой литературный ресурс, созданный при помощи Министерства культуры НСО для размещения электронных версий литературных печатных периодических изданий, выходящих на русском языке в любой точке мира.

На данный момент на сайте представлены электронные версии изданий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Хабаровска, Воронежа, Симферополя, Уфы, Сыктывкара, Перми, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Красноярска, Вологды, Ростова-на-Дону, Тулы, Ленинска-Кузнецкого, Тары, есть и зарубежные издания — Мельбурна, Торонто.

Сегодня мы хотим познакомить читателей с некоторыми участниками «Журнального мира» и публикуем материалы из двух изданий — альманаха «Кузнецкая крепость» и журнала «Огни над Бией».

«Кузнецкая крепость» (Новокузнецк) — литературно-художественный и общественно-публицистический альманах. Периодичность издания — 1 раз в год. Альманах издается регулярно с 1995 г. До 2014 г. его учредителями являлись Управление культуры администрации г. Новокузнецка и городское отделение Союза писателей России. С 2015 г. выпуск альманаха осуществляется на общественных началах за счет средств спонсоров. Сегодня альманах издается усилиями общественной редколлегии, сформированной по согласованию с Кемеровским областным отделением писателей юга Кузбасса членами Союза писателей России.

Татьяна ВЫСОЦКАЯ

ПАМЯТНИК МАЯКОВСКОМУ: ЛЮДИ, СУДЬБЫ, ЭПОХА

Спецпроект «Новокузнецк — 400»

Мы помним эти монументальные строки: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди в стране в советской есть!» Десятилетиями они сияли напротив железнодорожного вокзала в Новокузнецке. Потом эти надписи вдруг исчезли. А такие люди, о которых говорил Владимир Маяковский, продолжали творить историю...



Памятник
В. В. Маяковскому
в Новокузнецке

Но личность И. П. Хренова, повторимся, незаурядна. Родился он в 1901 г. в старинном фабричном селе Лежнево в семье фельдшера. В канун революции учился в реальном училище г. Коврова, был известен среди реалистов «как человек дела, умеющий постоять за себя и за свои убеждения». Романтически настроенный юноша посещал тайные сходки «Клуба якобинцев». Увлечшись идеями большевизма, в 1917 г. стал руководителем Союза молодежи в Коврове. Вступив в партию большевиков, уже через год был избран на родине, в Лежневе, секретарем районной парторганизации, в марте 1921 г. участвовал в разгроме мятежа кронштадтцев, восставших против советской власти. Тогда же был назначен политработником Красной армии.

Служил на флоте, учился в Военно-морской академии. В Ленинграде в 1926 г. познакомился с Маяковским, и, по словам дочери Хренова, они подружились. В 1929 г. он, как член ЦК профсоюза рабочих-металлистов, побывал на строительстве КМК. Здесь, на Кузнецкстрое,



мимоходом организовал первую ячейку Оборонного общества, пожившую в том же году начало Новокузнецкой городской организации Осоавиахим. Осоавиахимовцы в свою очередь открыли кружки стрелков, связистов, шоферов, строили лодки, проводили гребные соревнования и массовые заплывы на Томи. В итоге родились люди новой формации, патриоты страны.

Приехав в Москву, Хренов рассказал Маяковскому о строительстве небывалой по мощности домны, о закладке нового города — как потом стали квалифицировать, «города социалистического типа».

Присутствовавший при этой встрече литературовед В. А. Катанян впоследствии написал: «Помню этот житейский рассказ... о трудностях, мокром хлебе, простейшей крыше над головой, о миллионе вагонов стройматериалов, которые будут превращены в город... И помню потом безграничное удивление, когда вдруг увидел в журнале, как горячо сплелись эти детали с чувством и воображением поэта, какую новую бессмертную жизнь обрели они в лирическом стихотворении».

Вскоре Иулиан Хренов написал брошюру «От Кузнецкстроя к Кузнецкому металлургическому гиганту», которая была издана в Москве в 1931 г. В декабре 1933 г. приказом по Наркомтяжмашу СССР И. П. Хренов назначен заместителем директора строящегося Новокраматорского машиностроительного завода, а после окончания стройки в 1935 г. — директором Славянского изоляторного завода. Есть свидетельства, что некоторое время он работал в должности помощника Генерального прокурора СССР.

В 1937 г. был репрессирован как троцкист. «Книжница» его была изъята из обращения, а фамилия — из названия стихотворения. И все-таки, благодаря Маяковскому, который воздвиг ему «памятник нерукотворный», имя Хренова не забылось.

Иулиану Петровичу суждено было встретиться еще с одним писателем — Варламом Шаламовым, опубликовавшим воспоминания под заглавием «Несколько слов о Хренове» в журнале «Литература и жизнь» в 1962 г. Приведем небольшой отрывок.



И. П. Хренов. Ленинград, 1925 г.

«Человек из песни» — Иулиан Петрович Хренов, которого звали уменьшительно то Ульян, то Ян, бывший директор Краматорского металлургического завода...

С 9 августа 1937 года Хренов, в числе тысяч других “троцкистов”, плыл в верхнем трюме парохода “Кулу” из Владивостока в бухту Нагаево (пятый рейс). Здесь-то, в трюме тюремного парохода, и обнаружилась “причастность” Хренова к литературе. <...>



И. П. Хренов. 1936 г.

Среди этих тысяч людей лишь один человек был с книгой — Ян Хренов. Книга, которую он взял в трюм, берег и перечитывал, — однотомник Маяковского, с красной корочкой. Желаящим Хренов отыскивал в книге страницу и показывал стихотворение “Рассказ Хренова о людях Кузнецка”. Но впечатления там, в паровом трюме, стихи не производили никакого, и перечитывать Маяковского в такой обстановке никто не собирался. Не перечитывал стихи и сам Хренов. Грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, уже была перейдена — в следственных камерах она еще сохранялась.

<...>

Не думаю, что Хренов возил книжку в качестве визитной карточки. Рядом с ним на нарах лежали люди, на которых такая визитная карточка не произвела бы ни малейшего впечатления. Притом любителей Маяковского в те годы было немного. Свистопляска вокруг имени поэта только начиналась. Просто Хренову было приятно как можно долее сохранить, держать в руках перед глазами это особенное свидетельство былого.

<...>

В том мире, куда плыл Хренов, было благоразумнее забыть о стихах, притвориться, что ты никогда стихов не слышал, чтобы не вызвать на себя огонь начальства, блатарей и даже собственных товарищей.

<...>

В стороне от Ягодного лежал прииск “Партизан”. Туда-то мы и прибыли из Магадана в одной машине с Хреновым. Хренов был встревожен, молчалив. Томик Маяковского был упрятан в чемодан. Больше я этот томик в руках Хренова не видел».

Даже во время войны И. П. Хренов не был «прощен», получив после ее окончания «пожизненную ссылку» там же, где работал — на одном из приисков Севера. Умер Хренов от сердечного приступа по дороге из Магадана домой после освобождения в 1948 г. — так трагически закончилась жизнь патриота индустриализации, искреннего большевика Хренова, которого однажды судьба привела в будущий город Новокузнецк.



Но и посмертно Иулиану Хренову не повезло. В 2007 г. был снят многосерийный фильм «Завещание Ленина» (режиссер Н. Досталь, автор сценария Ю. Арабов), в котором по произволу авторов Хренов был выведен в отрицательных характеристиках, что вызвало возмущение М. Е. Выгона, делившего с Иулианом нары в Бутырке и ссылку в Магадане по статье «контрреволюционная троцкистская деятельность». По воспоминаниям бывшего политзаключенного Выгона, именно Хренов учил его, тогда еще молодого человека, выдержке и стойкости, которые помогли ему выжить.

А символ нашего города, надпись: «Я знаю — город будет...», убрали с привокзальной площади. Когда точно — не знаю. Но запомнила, что больно кольнуло, когда однажды ее не увидела. Это был знак приговора старой эпохе, в которой прошла не только жизнь наших дедов и отцов, но и наше счастливое детство. Думается, что сейчас памятнику Маяковского больше подошли бы другие слова:

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

Жаль, что скульптор, изваявший памятник Маяковскому, влюбленный в образ поэта, не высек на нем ни слова. Жаль, что нет на постаменте имен его создателей: скульптора Бориса Алексеевича Пленкина, архитекторов Владимира Павловича Литвякова, Алексея Степановича Рахубы, Льва Леонидовича Ухоботова. А ведь они тоже свято верили в прогресс индустриализации. Это были романтики второго призыва на стройку коммунизма, начавшуюся с возведения Запсиба — очередного металлургического гиганта Кузбасса, второго градообразующего предприятия Новокузнецка.

Итак, вот еще одна история о том, как однажды в конце лета 1957 г. в Новокузнецк прибыла группа выпускников Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Их было тринадцать: живописцы, архитекторы, декоратор и первый в нашем городе искусствовед — Г. П. Овчарова, заложившая основы профессиональной деятельности музея искусств. В числе прибывших находился и будущий градостроитель Новокузнецка — А. И. Выпов.

Для единственного в этой группе скульптора Б. А. Пленкина пребывание в Новокузнецке оказалось творческой командировкой, поскольку квартиру ему, как человеку одинокому, не предоставили. А мастерская на шестом этаже в доме без лифта скульптора, работающего с тяжелыми материалами, не могла устроить. Он выполнил ряд скульптур с рабочими КМК, успешно экспонировавшихся на российских и зарубежных выставках (теперь в собрании Новокузнецкого художественного музея). Но



Открытие
памятника
В. В. Маяковскому
в Новокузнецке.
1967 г.

самым значительным, монументальным произведением Пленкина, символическим для города, является памятник В. В. Маяковскому, который по собственной инициативе он доработал с товарищами-архитекторами В. Литвяковым, Л. Ухоботовым, А. Рахубой по эскизам институтских лет.

Площадь, 19 февраля 1957 г. названная по решению горсовета именем поэта, представляла один из интереснейших в градостроительном отношении узлов города. Проект сначала принял художественный совет Министерства культуры РСФСР, а 7 июня 1958 г. он был одобрен горисполкомом. В чугуне памятник (высотой 5,5 м) был отлит на ленинградском заводе «Монументскульптура», оставалось лишь его установить. Но сменившееся городское руководство о нем забыло. По одним источникам, он хранился в Зеленстрое, по другим — на складах КМК. В прессе встречаются разночтения, в том числе и по поводу материалов, из которых он выполнен. Подчеркнем: не бронза и мрамор, а тонированный чугун и облицовочный гранит на железобетонном постаменте.

Вспомнили о нем лишь к пятидесятилетию советской власти, не без подсказки новокузнецкого скульптора А. И. Брагина, друга Бориса Пленкина. Так лишь через 9 лет (1 ноября 1967 г.) памятник наконец-то был установлен.

«Точку стояния» подбирали ему со всей ответственностью. Для этого, по воспоминаниям архитектора В. А. Авдеева, выпилили из фанеры макет и возили его по площади в поисках такого ракурса, чтобы памятник не попал в средокрестие трамвайных проводов, чтобы силуэт поэта смотрелся выразительно, а абрис головы читался на фоне чистого неба.

На открытии было множество народа. Потерявший надежду скульптор не приехал. Либо он не забыл обиду, о которой с горечью писал многие годы спустя нам, сотрудникам музея, и скульптору Брагину, либо был занят. К тому времени Б. А. Пленкин стал профессором кафедры ЛИНЖСА, который когда-то окончил.

Среди выступавших на митинге был заведующий кафедрой литературы педагогического института профессор А. Ф. Абрамович, лично знавший поэтов и писателей той эпохи. Выступления Маяковского он слушал в конце 1920-х гг., о чем рассказывал нам, студентам, буквально боготворившим педагога за его энциклопедизм, мастерство рассказчика и доброе ко всем расположение. Вот так в Новокузнецке «встретились» Владимир Маяковский и делегат Первого съезда писателей Алексей Абрамович.

Стихотворения и памятники монументального искусства создаются на века — если повезет, если попадут в нужную точку. Да и для архитектора правильно рассчитать объем и масштаб постамента — задача творческая и потому увлекательная.

Поэт изображен в движении. Декламируя стихи, он словно делает шаг по площади. Жест отведенной в сторону левой руки с раскрытой ладонью как будто призывает оглядеться и убедиться в том, что город-сад действительно построен. Об этом свидетельствует архитектурно-пространственный контекст: перспективы улиц, облик близлежащих зданий, выполненных в стилистике сталинской неоклассики.

Кадры кинохроники зафиксировали манеру Маяковского читать стихи, сжимая кепку или рукопись правой рукой либо зацепившись большим пальцем руки за карман брюк, как на нашем памятнике. Но в отличие от известного московского монумента А. П. Кибальникова, изобразившего Маяковского поэтом-трибуном, наш Маяковский решен без излишнего пафоса, как поэт-гражданин. Творчеству Б. А. Пленкина было присуще романтическое мироощущение — такое это было замечательное время. Он и образы рабочих «приподнимал». Скульптор передал портретное сходство, естественную непринужденность движения, но в более мягкой пластике, чем у Кибальникова, просчитав силуэтную выразительность и меру необходимой динамики.

В 1978 г. памятник поэту городские власти впервые побеспокоили, решив передвинуть ближе к ул. Орджоникидзе по градостроительным, техническим причинам. Сменили постамент, к которому добавили по-

диум, чтобы приподнять фигуру, что вполне было оправдано усложнившейся транспортной ситуацией. Но приключения памятника на этом не закончились. Позже постамент ободрали: ходили слухи, что не хватило именно этого цвета плит для некоей небольшой, но особо охраняемой гостиницы на ул. Кирова. Постамент отреставрировали не без тревожных выступлений журналистов спустя несколько лет.

Личная же судьба народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, лауреата Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина сложилась вполне благополучно: Б. А. Пленкин с 1957 г. начал принимать участие во всех художественных городских, всесоюзных и республиканских выставках. Его скульптура была представлена за рубежом: во Франции, Италии, Германии, Дании, Финляндии, Венгрии, Китае, Монголии. Произведения Пленкина хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и во многих республиканских и областных музеях страны. Им создано 24 монумента.

Так что есть у новокузнецчан повод гордиться памятником В. В. Маяковскому — свидетельством нашей сложной истории, образцом высокой поэзии и изобразительного искусства.

Р. С. Для сравнения: памятник В. В. Маяковскому в Москве находится на Триумфальной площади. Фигура из бронзы высотой 6 метров на гранитном постаменте, который весит 85 тонн. На постаменте высечены строки из поэмы Маяковского «Хорошо!».

С 1948 г. лучшие скульпторы всей страны участвовали в конкурсе, состоявшем из четырех этапов и длившемся целых четыре года. В итоге скульптору А. П. Кибальникову и архитектору Д. Н. Чечулину было доверено начать работу. Растянулась она на шесть лет и завершилась только в 1958 г. Скульптор изобразил Маяковского в характерной для поэта позе оратора: пиджак распахнут, рука напряжена в энергичном жесте, волевое лицо и целеустремленный взгляд. Друзья и близкие, знавшие поэта, отмечали необычайное сходство памятника с оригиналом.

Перед установкой был сделан деревянный макет памятника в натуральную величину, который переставляли по площади, пока не было найдено оптимальное место.

Открытие памятника состоялось 28 июля 1958 г. После официальной части писатели, деятели искусств и поклонники поэта читали стихи и выступали с речами.

Так зародилась традиция Маяковских чтений: памятник стал местом встречи молодых поэтов, в том числе и запрещенных. Слушателей собиралось до 15 000 человек.

В 1965 г. по распоряжению властей проведение вечеров прекратилось. Но спустя 50 лет традиция возобновилась, Маяковские чтения стали знаковым явлением в культурной жизни современной Москвы.

«Огни над Бией» (Бийск) — литературный художественно-публицистический журнал Бийского отделения Союза писателей России. Издаётся с 2004 г. с периодичностью 4 номера в год. Учредитель — Бийское отделение СПР.

Алексей АРГУНОВ

СОВЕТСКИЙ РОК КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Актуальность

Почему эта статья актуальна? Очень просто: наследие советского рока плохо осознаётся и музыкантами, и поклонниками, и критиками. Взбудоражив поколение в 1980-х, советский рок, как ни странно, так и остался по большому счёту непонятым явлением. Между тем прозрения советских рокеров и сегодня, может быть, не менее важны. Попробуем разобраться.

Иной взгляд

Чтобы понять советский рок, его нужно изучать не как искусство, а как явление социальное. Что это значит? Целью искусства является создание эстетических объектов (стихов, песен, картин и так далее). Называя советский рок социальным явлением, я имею в виду, что конечной целью рокеров было создание образа жизни. Впрочем, ранее сами музыканты и говорили, что рок — это образ жизни. Проще говоря, советский рокер брал гитару в руки не для того, чтобы создать шедевр искусства, а чтобы жить иначе.

Другими словами, чтобы понять советский рок, нужно найти, что нового он внес в образ жизни советского общества, как он его изменил. Советский Союз был государством моноидеологическим. «Единственно верная» идеология правящей Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) проникала во все поры общественной жизни, регламентируя даже сферу межличностных отношений. Вся без исключения деятельность в обществе была подчинена одной цели: строительству коммунизма под руководством КПСС. Данная цель, по мысли идеологов, должна была быть смыслом жизни каждого человека.

Рок в СССР зародился под влиянием западной рок-культуры. Молодёжь, подражая зарубежным звездам, стала создавать свои коллективы и исполнять песни: сначала чужие, потом свои. Некоторые группы пытались согласовывать свое творчество с господствующей идеологией, поднимая темы гражданственности, борьбы за мир и так далее. Это был своеобразный компромисс: эти темы присутствовали в произведениях заграничных кумиров, но были созвучны и советской идеологии. Однако не



эти группы сыграли главную роль в изменении сознания советской молодежи и не они создали образ жизни, о котором я собираюсь говорить. Итак...

Другие

Довольно большая часть молодежи СССР 1970—1980-х гг. чувствовала свое отличие от советской общественной системы, не осознавала себя частью этой системы. И это ощущение отстраненности, чуждости было присуще также и тем, кто впоследствии стал рокером. Однако это чувство обычно выветривалось по мере социализации, по мере втягивания в ту или иную общественную деятельность. Словом, недостаточно чувствовать себя другим, нужно им стать.

Известно, что определяющее влияние на образ жизни оказывает вид деятельности. Сочинение и исполнение рок-песен и было деятельностью, которая была не предусмотрена советской идеологией. Но эта музыка не была чем-то таким, с чем система не справилась бы. Нужно было лишь заставить музыкантов согласовывать свое творчество с господствующей идеологией. Так и появились ВИА, а затем и рок-группы, о которых я упоминал выше. Эти коллективы были ничуть не опасны для системы.

Отдать системе то, чего она не имеет

Почему же рокерам удалось действительно стать другими? Проанализируем их деятельность. Что, собственно говоря, делали советские рокеры? Они осмыслили советскую действительность через свое песенное творчество. Здесь еще нет новизны, потому что советское общество изучалось и учеными, и деятелями искусства. Но такие исследования были ограничены идеологическими рамками. Конечно, эти рамки преодолевались, расширялись. Но здесь важно другое: сами исследования осуществлялись с позиции, установленной самой идеологией. Поэтому зачастую преодоление идеологических границ лишь укрепляло идеологию. Если в результате этого внутри идеологии накапливались противоречия, то вряд ли они были фатальными для нее. Осмысление советской действительности рок-музыкантами не было согласовано с идеологией, то есть оно происходило с идеологически незаданной позиции. Таким образом, оказывалось, что можно мыслить вне идеологических рамок.

Конечно, в Советском Союзе существовало неконформистское искусство, но рок-музыка была искусством массовым, поэтому ее метод осмысления транслировался на значительно большую аудиторию. Также необходимо обратить внимание на то, что осмыслялась не только и не столько советская действительность, а собственное чувство чуждости. Таким образом, это чувство приобретало социально-онтологическую устойчивость. То есть сама деятельность — сочинение и исполнение песен — закрепляла ощущение: «Мы — другие». Если рассматривать деятельность как основу социальности, то становится понятным, что в советскую систему попал вирус: в обществе как системе деятельности появилась дея-

тельность, которая чужда системе, а значит, несовместима с ней. Чувство чуждости находит выражение в деятельности, и деятельность становится социально-онтологической базой для «посторонних людей».

Следует заметить, что рокеры не были оппозицией в привычном смысле слова, не сочиняли песен протеста. Во всяком случае, до времени перестройки. Они были именно чуждыми. А именно чуждость более опасна для социума, чем оппозиция. Оппозиционеру, чтобы быть оппозиционером, нужна власть как объект критики и борьбы, поэтому оппозиция, как это ни странно, способна в конечном счете укрепить власть. Рокеры, став иными, создали внутри советского общества свое пространство-время, свою собственную сферу социального взаимодействия, основав ее на своем ощущении чуждости системе. Следует опять же не упускать из внимания массовый характер этого искусства, который привел к тому, что пространство-время рокеров стало своеобразной воронкой, куда так или иначе втягивалось все больше и больше советской молодежи. Возникали не только новые группы (довольно значительная часть из групп нового перестроечного поколения была догматически подражательна), но в эту сферу втягивались и немусыканты: организаторы концертов, рок-журналисты и так далее.

«У нас все переходит на самостоятельную основу: сами шьем себе штаны, сами поем себе песни, сами начнем снимать о себе фильмы... и сами, наверное, скоро запустим космический корабль... все сами, ездим автостопом...» — говорил Александр Башлачев, предворяя одну из своих песен во время выступления в Новосибирске. Словом, внутри советского общества возникла иная реальность. Советским рокерам удалось найти трещину в советской системе.

Возможность становится очевидной, когда она реализуется. Советские рокеры своим творчеством указали советским людям на возможность мыслить и жить иначе, на возможность других, не навязанных идеологией, смыслов. Советский рок обнаруживает внутри системы пространство свободы, свободы от идеологии. Свобода становится даром обществу. Но как эта свобода обретается? Свобода обретается через несанкционированное обществом созидание, то есть такое созидание, которое предполагает создание чего-то такого, что не предусмотрено системой, поэтому такое созидание не есть восполнение каких-то лакун, пустот, а именно отдавание того, чего система не имеет, и чтобы система могла это принять, ей нужно было измениться. Именно такое созидание и было социальным смыслом существования советских рок-музыкантов, а чувство свободы стало следствием этого несанкционированного обществом созидания.

Кроме того, «жить иначе» означает следующее: в советском государстве в этот период уже сформировалось советское общество потребления, а советский рок стал альтернативой ему, он оказался своеобразным обществом созидания. Советский рок предлагал стать созидателем, то есть жить не для того, чтобы брать, а для того, чтобы отдавать. «...Что я могу еще сказать, что я могу еще отдать, помимо песен, которые пою? И я пою. ...И вряд ли я смогу отдать им что-нибудь еще» (Ю. Наумов, «Что я могу еще сказать»).



Им — то есть людям, которым автор скромно признается в любви: «Я иногда любил людей». В творчестве рокеров возникает гуманистический пафос. «Жизнь не простит только тем, кто думал о ней слишком плохо», — говорит А. Башлачев в одной из своих песен. Жизнь человека обретает смысл и достоинство, только если она обращена к другому, если она наполнена любовью и созиданием. Именно поэтому внешне благополучная жизнь музыканта, отказавшегося от своего таланта, становится для него ненавистной.

Советский рок можно назвать советским несоветским явлением. Советским явлением его можно назвать, потому что возникает в советской стране. Возникновение и существование в советских условиях определяет его своеобразие. Несоветским явлением рок становится, потому что не совпадает с идеологией КПСС и становится чуждым социальным явлением для существующей системы. Смысл существования рокеров выпадает из советского времени-пространства. «Я внебрачный сын Октября», — пелось в песне группы «Наутилус Помпилиус». Я думаю, что это точный образ.

Ответственность за другого

Позиция чуждого утверждается в отдавании обществу того, чего оно не имеет. Поэтому стремление не совпадать с обществом, продолжать быть иным означает ответственность за содержание своего послания. Более того, данная ответственность оборачивается ответственностью за другого. Почему?

Рассчитывают, что послание, отправленное другому, дойдет до этого другого (иначе незачем его посылать). Свидетельством того, что оно доходит до другого, является изменение другого. Н. Гнедков («Идея Фикс»), обращаясь к солдату, погибшему на афганской войне, поет: «Прости меня, парень, прости». Что это вдруг? Что это он извиняется? Не он же отправил его в Афганистан, не он затевал войну и вряд ли мог помешать и войне, и отправке солдата. Откуда чувство вины? Многие ли среди молодых людей того времени его испытывали? Такое пробуждение совести и есть следствие чувства ответственности за общество. Ответственность за другого — это серьезное испытание для автора послания. Отправляя посыл, автор ждет изменения другого. Если другой не изменился или изменился не так, как предполагалось, то в таком случае можно эти недостаточные изменения или отсутствие изменений толковать как недостаток своего послания. С другой стороны, если другой изменился и стал подобным автору послания, то это означает, что автор послания утратил позицию чуждого, иного по отношению к другому. Здесь возникает почва для множества метаний, разочарований, депрессий, ранних смертей и так далее.

Хотя возможен и другой путь: Анна Герасимова («Умка и Броневинок») распустила свою группу, чтобы не участвовать в так называемом перестроечном роке. Это сознательный отказ от ответственности за другого. Другого надо предоставить самому себе. «Чем смешней артисту в одиночку, тем для современника печальней». Единства между артистом и современником, по ее мнению, нужно всячески избегать.

Именно поэтому в творчестве советских рок-музыкантов много противопоставлений себя другому («Эй, ты, там, на том берегу...» — «Алиса»), стремления к созиданию («Помни: ты здесь не зря. Дарит уста заря — песню оставить». — «Ревякин и соратники»), ответственности («Мне очень стыдно, когда не видно, что услышал ты все, что слушал». — А. Башлачев). Но чтобы ясно это видеть, нужно научиться отличать инвариант от конкретных ситуационных наслоений на него. Например, «Калинов Мост» поет: «Жаждой звали свидетелей неба, жаждой пели...» Можно понять это следующим образом: в порыве, вызванном духовной жаждой, искали людей с религиозным опытом. Но в таком случае можно не заметить инварианта. «Свидетели неба» здесь люди иного (подлинного) существования. И уже не важно, с чем это иное и подлинное существование отождествляет в данный момент автор. Песня указывает на стремление быть иным.

Вывод

Итак, советский рок есть социальное явление, суть которого — стремление выйти из-под контроля тоталитарной идеологии, потому что бытие человека (по представлениям советских рокеров) несводимо к каким-либо идеологическим конструкциям. Иначе говоря, человек — это не винтик. Это стремление не осталось только стремлением, а действительно было осуществлено. За счет чего? Опыт советского рока показывает, что из винтика превращаются в человека в результате несанкционированного общественным созиданием. Советский рок можно назвать обществом созидания.

Еще раз об актуальности

В современном так называемом обществе потребления (полностью противоположном по духу советскому року), в общем-то, создана тоже тоталитарная идеология. Хотя это тоталитаризм иного рода. Потребительская идеология не насаждается властью, а растворена в повседневности, в самой ткани общества. Рыночная экономика (капитализм) стремится все превратить в товар или услугу (включая протест против капитализма и общества потребления), то есть в объект потребления, в том числе любовь, дружбу и прочие, казалось бы, неэкономические объекты.

Например, современная девушка может рассуждать так: «Мне нужен для отношений и брака надежный мужчина, потому что ненадежного может понести не туда, что отразится на моей репутации и репутации семьи и в конечном счете на моих доходах и доходах семьи». Я лично слышал подобное высказывание.

Другими словами, деньги — это мера даже личных отношений. Вспоминается древний поэт Феогид: «Деньги — это человек». А в мире, где все является объектом потребления, человек тоже становится не более чем объектом потребления. К наследию советского рока стоит обратиться хотя бы для того, чтобы еще раз задуматься над проблемой человека и не оставаться только объектом потребления.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

«НЕ БОЙТЕСЬ ХВАЛЫ, НЕ БОЙТЕСЬ ХУЛЫ...»

По поводу одного двойного юбилея

К сожалению, в сознании отечественного читателя и зрителя Новосибирск занимает излишне скромное, не соответствующее его действительному значению место. Но есть в его истории событие, ставшее знаковым для нашей культуры и истории. Речь идет о мероприятии с неприметным названием «Праздник песни», прошедшем весной 1968 г. в Новосибирске. Широкой публике оно известно как «фестиваль бардов». Его, безусловно, центральный эпизод — выступление Александра Галича.

Один из новосибирских журналистов следующими словами определяет значение этого события:

Никто не может усомниться, что события марта 1968 г. имеют непреходящее значение в истории современной русской культуры, в истории Новосибирска, в истории новосибирского академического центра. А центральной фигурой в этом событии был Галич¹.

Немного подумав, автор повышает градус и называет выступление Галича уже «мировым событием», что в перспективе предполагает внесение корректив в историю человеческой цивилизации как таковой. Подобное сверхкомплиментарное отношение к фигуре поэта следует рассматривать не как исключение, но скорее как следование правилу. Например, В. И. Новодворская мастерски сумела превзойти предложенный новосибирским автором уровень оценки, вроде бы и так уже высочайший, предложив следующую формулировку: «Секрет Галича — в его библейских масштабах»². На этом фоне Д. Быков, известный размахом своих суждений и мнений, выглядит неожиданно скромно:

Галич продолжает прикасаться к самой черной язве. По-прежнему мы не понимаем, как можно все знать и с этим жить. По-прежнему он — наша больная совесть³.

¹ Лихоманов И. Вернется ли Галич в Новосибирск // «Честное слово», 2003, № 31.

² Новодворская В. Поколение обреченных // «Медведь». Мужской журнал для чтения. Электронная версия: http://www.medved-magazine.ru/articles/article_49.html.

³ Быков Д. Один. Сто ночей с читателем. — М.: АСТ, 2017.

Обозначенному «мировому событию» в нынешнем году исполняется пятьдесят лет. Но это еще не все. Также 2018-й — год, на который приходится и вековой юбилей самого А. А. Галича. Подобное «сочетание звезд» дает повод не просто сказать дежурные слова, но и с позиций нашего времени, на расстоянии попытаться заново увидеть и понять как события весны 1968 г., так и особенности личности и творчества А. Галича. Для решения последней задачи обратимся к книге М. Аронова «Александр Галич. Полная биография», вышедшей в 2012 г. в издательстве «Новое литературное обозрение» солидным для нашего времени двухтысячным тиражом. Объемный, почти девятисотстраничный труд содержит практически все известные факты и свидетельства о жизни и творчестве поэта и драматурга.

Здесь необходимо сделать отступление, касающееся специфики написания биографических книг. Как правило, их авторы выбирают одну из двух стратегий. Первую можно условно назвать апологетической: в ее рамках герой наделяется всеми возможными, а иногда и объективно невозможными положительными качествами. Технически это осуществляется с помощью «творческой компоновки» фактического материала, позволяющей игнорировать или ретушировать «неоднозначные» события из жизни своего персонажа. Кое-что можно и «пересмыслить», «предложить интерпретацию». Благодаря последнему алкоголик становится «жертвой мучительного разлада с действительностью», распутник превращается в «личность, остро чувствующую женскую/мужскую красоту». Представители второго подхода — критического — с помощью тех же самых инструментов создают негативную версию биографии, пристрастно толкуя порой самые безобидные эпизоды из жизни своих, не побоимся этого слова, невольных жертв.

Книга М. Аронова в этом отношении является редким примером преодоления названной полярности. По внешним признакам она относится к апологетическому направлению. Автор испытывает нескрываемую симпатию к своему герою, названному в аннотации «самым гражданским поэтом второй половины XX века», «ярым обличителем существующего режима». Дурную шутку с автором и его намерениями сыграла та самая полнота биографии, оказавшаяся вовсе не художественным преувеличением. Аронов старательно и с любовью собрал впечатляющий корпус материалов, касающихся жизни и творчества Галича. Весь этот массив свидетельств и документов в итоге получает свой собственный голос, выбивающийся из предложенной автором тональности. Образ «ярого обличителя» приобретает неожиданно глубину, которую вряд ли можно считать исключительно заслугой Аронова.

Попытаемся вслед за автором проследить этапы становления бунтарского духа поэта. Начнем с того, что сам А. Галич охотно называл себя сатириком, объясняя тем самым свое особое внимание к теневым сторонам жизни советского общества. Традиционно в русской литературе, как, кстати, и в мировой, сатирики были не просто обличителями социальной несправедливости, моральных пороков современного им общества. Прежде всего они открывали несовершенство собственного личностного начала, несовпадения его с высшими принципами. Вспомним Свифта, Твена, Зощенко... В случае же Галича мы имеем дело с удивительно приязненным отношением к самому себе, сочетающимся с настойчивым желанием погружать персты в общественные язвы. Галич прославился, в частности, как разоблачитель порочных нравов партийной верхушки, жирующей за высокими заборами:



На столе у них икра, балычок,
 Не какой-нибудь — «КВ» коньячок,
 А впоследствии — чаек, пастила,
 Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»...

* * *

А за семью заборами,
 За семью запорами,
 Там доклад не слушают —
 Там шашлык едят⁴.

При обращении к биографии природа праведного гнева поэта раскрывается с неожиданной стороны. В 1942 г. выпускники студии Арбузова, среди которых был и А. Галич, решили организовать фронтовой театр. Было подано соответствующее ходатайство в Политическое управление Красной армии. С целью показать всю серьезность своих намерений будущие фронтовые артисты отправляются в турне по Средней Азии. Интересный, заметим, выбор. Но для Галича эта поездка имела особое значение. В Ташкенте жили его родители, эвакуированные из Москвы. Отец поэта еще до войны являлся крупным «специалистом по снабжению», обеспечивая продовольствием московских писателей. Таланты Галича-старшего нашли свое применение и в новых суровых условиях. С. Г. Хмельницкий, известный историк архитектуры и поэт, много лет спустя вспоминал о своем посещении дома родителей Галича. Молодой студент, учившийся в Московском архитектурном институте, Хмельницкий оказался в эвакуации в том же Ташкенте. Доведенный голодом до крайней степени отчаяния, он обращается по совету матери к ее старым знакомым. Просим прощения за обширное цитирование, но оно того стоит. Итак:

Когда вид затирухи и джиды стал мне окончательно невыносим, я пошел к Гинзбургам. И попал в мир, почти невероятный по тому времени и месту. Чета Гинзбургов занимала половину большого особняка. И были они пожилыми, лет эдак пятидесяти. Их дом был как волшебный остров среди враждебного и опасного моря: обильная, отборная еда, напитки, чистый сортир, просторные и хорошо обставленные комнаты. Всё как бы из недалекого, но безвозвратного прошлого. А за большим столом, застланным белой скатертью, сидели знаменитые люди — литераторы, режиссеры, актеры... Я запомнил толстого режиссера Лукова, творца фильма «Большая жизнь», и Алексея Толстого, — он недавно сказал по ташкентскому радио, что счастье, которое человечество безуспешно искало тысячи лет, наконец найдено и надежно хранится в ЦК партии. Хозяева были со знаменитостями почтительны, но не лебезили. Знали себе цену. Они, видать, и прежде были хлебосольными, и теперь могли себе позволить пиры во время чумы: товарищ Гинзбург занимал какой-то высокий пост в системе снабжения населения, супруга была в его кадрах. Как-то она, смеясь, рассказала, как недовольный ею проситель пригрозил, что пожалуется ее начальнику, и скис, услышав, что начальник — ее муж⁵.

Напомним, на дворе осень 1942 г.: Сталинград, приказ № 227 «Ни шагу назад!».

⁴ Здесь и далее стихи цит. по книге: Галич А. Когда я вернусь. — Посев, 1986.

⁵ Аронов М. Александр Галич. Полная биография. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. Далее все не снабженные сносками цитаты относятся к указанной книге.

Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц
И не верить ни в чистое небо,
Ни в улыбку сиятельных лиц.

Правильные слова писал Александр Аркадьевич...

Вскоре Хмельницкий познакомился и с приехавшим «фронтовым артистом», который поразил его своей выхоленностью и высокомерием. Кстати, ответим на вопрос: почему «фронтowej артист» не был просто фронтовиком, как большинство его сверстников? У автора простой и ясный ответ. «Призвали в армию и Сашу Гинзбурга, но уже первые три врача — терапевт, окулист и невропатолог — признали его негодным и освободили от службы». Вот так, сразу три врача, включая невропатолога... Кто тогда смеялся, неизвестно. Уже эти два эпизода заставляют задуматься: по какую *сторону забора*, собственно, находился Александр Аркадьевич? Испытывал ли он раскаяние лично за себя и своих близких? Где здесь «большая совесть»?

Символично, что «военная биография» Галича имела свое продолжение. Д. Быков в книге о Б. Окуджава приводит следующее высказывание «певца арбатских переулков» о Галиче:

В августе 1995 года я спросил Окуджава, стал ли он, подобно Нагибину, с годами выше ценить песни Галича. Он ответил, что высоко ценил их с самого начала, «а вот человек он был сложный. Непростой, да, непростой». И после паузы добавил: «Например, он не воевал, не был на фронте. А говорил, что воевал. Зачем?»⁶

Быков отмечает, что Окуджава высказывает претензию Галичу от лица воевавших. Неприятный момент заключается в том, что сам Окуджава уже в пост-перестроечное время, уточняя свою военную биографию, говорит следующее:

Я вообще в чистом виде на фронте очень мало воевал. В основном скитался из части в часть. А потом — запасной полк, там мариновали. Но запасной полк — это просто лагерь. Кормили бурдой какой-то. Заставляли работать⁷.

Конечно, как бы ни относиться к сказанному, Окуджава вызывает уважение хотя бы за то, что честно тянул свою солдатскую лямку. Особенно на фоне трех справок «большой совести». Но в целом это свидетельствует о родовой травме шестидесятников. Претензии на искренность, отказ от пафоса, присущего тогдашней советской литературе, соединяются с созданием личной мифологии, представлявшей собой не просто игру творческого сознания. За этим стояли вполне прагматические задачи: без яркой биографии трудно было рассчитывать на внимание капризной публики, а следовательно, на успех. Просто кто-то это делал топорно, не оглядываясь на такую «мелочь», как действительность, а другие использовали фигуры умолчания.

В любом случае Галич нуждался в биографии, которую не могли заменить легко опровергаемые выдумки и фантазии. Дефицит времени диктовал свои правила. Нужен был образ, а для него — образец. Обратимся вновь к книге Аронова.

⁶ Быков Д. Булат Окуджава. — М.: Молодая гвардия, 2011.

⁷ Там же.



После отъезда Максимова Галич, по словам Войновича, «осиротел». Подошел к нему и, поскольку западные радиостанции не баловали их частыми упоминаниями, предложил: «Знаешь что? Давай шуманем!» — «А что, по какому поводу?» — интересуется Войнович. «Ну, какое-нибудь заявление сделаем иностранным корреспондентам». — «На какую тему?» Галич подумал и предложил: «Ну, например, знаешь, вот советскую водку очень плохую делают. Давай сделаем заявление, что народ травят». — «Так нас же с тобой первых травят!» На этом все и закончилось: «Вот так, значит, мы не шуманули и про водку никаких заявлений не сделали, продолжали ее пить сами».

Данный эпизод прекрасно иллюстрирует размышления Б. Н. Чичерина — русского философа XIX в. — о природе и видах отечественного либерализма.

Нижшую ступень занимает либерализм уличный. Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно колышется и негодует уличный либерал. Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон ему ненавистно. Он приходит в неистовый восторг, когда узнает, что где-нибудь произошел либеральный скандал, что случилась уличная схватка в Мадриде или Неаполе: знай наших! Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего, что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни, — от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства⁸.

Как мы видим, интуитивно Галич буквально воспроизводит модель поведения и мышления, описанную задолго до его рождения.

Галич любил рассказывать о том, как он «перестал быть холуем», отказавшись от роли успешного, признанного драматурга. Но подлинный конфликт заключался вовсе не в том, что Галич сначала стал частью официальной культуры, а потом «бросил вызов системе». Правда в том, что он изначально был ее частью, принимая и потребляя социальные блага и привилегии «по праву рождения». А вот причина «конфликта с системой» становится ясной, если вновь обратиться к истории семьи поэта. В конце сороковых годов отца Галича арестовывают. Снова предоставим слово М. Аронову.

В 1949 году взяли его отца Аркадия Гинзбурга, который тогда работал в сфере снабжения Москвы продуктами. Правда, арестовали его не по политической, а по хозяйственной статье (172-я ст. УК РСФСР — «халатность»), и поэтому родные приняли решение его выкупить.

История завершается, в общем-то, счастливо: Аркадия Самойловича успешно освобождают с помощью опытного адвоката, который, по словам дочери Галича, «дал взятку соответствующим лицам». Свою лепту в «фонд свободы» вносит и благодарный сын в виде гонорара за пьесу «Вас вызывает Таймыр». Но «сфера снабжения Москвы продуктами» оказывается для Аркадия

⁸ Чичерин Б. Н. Различные виды либерализма. — М., 1862.



Самойловича закрытой. Поэтому до самой пенсии Галич-старший прозябает на должности директора швейной фабрики Промкооперации № 23. Это факт личный, семейный, жгучий. Но на нем нельзя «сделать песню», предъявить обществу. Скорее всего, не поймут. Поэтому нужны «инвестиции в биографию» — с быстрой оборачиваемостью.

Подобным вложением и становится диссидентство, к которому Галич обращается осознанно. Дело в том, что природа его несомненного, но сугубо комедийного драматургического дарования не позволяла убедительно разворачивать острые, конфликтные сюжеты. При этом сам Галич пытался использовать их элементы еще в додиссидентский период. Отечественный киносценарист, современник Галича А. Симуков отмечал инородность попыток утяжеления сюжетной линии на примере «Верных друзей».

Появляется совершенно сбоку припека длинный, нудный, хотя сильно драматический эпизод — пожар на колхозной ферме, обезумевший табун лошадей. Лилия Гриценко в роли колхозного зоотехника скачет впереди, пытаясь отвести табун от обрыва. Обезумевшие кони сворачивают. На их пути появляется работница фермы, которую они сбивают с ног и топчут ее⁹.

Попытки Галича начиная с конца пятидесятых годов написать актуальную для зрителя конфликтную современную пьесу проваливались одна за другой. Поэтому, не сумев встроить конфликт в драматургическое пространство, в итоге Галич отказывается от драмы как таковой в пользу чистого конфликта. Крайней формой его выражения и становится диссидентство.

Являясь формальными антагонистами, диссиденты и советская власть совпадали в важном моменте — ключевом для понимания как места Галича в отечественной культуре, так и социальных процессов того времени. И те и другие представляли советское общество как некий монолит. Одни видели или хотели видеть себя одинокими поборниками свободы, говорящими от имени «бессловесного большинства». Власть рассматривала диссидентов как отщепенцев, маргинальное положение которых подчеркивало единство советского народа. Ошибались и те и другие. Именно в 60—70-х гг. усиливается процесс расщепления в советском обществе. Он совпадает с подъемом благосостояния, затронувшим почти все его слои. Массовые репрессии прошлых десятилетий были «решительно осуждены» партией, которая объявила себя их первой жертвой; чувство страха сменилось эйфорией от почти наступившей свободы. У отдельных социальных групп возникает, говоря марксистским языком, собственное классовое сознание. Одной из таких передовых социальных групп являлась техническая интеллигенция.

Если обратиться к культуре шестидесятых годов, то мы без труда обнаружим, что привычные образы «пламенных революционеров» и комсомольских вожakov с беспокойными сердцами уже не занимали ведущих позиций. С экранов кинотеатров и со страниц книг шагнули новые герои — физики, инженеры, реабилитированные кибернетики. Пытливо прищуриваясь, они овладевали тайнами природы, попутно демонстрируя самые высокие моральные качества: отказ от карьеры, счастливой семейной жизни да и от жизни как таковой во имя «чистой науки». Вспомним такие фильмы, как «Девять дней одного года», «Иду на грозу», книги В. Аксенова, Д. Гранина, Д. Данина. Параллельно в об-

⁹ Симуков А. Чертов мост. — М.: Аграф, 2008.



шестве начинают формироваться системы, лишь опосредованно или формально подчиненные идеологическим установкам и контролю. Не стоит забывать, что А. Д. Сахаров и И. Р. Шафаревич, занявшие ведущие позиции в диссидентском движении, обозначив его фланги: либеральный и националистический, — выходцы именно из академической среды.

Среди этих потенциальных «центров силы» важное место занимал новосибирский Академгородок. Сосредоточенность на решении вопросов, связанных как с фундаментальными проблемами научного знания, так и с задачами оборонного характера, географическая удаленность от столицы создавали действительно особую атмосферу свободы и творчества. Сюда за «биографией» — показать себя и получить одобрение того самого центра силы — и прилетает Галич. М. Аронов подробно рассказывает о предыстории фестиваля, его проведении, включая те мелочи, которые и позволяют реконструировать как события, так и мотивы намерений и действий. На фестиваль не прилетели многие известные исполнители, понимавшие возможную интерпретацию их участия. Прямо и точно об этом высказался Ю. Визбор, отказавшись петь «на десерт у академиков». Сам Галич также не хотел быть «десертом у академиков». Он рассчитывал на место в меню в качестве главного блюда. С этой целью он идет на нарушение джентльменского соглашения с организаторами фестиваля — не петь антисоветских песен.

Срыв договоренности иногда объясняется известной тягой Галича к алкоголю.

Ким приводит рассказ Юрия Кукина, который оказался свидетелем следующего эпизода: «Перед самым выступлением Галич прошел в буфет и там хлопнул полный стакан водки. Внешне это на него не подействовало, но плечи его расправились. Он вышел к микрофону и спел все поперек того, что он заявил».

Позже сам Галич объяснял свой поступок тем, что «не мог не петь». В автобиографической повести «Генеральная репетиция» он пишет об этом так:

Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню «Памяти Пастернака», и вот, после заключительных слов, случилось невероятное — зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным, это мгновение!¹⁰

Согласимся, что эти слова трудно приложимы к формуле, предложенной Кукиным: выпил — расправил плечи — спел. Перед нами скорее описание триумфа — подготовленного, а потому и неслучайного. В конце восьмидесятых новосибирские документалисты сумели восстановить, казалось бы, утраченные навсегда кадры того самого выступления Галича в Академгородке. Они ценны тем, что поэт на них исполняет как раз песню «Памяти Пастернака», после которой, как мы уже знаем, все «встали и молчали». Позже эта съемка стала частью документального фильма «Запрещенные песенки». Сейчас он выложен

¹⁰ Галич А. Генеральная репетиция. — М.: Советский писатель, 1991.

в свободный доступ и любой желающий может посмотреть его. Помимо выступления самого Галича, мы можем видеть и других участников фестиваля. Различие более чем явное. Если «просто участники» чувствуют себя, мягко говоря, неуверенно как перед камерой, так и перед аудиторией, то Галич демонстрирует навыки опытного эстрадника. Живая мимика, интонационные особенности очень сильно напоминают манеру выступления А. Вертинского, с которым Галич был хорошо знаком. Но театрализованная форма ариеток органична материалу, с которым работал Вертинский. Про «девчонку — звезду и шалунью» и «лилового негра с манто» по-другому петь сложно. В случае же Галича «бананово-лимонная» подача текста, пропитанного «гражданским гневом», вызывает недоумение.

Пунктирно напомним собственно историю опалы Пастернака. В массовом сознании это выглядит примерно так. Пастернак написал честный роман о Гражданской войне и «страданиях интеллигенции». В силу честности он не мог быть напечатан в Советском Союзе. Автор был вынужден передать текст заграничному издателю. Это и стало причиной травли поэта, приведшей его к преждевременной смерти. Ясная и простая картина. Теперь перейдем к деталям, которые, как правило, никому не интересны, но в которых и скрывается непростая правда. Роман *предназначался* для советской печати и должен был быть напечатан в «Новом мире» в 1956-м. Книга не была подпольной. Более того, ее анонсировали по радио, в журнале «Знамя» были опубликованы стихи из романа с кратким изложением его сюжета. Шла редакционная работа под руководством К. Симонова — главного редактора «Нового мира». Неожиданно для всех, а может быть и для самого себя, Пастернак летом того же 1956 г. отдает рукопись представителю итальянского издательства Фельтринелли. В итоге пострадал не только сам Пастернак, но и редакция журнала, которая до последнего работала над текстом, пытаясь создать вариант «Тихого Дона» для интеллигенции. Естественно, что это не оправдывает последовавший вал оголтелой критики в отношении романа и его создателя, но помогает понять механизм так называемой «травли поэта», в реальности представлявшей собой показательную жесткую реакцию власти на нарушение Пастернаком негласных правил игры. Сквозила в этом также очевидная растерянность, ведь действовать следовало не прибегая к «социалистической законности». Вот откуда мощное идеологическое сопровождение, включая ритуальные письма трудящихся и собрания «общественности», призванное дать урок всем возможным слушникам.

Нетрудно заметить, что выступление Галича есть, в сущности, повторение действий Пастернака в сниженном, почти пародийном, как всякое повторение, виде. Последовавшее закручивание гаек в отношении академовских вольнодумцев во многом обязано «благословенному мгновению» Галича, который об этом никогда не вспоминал...

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы — поименно! — вспомним всех,
Кто поднял руку!..
<...>
Вот и смолкли клевета и споры,
Словно взят у вечности отгул...
А над гробом встали мародеры
И несут почетный ка-ра-ул!





Теперь зададим вопрос: от лица кого собрался составлять проскрипционные списки А. Галич? Согласимся, что «не забудем», «поименно вспомним всех» больше всего напоминают лексику тридцать седьмого года. Напомним слова Б. Н. Чичерина, срабатывающие в случае Галича с точностью химической формулы: «Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов». Зададим следующий вопрос: где находился и что делал сам составитель списков в черные для его кумира дни? В 1955-м Галич становится членом Союза советских писателей. В этом же году он покупает кооперативную квартиру. Осенью 1958-го, когда, собственно, и начинается антипастернаковская кампания, в театре ставится его пьеса «Пароход зовут "Орленок"». Пьеса, как и постановка, приурочена к сорокалетию комсомола. Сразу же начинается вдумчивая работа над пьесой «Коммунисты, вперед!». И все. Никаких писем протеста, заявлений. Через два года после исключения Пастернака из Союза писателей Галич отправляется в первые zahraniчные командировки (Норвегия, Швеция, Франция), которые были бы невозможны при малейшем подозрении в политической нелояльности. Во Францию он, кстати, повторно приезжает на полгода в 1965 г. Солидный срок пребывания в свободном мире имел несколько важных последствий, среди которых Аронов указывает на следующее:

За время этой командировки Галич заработал кучу денег, в магазинах на бульваре Сен-Жермен накупил себе шикарных вещей — кашемировое пальто, шапку «пирожком».

Отметим, что такие шапки любили носить партийные функционеры среднего звена, о которых любил «остро» петь Галич.

Поэтому моральная позиция поэта, бросающего гневные слова обвинения, выглядит, мягко говоря, уязвимой. Но об этом, естественно, не знала публика, перед которой выступал Галич. Автор биографии указывает на новосибирский фестиваль как «точку невозврата», сделавшую невозможным компромисс власти и поэта. Это справедливо, но не в полной мере. Сам Галич не желал превращаться в диссидента. Как мы уже сказали, он рассчитывал получить особый статус, завоевав симпатии прогрессивной научной общественности. Чтобы не быть голословными, приведем свидетельство М. Г. Львовского — коллеги Галича по сценарному цеху, автора известной песни «На Тихорецкую состав отправится». Львовский задает ему вопрос: готов ли Галич к возможным гонениям со стороны власти?

Галич похлопал Львовского по плечу и уверенно сказал: «Нет, брат. Не те времена. Меня физики не дадут в обиду. Они меня любят. А физики, знаешь, — сила!»

Галич ошибся. После событий весны 1968-го советское руководство летом того же года было вынуждено ввести войска в Чехословакию. Об этом, конечно, не мог знать Галич, рассчитывавший, что курс на либерализацию после снятия Хрущева будет продолжен. Заметим по этому поводу, что историческая интуиция была не самой сильной стороной поэта. Он высказывался легко, широко, на любые темы. Сейчас мы можем видеть, насколько сбылись его прогнозы. Например, после выступлений в Эстонии Галич, по словам В. Фрумкина, про- рочит следующее:



Наутро говорим о том, что интеллигент — он везде интеллигент, что образованные эстонцы, судя по всему, не переносят ненависть к навязанному им режиму на русскую культуру и как своего принимают опального московского поэта.

Да, мы теперь знаем, как эстонцы, сбросившие оковы «ненавистного режима», *интеллигентно* относятся к русской культуре...

Так, не ожидая этого, Галич становится борцом с режимом. И эту роль он играет не без удовольствия, хотя и не без привычных ему сценических ошибок и перехлестов. После исключения из Союза советских писателей в 1972 г., а затем из Союза кинематографистов он уходит в «открытые диссиденты». Тогда и рождается миф о диких гонениях со стороны власти, который благополучно дожил до наших дней. Ядро этого мифа — утверждение о полуголодном, нищенском существовании Галича, пьесы которого были запрещены, сценарии заморожены, а имя смыто с киноленок. Живучесть мифа подтверждается словами автора биографии, который после цитирования дневника Галича, в котором фигурирует такая деталь, как продажа пальто, драматически восклицает: «Жуткая деталь, но вместе с тем и беспощадно характеризующая эпоху». Парадокс ситуации заключается в том, что приведенные самим Ароновым факты и свидетельства заставляют усомниться в подобной характеристике эпохи. Я. Голованов, общавшийся с Галичем в то мрачное время, фиксирует в своем дневнике любопытный факт:

Когда я заходил к Галичу, то обычно заставал его лежащим на тахте. Он и стихи свои, и все прочее сочинял на тахте, мысленно их редактировал, потом вставал и записывал набело. Помню, что курил он всегда только сигареты «Kent», а я всегда «стрелял» у него эти сигареты. Где он их доставал, ума не приложу. Наверное, переплачивал спекулянтам.

Согласимся — «жуткая деталь». Следующее выразительное воспоминание. После исключения из писательского союза Галич снимает в Жуковке дачу у вдовы академика Вольского. Сначала этаж, а потом и полностью дом. В это время начинается чемпионат мира по шахматам. Поэт патриотично болеет за Фишера, игравшего против Спасского. Напряженный поединок заканчивается победой американского шахматиста.

У Галича, в прямом смысле слова, отлегло от сердца. Упал с сердца камень. По этому случаю Александр Аркадьевич закатил пир, устроил торжественный ужин. Произнес свое любимое ритуальное «Разрешите закушать», очень нравившееся теще.

Дача и пир, видимо, характеризуют уже «беспощадную эпоху».

Ради справедливости отметим, что не только автор биографии становится жертвой мифа. Современники бросились спасать опального поэта. Г. Свирский пишет о том, что тесть поэта, «старый большевик, а затем, естественно, многолетний зэк, который любил Галича, каждый месяц отрезал им сотенную от своей персональной пенсии в 250 рублей». Обратим внимание на символизм картины. Получается, что Галич получает деньги одновременно и в качестве «старого



партийца», и как «жертва репрессий». Не являясь ни тем ни другим. Спешат на помощь поклонники Галича из далекой Якутии. Приведем яркое свидетельство инициатора спасения.

Уже после всех исключений Галича Ямпольский в очередной раз прилетел к нему и предложил материальную поддержку: «Я, набравшись смелости, спросил: “Александр Аркадьевич, а как вы отнесетесь к тому, что мы учредим вам Якутскую стипендию? Мы с ребятами не раз об этом говорили”. Галич помолчал. Прошел по комнате. Глаза грустнющие!.. Сказал негромко: “Ну что ж, Володенька, дела у меня хреноватые. Выпендриваться не буду...”»

Сошлись на 200 рублях ежемесячно. Поэтому не выглядит странным следующее занятие обреченного на нищету поэта: «Он скупает или просто забирает у друзей, уезжающих за границу, мебель и всякого рода антиквариат». И не удивительной, а закономерной выглядит картина подготовки к отъезду за границу: «Галич окончательно распродает свои книги, вещи и мебель (в его квартире была дорогая мебель из красного дерева)». Как мы видим, явные противоречия не смущают автора. Важнее следование концепту с неизбежным гегелевским рефреном: «тем хуже для фактов».

М. Аронову в финале книги очень захотелось, чтобы смерть Галича носила особо драматический, можно даже сказать, сценический характер, что вновь противоречит представленному фактическому материалу. Как ни странно, рассказ о недолгих годах Галича в эмиграции рождает эффект, которого так долго добивался автор. Возникает сочувствие. Оно основывается на том, что в формально свободном мире Галич оказывается никому особо не нужным. Кочевание по радиостанциям, городам и странам, участие в конвентах и конференциях не могли заменить той силы воздействия, которая осталась в прошлом. «Если бы Галич был священником, я бы наверняка стал верующим», — пишет в своих мемуарах В. Ямпольский, инициатор известной нам «якутской стипендии» Галича. Эти диковатые слова могли быть произнесены только в России. На расстоянии способности *так* влиять на людей у Галича не было. Он стремительно старел, погружаясь в быт и дрязги узкого эмигрантского сообщества, на фоне которого даже чиновники от литературы в СССР выглядели почти шекспировскими персонажами. Тогда-то у Галича глаза и становятся по-настоящему «грустнющими».

Так что вы уж слез не капайте,
И без них —
Душа враздрызг!
Мы живем на Диком Западе,
Что — и впрямь — изрядно дик!

К сожалению, автор не заметил этого внутреннего конфликта, предлагая читателю, как ему кажется, эффектную версию о спланированном КГБ убийстве. Следует ряд весьма косвенных доказательств и свидетельств. Среди последних выделяется ссылка на такой авторитетный источник, как Никита Джигурда, что сразу обрушивает все и без того сомнительные авторские построения. Нам кажется, что Галич подобной «джиги» все же не заслуживает.

Естественно, мы не собираемся, вооружившись калькулятором, подбивать итоги, сводить цифры, факты, свидетельства в общую ведомость. А если говорить шире, то не ставим своей целью разоблачить Галича, вычеркнуть его имя из

истории отечественной словесности. Речь идет о другой важной проблеме. Религиозная составляющая русской литературы имеет свое выражение не только в ее метафизических исканиях, во внимании к нравственным вопросам. Эта ее светлая, всем нам приятная сторона. Но на темной половине мы наблюдаем присутствие духа сектанства, нетерпимости по отношению к чужому взгляду и мнению, которые трактуются в лучшем случае как ущербные, требующие исправления. И здесь представители формально либерального направления во всей полноте раскрывают свой внешне не реализованный религиозный потенциал. По отношению к «своим» это приводит к использованию лишь одной краски — белой и одного жанра — жития, после чего с почти церковной неизбежностью следует канонизация.

При этом образ мученика перекрывает и подменяет его творчество как таковое, которое также выводится из зоны любой критики. Нам предлагают восхищаться стихами, романами, пьесами, которых никто не читает сегодня в силу их неизбежной литературной вторичности, слабо замаскированной позавчерашней актуальностью. Почитание, но не прочтение, что есть основное назначение литературы, основывается лишь на «героизме биографии», «гражданской позиции» и «библейских масштабах», призванных оптически увеличить фигуры весьма скромных размеров — лилипутов на цыпочках. Но мы слишком хорошо видим грубоватую, с излишним нажимом актерскую игру, аляповатые картонные декорации и отказываемся принимать их за реальность. Впрочем, об этом хорошо сказал другой поэт. Не столь социальный и библейский, как Галич, но тоже неплохой.

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.

Согласитесь, балаганчик получился отменным. Только верить в него и тем более участвовать в нем нам необязательно...



Сергей КУНЯЕВ

РУССКИЙ БЕРКУТ

Главы из книги*

С белой пеной смешивая тьму...

В конце апреля 1934 г. в Москве была сформирована писательская бригада, которую надлежало откомандировать в Таджикистан — для проведения в Сталинабаде серии заседаний по подготовке к Первому всесоюзному съезду писателей.

Состав бригады был довольно представительным. Возглавлял ее Бруно Ясенский. Под его непосредственным началом находилась группа московских писателей и журналистов: Виктор Шкловский, Михаил Зенкевич, Павел Васильев, Борис Лапин, Захар Хацревин, французский писатель Поль Низан, а также Садриддин Айни и Абулькасим Лахути. Лахути выполнял роль «проводника», гостеприимного хозяина и координатора мероприятий.

22 апреля в Сталинабаде прошло первое заседание бригады с участием местных писателей. Картина вскрылась совершенно удручающая. Писательские склоки как на литературной, так и на национальной почве, обиды на местных литературных начальников и московских переводчиков, искажающих смысл написанного, политические ярлыки — все это звучало, пенилось, бурлило, приводя гостей в замешательство. Достаточно

послушать несколько реплик, которые сохранила стенограмма, чтобы оценить ситуацию по достоинству.

Рахими. <...> Тарловский превратил меня в оппортуниста.

Абдуллаев. <...> По отношению к старым писателям был произведен левачкиный загиб... Писателей неправильно вычищали из союза, а оргкомитет за них не заступился.

Махмутова. <...> Я пишу на узбекском языке... Показала рассказ Садыкову, он посмотрел, говорит — оппортунизм, а почему оппортунизм — не рассказал.

<...>

Павел Васильев спрашивает — есть ли среди собравшихся критики. Происходит замешательство, и никто не признает себя критиком.

Короче говоря, обнаружилось, что в писательской организации Таджикистана (как, впрочем, и других азиатских республик) некому было даже провести профессиональный разбор написанного. Но дело обстояло куда хуже.

Стенограммы этих совещаний высвечивают один чрезвычайно интересный момент: полную потерю национальной литературой ее национальной специфики.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 5.

«Стариков», хранивших вековые традиции, из союза предусмотрительно вычистили, а оставшиеся «национальные кадры» полностью утратили тот колорит, который один и создавал неповторимое своеобразие таджикской (или узбекской, киргизской, туркменской) литературы. И защищать эту самую национальную специфику на глазах местных «националов» взялся... русский поэт.

О том, как это происходило, рассказала газета «Коммунист Таджикистана» от 27 апреля 1934 г.

23 апреля в Доме ИТР состоялся вечер молодого автора с участием бригады московских писателей. После чтения стихов, поэм и пьес началось обсуждение, тон которому задал Виктор Шкловский.

Шкловский. Таджикские поэты, осваивая наследие классической фарсистой поэзии, должны учесть богатейший опыт русской революционной поэзии, сумевшей в лице своих виднейших представителей (Маяковского, Багрицкого и др.) использовать старое литературное наследие для создания новой формы.

Поэт Павел Васильев отметил как один из недостатков молодой поэзии Таджикистана ее чрезмерную общность и отсутствие национальной специфики. Дехканин-ударник, изображаемый в произведениях многих молодых авторов, ничем не отличается от ударника любой другой республики, в то время как в действительности отличается не только своей внешностью и костюмом, но и тем сложным путем, который привел его из феодального кишлака на поля социалистического колхоза. По выражению тов. Васильева, поэзию Таджикистана необходимо одеть в таджикский национальный костюм.

Отвечая тов. Васильеву, писатель Bruno Ясенский предостерегал поэтов от увлечения чисто внешней «восточной» спецификой Таджикистана, излишнее увлечение которой заставило многих русских писателей, работавших на материале Средней Азии, удариться в поверхностный экзотизм.

Весьма характерная полемика. Спор идет не об «экзотизме», а о сохранении своего национального лица, но лишь один Васильев из всех присутствующих пытается назвать вещи своими именами. Газетный отчет, естественно, не передает эмоционального накала всего разговора, но можно предположить, что проходил он отнюдь не в академических тонах.

Имя Васильева уже было достаточно авторитетным в литературных кругах. Тот же «Коммунист Таджикистана» счел необходимым подчеркнуть, что в составе писательской бригады находится не просто рядовой литератор, но «автор поэм “Соляной бунт” и “Кулаки”». И этот автор парадоксальным образом вторгается с «таджикским уставом» в таджикский же «монастырь», напоминая собравшимся молодым «националам» об их национальном достоянии.

О том, что происходило в дальнейшем, у нас нет достоверных сведений, но можно предположить, что события развивались следующим образом: Садриддин Айни и Абулькасим Лахути попытались в приватном застольном разговоре объяснить Васильеву его «неправоту». Павел никогда не лез за словом в карман, а эта «воспитательная беседа», надо полагать, возмутила его до крайней степени. Результатом стал крупный скандал, следы которого обнаруживаются в бумагах Союза писателей.

Протокол № 8
30 апреля 1934 г.

П р и с у т с т в о в а л и: Ясенский, Лахути, Шкловский, Лапин, Зенкевич, Хадревин, Айни.

П о с т а н о в и л и: поэта Васильева за поведение, недостойное советского писателя, исключить из состава бригады и предложить ему ближайшим поездом выехать в Москву. Довести подробно о причинах этого мероприятия до сведения Оргкомитета Союза писателей СССР.

В этот же день Васильев, прекрасно зная, чем обернется это «доведение до сведения», пишет покаянное письмо:

Бригаде писателей в Таджикистане.

Прошу бригаду не исключать меня из своего состава за безобразный скандал, который я учинил в присутствии товарищей Лахути и Айни в момент сильнейшего опьянения и который имел политическую окраску.

Глубоко раскаиваюсь в этом поступке, недостойном писателя Советского Союза, и даю твердое обещание, что это в последний раз.

Приношу лично глубокое извинение тов. Лахути и тов. Айни. Думаю, что товарищи поверят мне в том, что я совершенно искренне и навсегда хочу прекратить свое хулиганское поведение, являющееся следствием разнузданного пьянства.

30 апреля, 34 год.
Павел Васильев
Сталинабад

Письмо возымело действие, и Васильева не отправили в Москву раньше срока. 1 мая состоялось очередное совещание группы, на котором постановили, в частности, «одобрить к печати переводы стихов Дехоти (пер. Зенкевич) и Гани Абдуллаева (пер. Павел Васильев)». 2 июня «Пролог к поэме “Вахш”» Абдуллаева был опубликован в «Литературной газете».

**В волнах, о Вахш, твоих,
о Вахш, темно —
клинки, осыпанные жемчугами,
во тьме потока падают на дно
и вверх идут, поблескивая сами.
Ты назван диким, диким потому,
что с пеной белой смешиваешь тьму!
Вода стадами грузными идет,
и тишина, и только водяные
ревут стада да камень в камень
бьет,
и изгнаны все звуки остальные.
Нет тишины у Вахша, даже той,
что прячется в прибежище
укрытом —
у человека с громкой пустотой
под самым сердцем, горьким
и разбитым.**

<...>

**Так Вахш течет! В глазах
его несытых
веселье, возмущение и гнев.
Так Вахш течет! И, только
присмирив,
вдруг смутно вспоминает об обидах.
Но почему до этих пор не сыт?
Гневится чем гордец холодноглазый,
никем не укрощенный и ни разу
не взнузданный, чьих не простит
обид?**

Текст Васильев выбрал по своему темпераменту, по своему нраву. И не свой ли автопортрет воплощал он в работе над «вольным переводом»?

Окончание этой истории было, к сожалению, весьма тривиальным.

Уже после того, как Павел Васильев был арестован и объявлен врагом народа, в парткоме Союза писателей разбиралось дело Бруно Ясенского, о чем газета «Правда» сообщила в номере от 12 мая 1937 г. Представляет интерес один из эпизодов этого разбора.

Характерные факты о «подвигах» Ясенского и об его окружении сообщил товарищ А. Лахути.

Перед Всесоюзным съездом писателей оргкомитет направил в Таджикистан писательскую бригаду во главе с Бруно Ясенским. В Сталинабаде их встретили как дорогих гостей и отвели им дом Совнаркома за городом, обильно снабжали продуктами и вином, предоставили даже двух поваров. Бригада удобно разместилась в доме Совнаркома, забыла о Сталинабаде, о творческой помощи таджикским писателям, о подготовке к съезду. Устраивались оргии. П. Васильев горланил, с ужимками рассказывал контрреволюционные, антисемитские и похабные анекдоты, поносил лучших людей нашей страны, а вся бригада во главе с «коммунистом» Ясенским поощрительно хохотала, надрывая животики.

Лахути безостановочно глал и нагонял страх на присутствующих, мстя за

своеобразное унижение, за то, что Васильев имел «наглость» напомнить его соотечественникам, что они — таджики, а не перекасти-поле нового замеса. Лахути прекрасно помнил, что Ясенский возглавлял собрание по изгнанию Васильева из бригады, но теперь «аксакалу» была предоставлена возможность разобраться в лице Ясенского со всей «русской бригадой» скопом, сославшись, естественно, на арестованного «врага народа», который с тех самых пор стал личным врагом Лахути.

После всего сказанного можно составить ясное представление о том, чего стоят злобные и гнусные сплетни, распространявшиеся о Васильеве его пристрастными современниками, и в каком виде выставляют себя нынешние сочинители, эти сплетни пересказывающие. Так, в № 11 журнала «Дружба народов» за 1995 г. А. Зорин опубликовал статью «“Веянье веселого ужаса”: заметки о поэзии Павла Васильева», в которой написал следующее: «Вот случай, который мне рассказал его современник, тогда входящий в литературные круги. Группа писателей из Москвы, среди них Васильев, приехала в какую-то южную республику. В ресторане под открытым небом их обслуживала красивая официантка. Все были пьяны, но отрезвели мгновенно, когда Васильев потребовал от писательского начальства эту женщину к себе на ночь, угрожая, что, если желание его не будет уважено, использует у всех на глазах козу. В серьезности его намерений никто не сомневался. Коза, привязанная к кольщику, паслась неподалеку».

Что это за «современник», рассказывающий гнусности про Васильева через много лет после гибели поэта, — как будто прижизненных было мало? Впрочем, так ли это важно? Потоки поношений не утихают и по сей день — велик же соблазн рассказать пикантную историю о «звероподобном», не знающем нравственного закона русском поэте. А если

уже известных фактов не хватает, то что стоит присочинить все необходимое, сославшись, как водится, на некую безымянную, но «вхожую» личность?

* * *

Справедливости ради надо сказать, что эпизод с Таджикистаном позднее приобрел в васильевских пересказах несколько иные оттенки вплоть до смены места действия. Так, осенью 1934 г. Павел встретил в Москве своего старого приятеля Андрея Алдан-Семенова. И диалог между ними получился запоминающийся:

— Что делаешь в Москве? — спросил Павел.

— Уезжаю в Казахстан на поиски акынов...

— Акыны, ашуги — Гомеры XX века, — встряхнул каштановыми кудрями Павел. — Меня, кстати, недавно выслали из Средней Азии.

— Тебя из Средней Азии? Выслали? — растер я короткую фразу вопросами. — Это за что же?

— В Ташкент ездил писательская бригада, устроили мы там литературный вечер. Театр полон, выступаем, читаем. Овации, записки. Меня спрашивают: «Хорош ли поэт Б.»? Отвечаю — дерьмо! В зале смех, а председательствующий Гафур Гулям, которого в шутку называли узбекско-советским Омаром Хайямом, в колокольчик трезвонит: «Если, Васильев, неприлично себя вести будешь, лишу слова». На другой день меня выслали как великодержавного шовиниста.

Этот «великодержавный шовинист» кроме переложений казахского фольклора оставил после себя переводы из Ильяс Джансугурова, Ахмета Ерикеева, Георгия Леонидзе и еще ряда других советских поэтов из национальных республик. Причем эти переводы были не механическим переложением ремесленника, а серьезной поэтической работой — каж-

В результате горьковских забот Авербах в октябре 1932 г. был введен в Оргкомитет Союза советских писателей, а также в число редакторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», с которой, кстати, Васильев был хорошо знаком.

Статью «О литературных забавах», опубликованную в «Правде» 14 июня 1934 г., Горький начал с излюбленной темы:

Считаю нужным поговорить о литературных нравах. Думаю, что это вполне уместно накануне съезда писателей и в дни организации союза их.

Нравы у нас — мягко говоря — плохие. Плоховатость их объясняется прежде всего тем, что все еще не изжиты настроения групповые, что литераторы делятся на «наших» и «не наших», а это создает людей, которые, сообразно дряненьким выгодам своим, служат и «нашим» и «вашим».

<...> В то время, когда «единоличие» быстро изживается в деревне, — оно все более заметно в среде литераторов. <...> ...закоренелый в зоологическом индивидуализме деревенский житель... Однако я считаю нужным сказать, что, по моему мнению, в ту пору, когда «рапповцы» действовали товарищески дружно и еще не болели «административным восторгом», они, не отличаясь необходимым широким и глубинным знанием литературы и ее истории, обладали зоркостью и чуткостью подлинных партийцев и хорошо видели врага, путаника, видели попугаев и обезьян, подражавших голосу и жестам большевиков. Мне кажется, что и нравы литературной молодежи при «рапповцах» были не так расшатаны.

Горький сделал все от него зависящее для того, чтобы в новых условиях жизнь единого Союза писателей начала строиться по законам недоброй памяти рапповского застенка. Естественно, всё с самыми благими намерениями, для «исправления литературных нравов». И главное, вольно или невольно обма-

нная читателей, а может быть и самого себя, и веря каждому слову, которое в этот миг выходило из-под его пера, проливая сентиментальные слезы, ставил себя в «страдательную позицию»:

Условиями, в создании которых я не считаю себя виновным, на меня возложена роль мешка, в который суют и ссыпают свои устные и писанные жалобы люди, обиженные или встревоженные некоторыми постыдными явлениями в литературной жизни. Не могу сказать, что роль эта нравится мне, но, разумеется, обилие жалоб тревожит меня.

Жалуются, что Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие восхищаются его даровитостью, «широкой натурой», его «кондовой мужицкой силищей» и так далее. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те, и другие одинаково социально пассивны, и те, и другие, по существу своему, равнодушно «взирают» на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа».

Роковое слово сказано, приговор произнесен. Оставалось только подкрепить его «аргументом», который Горький не замедлил предъявить:

Недавно один из литераторов передал мне письмо к нему партийца, ознаменовавшегося с писательской ячейкой комсомола.

«<...> Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть литературной молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные

качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Васильева) это враг. Мне известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским».

Далее неизвестный «партиец», расправившись со Смеляковым, Сергеем Васильевым, Ойслендером, переходил к «старшим товарищам»:

«В самом деле, — пусть прочтет меня Олеша, Никулин, В. Катаев и многие другие, — не мне и не нам их учить, они воспитывались в другие времена. Нам важна их работа, пусть живут, как хотят, но не балуют дружбой наших молодых литераторов, ибо в результате этой “дружбы” многие из них, начиная подражать им, усваивают не столько мастерство, сколько манеру поведения, отличавшую их в кабачке Дома Герцена. Хорошие намерения дают далеко не хорошие результаты».

Приведя сей текст, Горький не преминул сопроводить его недвусмысленным комментарием:

В письме этом особенного внимания заслуживает указание автора на разлагающее влияние некоторых «именитых» писателей из среды тех, которые бытуют «в кабачке имени Герцена». Я тоже хорошо знаю, что многие из «именитых» пьют гораздо лучше и больше, чем пишут. Было бы еще лучше, если бы они утоляли жажду свою дома, а не публично.

Все читавшие эту статью прекрасно поняли, что дело не в количестве выпитого и не в месте очередной писательской попойки. Прозвучало поистине

убийственное: «от хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”». Все прекрасно понимали, чем это пахнет.

Подобное уже было десять лет назад, когда товарищеским судом судили Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Петра Орешина и Алексея Ганина, которые так же за пивным столиком, не таясь, громко обсуждали положение русского писателя и нарвались на обвинение в антисемитизме. Михаил Кольцов (Фридлянд) писал тогда в «Правде» от 30 января 1923 г. под заголовком «Не надо богемы»:

Славянофилов из «Базара», с икрой, с севрюгами, разговорами о еврейском засилье... на старом месте не найти! Но если очень хотите — они отыщутся. Их трибуна теперь — мокрый столик пивной. Хоть хуже, хоть меньше, но осталось все для потрясения ума попутчика...

Конечно, педагогические способы борьбы в духе идейного поощрения трезвости тут мало помогут. Надо сделать другое. Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прежние времена — уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте будем грубы и нечутки, заявим, что все это одно и то же.

Эта линия на искоренение «русского фашизма» заново зазвучала в начале 30-х после избрания в Германии канцлером Адольфа Гитлера. Что в этой ситуации означало слово «фашизм» в контексте горьковской статьи, когда на соседних полосах того же номера газеты мелькали заголовки «Фашизм в Англии», «На службе у фашизма», «Неудачное восхождение Мосли на Олимп», «Переговоры Гитлер — Муссолини», «В защиту Тельмана», — нетрудно себе представить.

И ничего удивительного в том, что на Васильева обрушились литераторы во

всех возможных органах печати, свидетельствуя свою непричастность к «литературным забавам». Первым отметилась Лев Никулин:

Письмо в редакцию.

Прошу опубликовать следующее:

В связи с цитированием в статье М. Горького «О литературных забавах» письма, в котором упоминается моя фамилия, я считаю необходимым указать, что хотя и не являюсь активным членом общества борьбы с алкоголизмом (что вообще не очень существенно), но ни в какой связи с хулиганствующими и антисемитствующими литераторами типа Павла Васильева не состоял и не состою и отношусь глубоко отрицательно не только к ним, но и к тем, кто в порядке меценатства и «перевоспитания» им благоволит. Л. Никулин.

(«Правда», 1934, 22 июня)

А дальше посыпалось как из рога изобилия.

28 июня состоялось очередное собрание творческого актива журнала «Рост», посвященное обсуждению вопросов, поднятых в статье Максима Горького «О литературных забавах». <...>

Вопросом, поднятым в докладе т. Киршона, был вопрос о классовой бдительности в литературе вообще и в выращивании литературных кадров в частности. Тов. Киршон, проанализировав личный состав пишущей молодежи, выделив и охарактеризовав наиболее здоровую часть ее, указал на различные категории примазавшихся и неустойчивую, поддающуюся влиянию классового врага часть мелкобуржуазной молодежи. <...> Тов. Рабинович говорит, что в литературе классовая бдительность нередко притупляется в угоду талантливости. Так, П. Васильев в присутствии писателей-партийцев позволял себе безобразные вылазки, и партийцы только улыбались, они смотрели на это как на своеобразное литературное молодечество. Такое притупление классовой бдительности, с одной стороны, и безудержные похвалы, с

другой, придают Васильеву очень много уверенности...

(«Рост», 1934, № 15)

Возьмите творчество П. Васильева. Вот она, Сибирь, кондовая экзотика; вот они, герои, их жены и дети, вот они, широкоплечие, грудастые, с зычными голосами, с биологической влюбленностью в жизнь. Это не столько кулаки, казаки, это не столько классовая борьба, сколько великолепные животные, пожирающие друг друга. Слово, художественное слово здесь своей революционизирующей функции не выполняет, оно красуется и охорашивается, как беззаботная невеста. Беззаботность же в отношении смысла и идеи имеет под собой и некоторый расчет: это картинное буйство «мелкобуржуазной стихии» должно беспокоить критику, на то она и марксистско-ленинская критика, чтобы исправлять разного рода идейные «горбы» и «горбики».

(Караваяева А. Расширить круг интересов молодых поэтов // «Молодая гвардия», 1934, № 8)

Все же создавалось в писательских (да и не только в писательских) кругах ощущение, что Горький явно пересолил, — особенно после того, как «Литературные забавы» выполнили роль камушка, приводящего в движение снежную лавину. Началось буквально сведение взаимных счетов между литераторами, причем многочисленные соперничающие стороны потрясали газетными листами с горьковской статьёй как неотразимым аргументом в свою пользу. Обстановка накалилась до предела. Михаил Пришвин публично крыл Горького чуть ли не матом. Знаменитый оппозиционер, создатель антисталинского «Союза марксистов-ленинцев» Мартемьян Рютин в своих тюремных записках также особо не стеснялся в выражениях:

Прочел на днях статью Горького «Литературные забавы!» Тягостное впечатление! Поистине, нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя!

Худшие из мертвецов — это живые мертвецы, да притом еще с талантом и авторитетом прошлого.

Горький-публицист всегда был тем нашим «любимым» русским сказочным героем, который на похоронах кричит «Таскать бы вам не перетаскать!» — а на свадьбе — «Канун да свеча!».

Горький-публицист позорил и скандализировал Горького-художника.

Любопытно, как попытался смягчить негативное впечатление от горьковского сочинения «Литературный Ленинград». Через неделю после его перепечатки газета поместила анонимную статью «О дряни и грязи»:

Советская литература должна делаться чистыми руками... В то же время нужно бороться и против опошления этой борьбы, против превращения ее в погоню за сенсационными разоблачениями. <...> Есть у нас еще такие «читатели» горьковских статей. Это они после статьи, критикующей произведения писателя, в коридорах издательств и в литстоловой злорадствуют — «а звезда-то его закатывается, скоро ему конец и печатать его не будут» (так было и после критики Горьким романа Молчанова). Это они, услышав о каком-нибудь проявлении буржуазных пережитков в нашей среде, захлебываясь, передают друг другу пикантные подробности... Этих мещан, этих лицемеров трудно разоблачить. Они умеют превосходно маскироваться. И тем более нужна нам бдительность, ибо они не менее опасны для советской литературы, чем «фокусники слова, хулиганы, халтурщики».

Значение письма Горького нельзя недооценивать. Это письмо касается не только вопроса о дальнейшей судьбе Васильева. Оно — и в этом его огромный смысл — говорит обывателям от литературы — прочь руки от нашей, такой большой, такой почетной работы по поднятию качества писателя, как советского гражданина, революционера, бойца за социализм, по поднятию качества литературы, как острейшего оружия ленинской партии

в борьбе за социалистическую переделку сознания миллионов.

Евгений Долматовский в своих воспоминаниях счел возможным отдельно указать на неизвестного «партийца», чье письмо процитировал Горький:

Признаться, без особого труда разгадал, кто автор письма. Это был вовсе и не партиец, а околотитературный переросток, всеобщий ненавистник и завистник, а сообщение его было адресовано вовсе не одному из литераторов, а в иное, весьма серьезное учреждение.

Из этого учреждения, надо понимать, донос поступил в редакцию газеты «Правда», где лег на стол главному редактору Льву Захаровичу Мехлису. Тот не просто предоставил его Горькому, но сообщил дополнительные компрометирующие сведения о том же Васильеве, а также о Михаиле Пришвине и Андрее Платонове. Горький незамедлительно написал ответ:

За информацию о трех писателях — очень благодарен Вам, Лев Захарович.

Пришвин, старый и верный ученик Иванова-Разумника, конечно, неизлечим, но все же он — сравнительно с прошлым — подвинулся вперед и налево...

А. Платонов — даровитый человек, испорчен влиянием Пильняка и сотрудничеством с ним.

П. Васильева я не знаю, стихи его читаю с трудом. Истоки его поэзии — неонародническое настроение — или: течение — созданное Клычковым-Клюевым-Есениным, оно становится все заметней, кое у кого уже принимает русофильскую окраску и — в конце концов — ведет к фашизму.

Вот чего они все боялись! Возрождения русского начала, ассоциировавшегося для них с фашизмом, которым они пугали своих сограждан.

В общем потоке «послегорьковских» поношений обращает на себя внимание

статья Льва Сосновского «Заметки о культуре и культурности». Именно Сосновский был инициатором раздувания на страницах печати «дела четырех поэтов» в 1923 г. с обвинениями в антисемитизме. Именно он учил молодых поэтов «культуре». Именно он, этот цепной пес Льва Троцкого, получил еще одну, к счастью, последнюю возможность пропагандировать свое русоненавистничество на печатных страницах. И именно он не мог не отметить в кампании, организованной против Павла Васильева.

В небольшом кругу литераторов Павел Васильев читал свои стихи. Читал и старые стихи, написанные еще до начала провозглашенной им перестройки. Читал и новые стихи, носящие следы перестройки. Потом началась беседа о перестройке поэта. О том, что Васильеву нужно поскорее сбросить груз кулацких влияний и стать настоящим советским поэтом — об этом спора не было.

Все соглашались, что у Васильева, помимо несомненного дарования, можно признать и искреннее желание, добрую волю стать поэтом современности. Чего же ему не хватает, чтобы таковым сделаться?

Васильев должен овладеть учением Маркса-Ленина — говорили одни.

И это правильно.

Васильев должен поехать по стройкам — прибавляли другие.

И это тоже было правильно.

Васильеву придется обзавестись совершенно новой словесной аппаратурой, — замечали третьи и поясняли: нельзя одними и теми же изобразительными средствами давать и толстозадое, жиромясое степное казачество, и одухотворенных строителей социалистических заводов.

И это тоже было правильно.

А в сущности ему не хватает еще одной мелочи.

Культуры. Общей культурности.

<...> Наш Есенин, скажем, путешествовал и по Европе, и по Америке, но все это с него как с гуся вода бесслед-

но скатывалось, ничем не обогащая его творчество.

Кстати уж о Есенине. Павел Васильев своим культурным (вернее, бескультурным) обликом отчасти напоминает Есенина.

Есенин был не только носителем мелкобуржуазных влияний в нашей литературе. Он, кроме того, был до крайности беден культурно.

Трудно сейчас понять психоз тех людей, которые в дни похорон Есенина водрузили плакат с надписью: «Великий национальный поэт».

Следовало бы этим увлекающимся людям прочесть у Ленина статью «О национальной гордости великороссов». Тогда бы они поняли, сколь чудовищно прославление певца русской азиатчины, духовной косности и собственнического свинства как национального да еще и великого поэта.

Вся эта бредятина, что небезынтересно, оказалась востребованной в наши дни. Уже упоминавшийся А. Зорин, естественно, не ссылаясь ни на Сосновского, ни на Ленина, повторял фактически то же самое: «Вообще печальное влияние Есенина на так называемых поэтов из народа — от сохи или от станка — докатилось до наших дней. Принятые в Союз писателей, они пропивали в ЦДЛе свои ущемленные дарования... Влияние <Есенина>... пагубно действовало только на почву, не обработанную настоящей культурой». При чем тут Васильев? А вот при чем: «Но кто же ему мог подать пример жертвенной любви? Семья, недалеко ушедшая от нравов Домостроя?..» Ну хоть в любую брошюру по разрушению семьи 20-х гг. безболезненно вставляй!

* * *

Еще за месяц до появления в печати горьковской статьи в Оргкомитете по подготовке к Первому писательскому съезду выступил Николай Асеев, который готовился к докладу о поэзии на са-

мом съезде. В его выступлении, в частности, перечислялись поэты, которых Асеев обвинил в «прямом отказе от актуальной тематики» и провел следующую градацию между ними: «мотивированный отказ» — Борис Пастернак; «немотивированный отказ (зазывание в фольклор, в орнамент)» — Павел Васильев; «искажение действительности»: «злостное искажение» — Николай Заболоцкий, «пассивное искажение» — Владимир Луговской, Леонид Лавров, Константин Митрейкин.

В эти же дни на страницах «Правды» велась кампания под лозунгом: «Неослабно продолжать борьбу с шовинизмом!» Одним из актов этой «борьбы» стала премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», на которую в организованном порядке приводили заводских рабочих. Токарь Скоробогатко отмечал «удивительно метко переданное музыкой движение городских, этих каменных истуканов, которые идут раздавить своей тяжелой лапой личное счастье Екатерины». А токарю Анисину, воспитанному, по его словам, на образах «старых мелодий», «музыка “Леди Макбет” понравилась простотой и доступностью». «Я, кажется, — сказал разметчик Сапиро, — понял музыку целиком. Ни одно место не осталось для меня темным, неясным».

Интересно, кто обрабатывал для публикации эти высказывания? Уж не Богданов-Березовский ли, напечатавший в № 11 «Нового мира» за 1933 г. на соседних страницах с третьей частью васильевского «Соляного бунта» следующую апологию оперы, обливающей помоями старую Россию:

В первую очередь... нужно говорить о работе Шостаковича как о работе музыкального драматурга, осознающего глубину и значительность взятой им темы и правильно идущего к ее развитию... Несомненно, что именно мейерхольдовский «Ревизор» с его сатирой про николаевскую Россию, с его гротеском и фанта-

стикой, с его социальными обобщенными символами оказал огромное влияние на формирование первой оперы Шостаковича. <...> Автор волнуется, возмущается, страдает за судьбу бесправной русской женщины, гибнущей в условиях некультурной и жестокой среды, за судьбу общества, задавленного полицейским произволом, за судьбу класса. <...> В «Леди Макбет Мценского уезда» советская опера впервые поднимается до философской проблемности, до большого социального пафоса, и впервые в ней композитор подходит к теме, вооруженный отточенной техникой разумно отобранных прогрессивных приемов письма, и оттого, что сюжетом оперы не служит русская действительность, достоинство ее отнюдь не умаляется.

Как говорится, пример для подражания дан! Несоответствующих ему просят удалиться из советской литературы и искусства. Общаться с «шовинистами» и «хулиганами» — себе дороже. Кампания разоблачения потенциальных «врагов» покатила как снежный ком.

20 июня на партийно-комсомольском собрании в Оргкомитете состоялось обсуждение статьи Горького, тон на котором задал В. Ставский:

Выступления ряда «комсомольцев» на совещании отличались беспринципностью. Т. Поделков, Панченко и другие говорили о чем угодно, но не о политических выводах из статьи А. М. Горького. Дважды бравший слово Яр. Смеляков (за три дня до этого принятый в Союз писателей. — С. К.) также пытался вначале свести дело к вопросу о том — пьет ли и сколько пьет он, Смеляков. С барским высокомерием Смеляков обрушился на комсомолку Сомову, осмелившуюся критиковать его — «лучшего производственника». Только после резкой отповеди тт. Волина, Жак, Гольдберга и других т. Смеляков вынужден был признать, что главная его ошибка в том, что он попал под влияние П. Васильева — «звериного индивидуалиста, кулака», как охаракте-

ризовал его сам же Смяляков. Но всей глубины своих ошибок, полного осознания сущности статьи Горького Смяляков так и не понял до конца.

То, что на самом деле творилось во время этого обсуждения, наглядно демонстрирует стенограмма, сохранившаяся в домашнем архиве Валерия Кирпотина:

Сидоренко. После чистки был поставлен вопрос о том, что должна быть создана единая комсомольская ячейка при горькоме писателей. Это мероприятие начало проводиться в жизнь, но до конца не было реализовано. Смяляков, Долматовский продолжали быть на отшибе... Ойслендер обманул комсомольскую организацию, скрыв свое социальное происхождение... Теперь о статье Горького. Я Смялякова с Васильевым на одну доску не поставлю. Васильев занимается спаиванием товарищей...

Поделков. Почему получилось такое положение с Ойслендером? Может быть, есть еще такие: большей частью всегда пишут «рабочий», и под видом рабочего пролезают кулацкие сынки... То, что Павел Васильев занимается спаиванием Смялякова и Долматовского, мне кажется странным. Если я не захочу, вряд ли кто сумеет меня заставить.

Долматовский. Что ты гордишься, что ты лучше других, что ли? Просто не хватило места, чтобы перечислить и твое имя...

Ставский. Появились стихи Долматовского. В них вы прочтете «Выпьем, закусим, чем бог послал».

Смяляков. Я наиболее замешан в этом деле. Обо мне говорилось в статье Горького. Конечно, известно всем — водка вредное дело. Все это верно и честно — я пью. Про меня еще говорят, что я педераст, что я сын помещика... Эта атмосфера сплетен, склок, кража строк — невозможно понять: то ли ты украл, то ли у тебя украли.

Что я не вступил в комсомол. Я не хотел сидеть рядом с людьми, которые мне неприятны.

Я пьянство свое не отрицаю. Я не ребенок и никто мне в рот водки не льет...

Могу сказать спасибо Алексею Максимовичу. Надеюсь, это будет быстрым концом к тому, чтобы покончить скорее с Васильевым, Олешей, Катаевым и другими.

Волин. Я главный начальник Главлита и по политической и по военной цензуре. У Павла Васильева не вышло ни одной книжки, кроме «Соляного бунта». А почему не вышло? Когда наше государство печатает книжку — это политический документ. Павел Васильев — враг. Вы, Смяляков, дружите с врагом. Но как вы сдружились? Вы, комсомолец (очевидно, Волин пропустил мимо ушей слова Смялякова о том, что тот так и не вступил в комсомол. — С. К.), будущий член партии, зачем вы дружите с врагом? Говорят о том, что вы талантливый человек, умеете выражать очень образно свои мысли рифмами, размерным слогом. Вы — комсомолец, я бы с вами не разговаривал, если бы вы им не были. Ответьте мне, сколько вы написали полезного и сколько вредного. В ваших книжках есть много есенищины...

Смяляков. Первый раз слышу такой отзыв.

Вольберг. Основание для тревоги есть. В среде политического молодняка есть дрянцо, которое мелко гадит. Как они себя ведут такие, как Павел Васильев?.. Считают его талантом, а он прокладывает дорогу, чтобы свою идеологию распространять. Некоторые товарищи из «Комсомольской правды» видели фотографический снимок Васильева и Смялякова. На обороте карточки Павел Васильев написал Смялякову: «Ты надежда советской литературы, я надежда кулацкой литературы».

Смяляков. Это наглость, идиотизм совершенный.

Вольберг. Будьте осторожны в своих выражениях, товарищ Смяляков... Карточка — это дело десятое. Много сплотивилось вокруг человека явно не нашего. Я говорю о Павле Васильеве. Враждебный поэт, а талантлив. Не будет он певцом нашей страны, мы этого просто не допустим. У нас и Главлит есть, и другие органы есть. Мы дороги такому таланту не дадим.

Панченко. Вот здесь Смеляков назвал идиотизмом заявление товарища из ЦК в отношении кулацкой поэзии и пролетарской. Такой надписи не было. Мне Смеляков показал карточку и говорит: «Вот надежда пролетарской поэзии, а вот надежда кулацкой поэзии».

Караваява. Мне больше других понравилось выступление товарища Волина. Он очень хорошо, продуманно, партийно говорил... Смеляков, твое выступление — плохое. У тебя хорошие, теплые глаза, искренние и удачные произведения, но ты не думай, что тебе все будет прощаться. Мы хотим (как говорила одна колхозница) поднять тебя в жизнь...

Колосов. ...Я должен отделить Васильева от Смелякова и Долматовского. Товарищи, Павел Васильев — это очень характерная фигура, чуждый классовый элемент, как кулак в колхозе...

Ставский. Я знаю, что надо делать с Павлом Васильевым. Мы должны поступить с ним как поступают с врагами. У нас есть могущественное средство перевоспитания, которое не калечит людей, которое совершенно их перевоспитывает. Мы знаем людей, которые, пройдя соответствующую школу, через воспитание, через труд, через дисциплину, становились благородно воспитанными. Если для иных товарищей есть ступень перевоспитания — школа комсомола, то у нас есть широкая сеть исправительных возможностей. Эти возможности исправляют самых порочных людей.

Короткий комментарий. Слова эти прозвучали на «Заседании с молодыми писателями» 15 июня 1934 г. Ни в каких скандалах, чудовищно раздутых позднее прессой и постаревшими «мемуаристами», Павел еще не участвовал. Но участь его была уже предрешена: формулировки Ставского не оставляют в этом никаких сомнений. Так что сущей ложью являются позднейшие заявления советских и постсоветских литераторов, что, дескать, получил свое... За драки и «антисемитизм».

Волин. Товарищ Ставский, ты на съезде будешь нашим полпредом, поэтому я старался, чтобы ты сам поглядел на наших молодых писателей.

Смеляков. Я не закончил своей речи. Я не согласен с Волиным, что есть в моих стихах есенинщина. Есть много ненужных стихов. Это вопрос количества. Я хотел бы сказать о важном. Моя дружба с Павлом Васильевым — акт не политический. Правы товарищи, когда меня крыли за это и говорили, что дружба нехорошая.

Ставский. Тебя предупреждали...

Смеляков. ...Я согласен с этим. Да — это враг. Это страшный, зверский человек, который мог бы и меня предать. Наша дружба прошла и через ссоры. Он мне чуть не дал по уху, а я ему — стаканом. Мне было обидно, как возились с Васильевым. Он, например, пристроился к покойному Луначарскому. Он много преувеличивал, но им все-таки многие интересовались из крупных людей. А я не был вхож к таким людям. Это меня и злило.

Если бы я умел много пить, я бы мог скрывать... У нас не пьют только те, кто не умеет пить. Слабость какая-то характера. Дело не в том, что я дружил с Васильевым. Важна линия его политического облика. Это был явный неврастеник... <...> Статья Горького мной прочувствована очень глубоко, очень тяжело... На моем иждивении 8 человек. Я десять раз хотел уехать в Донбасс. Мне очень тяжело все это пережить. Я надеюсь, что найдутся добрые люди или злая воля...

Ставский. Второе выступление Смелякова показывает, что он не совсем еще разобрался во всем происходящем, когда говорит, что писатели в нашей среде пьют. <...> Ты ссылаешься на то, что тебе не говорили, тобой не занимались. Вспомни: о Васильеве я тебе сам еще год тому назад говорил и разъяснял, что он из себя представляет.

Смеляков. Один раз и на улице.

Ставский. <...> Ясно одно. Враг есть, он лезет во все поры... <...> Да было время, когда комсомольские писатели вешались...

С места. Но с Есениным не стояли вместе.

Ставский. Мы по всему этому ударили... <...> Классовый враг еще не добит. Смысл выступления Горького в том, что он крепко ставит вопросы классовой бдительности.

Ничто не уходит в песок, и ничто не растворяется бесследно в воздухе. Вспомнил ли Васильев в минуты смеляковского «покаяния» при всем «неосознании» свое собственное отречение от Ключева и Клычкова в редакции «Нового мира»?

Павел, при всей драматичности ситуации, стремился не унывать. Из уст в уста передавались его эпиграммы, сложенные после прочтения горьковских инвектив: «Выпил бы я горькую, / да боюсь Горького. / Горького Максима, / ах, невыносимо!» А еще одна эпиграмма привела в шуточный восторг самого «великого пролетарского писателя»:

**Пью за здравие Трехгорки.
Эй, жена, завесь-ка шторки:
Нас увидят, может быть.
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить!**

Смех смехом, но временами накачивали самые настоящие приступы отчаяния, которое сменялось нешуточной душевной остервенелостью. От Горького стало поистине горько жить!

А «Правда» в это время публиковала выводы комиссии по чистке партии и хронику этой чистки. И. Кулик, будущий враг народа, докладывал о том, что на Украине «разоблачены и разгромлены националисты, кулацкие подпевалы в литературе, петлюровцы и двурушники». Теодор Драйзер писал об американской литературе: «В массе буржуазной публики все еще преобладает уверенность, что существующая система — лучшая в мире... Американская литература спит глубоким сном... Мы — ничтожнейшее меньшинство среди огромного количе-

ства писателей, угодливо разрабатывающих темы преуспевающих бизнесменов». И из номера в номер публиковались материалы о спасении челюскинцев.

В конце июня Павел, еще не отошедший от дикого количества печатных поклепов, был приглашен Валерианом Куйбышевым в Кремль на торжества по случаю приема участников челюскинской экспедиции. Не исключено, что Куйбышев пригласил поэта сознательно, именно в пику Горькому, как бы демонстрируя не в меру возомнившему о себе «первому писателю Советского Союза», что слово последнего не является приговором окончательным и не подлежащим обжалованию и что Васильев пользуется полным доверием у высшего руководства. Васильев пришел на прием нервный и взвинченный. Почти весь вечер молча пил и со стиснутыми зубами слушал произносимые тосты. А когда ему предложили почитать стихи (стихотворение «Ледовый корабль», посвященное Отто Юльевичу Шмидту, было опубликовано тремя неделями ранее в «Вечерней Москве»), он, чувствующий себя явно не в своей тарелке, окончательно «слетел с катушек». Встал, провожаемый одобрительными и любопытными взглядами, посмотрел в упор на Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича и остальных, сидящих за центральным столом, обвел глазами героических летчиков-полярников — и громко запел тут же сочиненный экспромт на мотив «Мурки».

**Здравствуй, Леваневский,
здравствуй, Ляпидевский!
Здравствуй, Водопьянов, и прощай!
Вы зашухарили, «Челюскин»
потопили,
А теперь червонцы получай!**

За столом воцарилось мертвое молчание. Кто-то хмыкнул, кто-то тихо захохотал, уткнувшись лицом в ладони... К Васильеву быстро подошли люди в форме, аккуратно взяли его под руки, вежливо и

проворно вывели из-за стола, проводили за пределы Кремлевского дворца и оставили в покое уже за воротами.

Павел неподвижно застыл на тротуаре, будучи не в силах удержать нервную дрожь. Перед его взором стояло лицо Сталина, который без тени улыбки, внимательно и пронизывающе смотрел ему в глаза.

* * *

Намеки на «писателей-партийцев, благоволящих хулигану», не нуждались в пояснениях. В частности, это прекрасно поняла Елена Усиевич, которую в литературных кругах начали обвинять в покровительстве Васильеву и другим «хулиганам» вроде Смелякова. Елена Феликсовна мобилизовала всех своих соратников по журналу «Литературный критик» и бросила их в бой. Дальнейшие перипетии наиболее точно отражает, пожалуй, спецсообщение секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР «О ходе подготовки к I съезду Союза советских писателей» за подписью помощника начальника СПО ОГПУ Горба:

В редакцию «Литературной газеты» поступила статья Розенталя (из «Литературного критика»), которая, по-видимому, явится попыткой обелить Е. Усиевич в связи с брошенными в отношении ее в статье Горького упреками по поводу покровительства П. Васильеву, Я. Смелякову и др. Статья эта написана очевидно Розенталем под давлением самой Усиевич.

Усиевич и сам П. Васильев проявляют большое нетерпение и заинтересованность в напечатании этой статьи в «Литературной» г[азете].»

Усиевич неоднократно звонила по этому поводу в редакцию отв[етственному] секретарю Цейтлину и его зам[естителю] Берковичу, но Цейтлин и Болотников пока задерживают статью, согласовывая ее с Юдиным и требуя, видимо, по настоянию Юдина, внесения Розенталем ряда поправок.

П. Васильев в связи с печатанием этой статьи сам приходил в редакцию «Лит[ературной] газеты» справляться о том, когда статья будет пущена, и разговаривал об этом с Цейтлиным.

Борис Пастернак, встретив Павла Васильева в Доме Герцена, пожал ему руку, сказал демонстративно громко: «Здравствуй, враг отечества!» — и, смеясь, прошел дальше. По поводу статьи Горького он сказал следующее:

Чувствуется, что в Горьком какая-то озлобленность против всех. Он не понимает или делает вид, что не понимает того значения, которое имеет каждое его слово, того резонанса, который раздается вслед за тем или иным его выступлением. Горьковские нюансы превращаются в грохот грузовика.

Что касается Павла Васильева, то на нем горьковская статья никак не отразится. Его будут так же печатать и так же принимать в публике.

Гронский, вытесненный Горьким из Оргкомитета, также прекрасно понял, что речь в «Литературных забавах» идет о нем. Удар нужно было смягчить, и Гронский настоял на том, чтобы Васильев написал покаянное письмо.

Глубокоуважаемый Алексей Максимович! Я вполне понимаю всю серьезность и своевременность вопроса о быте писателей, который Вы поставили в Вашей статье «О литературных забавах».

Меня лично Ваша статья заставила глубоко задуматься над своим бытом, над своим творчеством и над кругом интересов, которые до сих пор окружали меня и меня волновали.

Я пришел к выводу, что должен коренным образом перестроить свою жизнь и раз и навсегда покончить с хулиганством...

Вы, Алексей Максимович, человек, окруженный любовным и заботливым дыханием всей нашей великой страны, человек, вооруженный неслышанным ав-

торитетом, больше, чем кто-либо другой, поймете, что позорная кличка «политический враг» является для меня литературной смертью.

Большинство литераторов и издателей поняли Вашу статью как директиву не печатать и изолировать меня от общественной работы... Я думаю, Алексей Максимович, что такая заклевывательная кампания вовсе не соответствует Вашим намерениям, что Вы руководитесь другими чувствами и что мне открыты еще пути к позициям настоящего советского поэта.

Даже эта слабая попытка защитить свое достоинство не устроила Горького, и он настоял на другом тексте, выражавшем «полное покаяние». Эта вторая редакция вместе с ответом Горького («Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если б не думал, что Вы писали искренно и уверенно в силе Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, чтобы Вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, которое — как подросток — требует внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы, наверное, войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт».) была напечатана в «Литературной газете».

«Покаяние» возымело свое действие. Парадокс ситуации заключался в том, что наибольшее количество публикаций в периодике и издание единственной книги Васильева «Соляной бунт» пришлось именно на 1934 г., в течение которого не прекращался поток брани и грязи на страницах тех же газет. Разумеется, после горьковского выступления ни о каком приглашении Васильева на I съезд писателей не могло быть и речи, но на самом съезде о нем говорилось немало.

Впрочем, еще до съезда Горькому дали понять, что он перестарался. Вскоре после начала все набиравшей силу анти-васильевской истерии к Алексею Максимовичу пришли в гости Гронский и Алексей Николаевич Толстой. За обеденным

столом Горький в упор смотрел на Гронского и наконец спросил:

— Не сердитесь на меня за Павла Васильева?

— Не сержусь, — Гронский изо всех сил соблюдал выдержку. — Я поражаюсь вам, Алексей Максимович! Как вы могли это написать? При чем тут бутылки? Васильев, к вашему сведению, и не очень-то пьет. А стихи вы его читали?

— Да так. Кое-что, — замаялся Горький.

— Так вы что же, пишете о литераторе, не имея о нем никакого представления?! — Гронский вскипел уже не на шутку.

Внешне это был спор о Васильеве. Но подтекст был гораздо глубже. Лицом к лицу сошлись два непримиримых противника в борьбе за командные высоты в новом едином писательском Союзе. Тут всякое лыко было в строку, и повод для жесточайшей ссоры находился мгновенно.

Алексей Толстой молчал и, улыбаясь, слушал разгорающуюся свару. В ту минуту, когда собеседники совершенно перестали выбирать выражения, он поднялся, вышел в соседнюю комнату, принес несколько журналов, открыл номер «Красной нови».

— Да хватит вам ссориться! Давайте лучше стихи почитаю. Оно полезнее будет.

**В черном небе волчья проседь,
И пошел буран в бега,
Будто кто с размаху косит
И в стога гребет снега.**

**На косых путях мороза
Ни огней, ни дыму нет,
Только там, где шла береза,
Остывает тонкий след.**

**Шла береза льда напиться,
Гнула белое плечо.
У тебя ж огонь еще:
В темном золоте светлица,
Синий свет в сенях толпится,
Дышат шубы горячо.**

Горький застыл с рюмкой в руках, забыв отпить глоток. Гронский смотрел на него со злорадной улыбкой.

— Кто это? Чьи это стихи, Алексей Николаевич? — слышался бас маститого классика.

Толстой, не отвечая, продолжал читать.

**Отвори пошире двери,
Синий свет впусти к себе,
Чтобы он павлиньи перья
Расстелил по всей избе...**

<...>

**Сквозь казацкое ненастье
Я брожу в твоих местах.
Почему постель в цветах,
Белый лебедь в головах?
Почему ты снишься, Настя,
В лентах, в серьгах, в кружевах?**

<...>

**Ты спознай, что твой соколик
Сбился где-нибудь с пути.
Не ему во тьме собольей
Губы теплые найти!**

**Не ему по вехам старым
Отыскать заветный путь,
В хуторах под Павлодаром
Колдовским дышать угаром
И в твоих глазах тонуть!**

— Кто это? Что это? Что это за поэт?! — Горький не мог сдерживать волнения. — Да скажите же наконец!

— Это Павел Николаевич Васильев, — Толстой перегнулся к Горькому через стол. — Тот самый, которого вы, Алексей Максимович, обругали.

— Быть этого не может!

— Пожалуйста. Извольте убедиться, — Толстой передал журнал Горькому, а рядом положил стопку других, раскрытых на стихах Павла. — Читайте, читайте.

Горький впился глазами в журнальные листы. Невесть сколько времени прошло, пока он вспомнил о своей рюмке с шотландским виски. Выпил. Утер усы. Помолчал.

— Неловко получилось, очень неловко, — слеза классика потекла по краям усов.

Хэппи-энда, увы, не получилось. Прослезиться в момент чтения Горький мог. Печатно взять назад свои слова — никогда в жизни.

Приближался I съезд Союза советских писателей. Многократно потряхнутый Оргкомитет обрел наконец свой окончательный состав. Роли были распределены. Программа расписана. Должности прорисованы. Кандидатуры отобраны. В последний момент на крутом вираже осадил Асеева: «маяковская линия» должна была на этом съезде уступить место другой. Докладчиком по поэзии был утвержден с подачи Горького и при согласии Сталина Николай Бухарин.

Съезд открылся 17 августа 1934 г.



ДЕНЬ СИБИРИ: ЗАБЫТЫЙ ПРАЗДНИК

...Год 1881. Российская империя бурлит: от рук народовольцев пал император Александр II. По свидетельствам современников, «вся Россия содрогнулась от ужаса и горя при вести о мученической кончине царя-освободителя».

На престол вступает Александр III, который сразу же отходит от прежнего либерального курса своего родителя.

Издан знаменитый «Манифест о незыблемости самодержавия». Несмотря на заступничество писателя Льва Толстого, философа Владимира Соловьева и других представителей либеральной общественности, народовольцы-заговорщики осуждены и публично казнены. Обновлен кабинет министров. Резко меняется курс внешней политики. К Российской империи присоединены туркменские земли. В Малороссии антиеврейские выступления достигают таких масштабов, что на усмирение высланы регулярные войска.

И вот в это непростое время сибирская общественность просит императора учредить государственный праздник — День Сибири — в честь 300-летия присоединения ее к Российской империи.

Пикантность данной ситуации придает то, что среди горячо ратующих за появление такого праздника — Николай Ядринцев и Григорий Потанин, основатели и идеологи движения сибирского областничества, возникшего еще в 60-х гг. XIX в. в среде петербургского студенчества, к которому в то время принадлежали Ядринцев и Потанин. Представители движения считали Сибирь колонией России, а сибиряков — отдельной нацией. Кроме того, областники требовали предоставления Сибири автономии, за

что при отце Александра III подвергались гонениям и арестам. Те же Ядринцев и Потанин, внесшие огромный вклад в исследование Сибири, обрели свободу как раз незадолго до описываемых событий.

Казалось бы, дело ясное — крамола налицо и ни о каком Дне Сибири не может идти и речи. Однако государь рассудил иначе: он не только милостиво разрешил учреждение праздника, но и обратился к сибирякам с посланием, в котором подчеркнул огромное значение, которое Сибирь имеет для России.

«Надеюсь, — писал тогда государь, — что со временем, с Божьей милостью и помощью, обширный и богатый Сибирский край, составляющий уже три столетия нераздельную часть России, будет в состоянии нераздельно же с нею воспользоваться одинаковыми правительственными учреждениями, благами просвещения и усилением промышленной деятельности на общую пользу во славу дорогого нашего Отечества».

Вот что пишет об этом Михаил Щукин в книге «Встречь Солнцу»: «26 октября все того же — юбилейного! — 1881 года в Москве и Петербурге по инициативе живущих там сибиряков и по разрешению Министерства внутренних дел состоялись празднования, посвященные юбилейной дате.

Вот как проходили торжества в петербургской гостинице «Демут»: «...собралось более двухсот человек, в числе которых было много профессоров, докторов, генералов, студентов и дам. На судне, убранном растениями, левая сторона которых была из елей и сосен, покрытых снегом, спускался электрический

фонарь в виде солнца, освещающая золотой венком на спущенной занавеси с надписью: “26 октября 1581—1881 года”. Под звуки марша в половине шестого присутствовавшие заняли места и обед начался с сибирских пельменей. Первый тост был провозглашен бывшим председателем Сибирского отделения Географического общества генерал-адъютантом Софиано за здоровье Государя Императора. Затем Б. А. Милютин произнес речь, сказав, что двенадцать поколений в 300-летний период в Сибири одно за другим внесли в сибирскую жизнь свои заслуги и недостатки. Оратор заметил, что нельзя не помянуть добром людей, потрудившихся над преуспеванием Сибири».

Праздник велено было отмечать «широко и щедро» 26 октября (8 ноября), поскольку именно в этот день в 1582 г. (а согласно некоторым источникам — в 1581 г.) отряд казаков атамана Ермака занял столицу Сибирского ханства город Кашлык (иначе — Ибер, Искер, Сибер, Сибир, Сибирь). Историческая достоверность этой даты вызывает сомнения, поскольку летописцы конца XVI — начала XVII вв. во многом ориентировались на рассказы еще живых казаков, и даты оставались весьма приблизительными: календарей в степи не было.

И все же почему Александр III не усмотрел крамолы в учреждении «сомнительного» праздника, папахивающего сепаратизмом? Здесь надо понять, что же представляла собой Сибирь конца XIX в.

Сибирь кандальная

За те 300 лет, что прошли с похода Ермака за Урал, изменения в Сибири происходили медленно и мучительно, ведь изначально по бескрайним просторам было раскидано лишь немногочисленное коренное население, а русских за Уралом практически не было. Но российская длань неторопливо и осторожно накрывала Сибирь: от Урала до современного

Красноярска протянулась цепь острогов, городов-крепостей. Эти колышки, вбитые в огромное тело сибирского края, служили единственной опорой и защитой немногочисленным крестьянам-поселенцам, которые перебирались в новую страну из европейской части России.

Житье в Сибири было опасное: нередко были конфликты с коренными народами, недовольными произволом московских воевод, утратой своих охотничьих и земельных угодий, действиями русских поселенцев, которые безжалостно вырубали вековые леса, — и тогда свистели стрелы, звенел металл, горели русские деревни, остроги, монастыри. Естественно, ответ со стороны сибирских воевод чаще всего следовал жесткий, что тоже не добавляло приязни во взаимоотношения коренных и пришлых. Хотя, надо отметить, воеводам напрямую предписывалось обходиться с коренным населением, перешедшим под руку Москвы, «ласково, а не неволей и жесточью».

Хватало и лихого разбойного люда, поскольку с конца XVII в. на каторжные работы в Сибирь стали ссылать уголовных и политических преступников. С каторги бежали поодиночке и группами, благо дело было не очень хитрое: качество охранной и конвойной службы в те времена оставляло желать лучшего.

Бежать-то бежали, но куда идти потом? Пробраться назад за Урал? Опасно, слишком велика вероятность, что поймают, как следует выпорют и вернут все на те же рудники... Потому и оставались беглецы в Сибири, сбивались в удалые ватаги, промышлявшие лихими делами, доставляя много хлопот воеводам и мирным поселенцам. Справедливости ради стоит отметить, что не только злодеи укоренялись на новых землях — многие ссыльные и каторжные, честно отбыв срок, тоже находили в Сибири новую родину.

Кстати, сама «великая кандальная дорога», протянувшаяся через всю Сибирь и известная как Сибирский (Мо-

сковский, Восточный) тракт, немало способствовала освоению края. Вдоль дороги как грибы вырастали так называемые «трактовые поселения», жители коих были обязаны содержать тракт в порядке, а также иметь наготове лошадей для правительственных и почтовых курьеров. Впрочем, селились в таких поселениях часто из-под палки, поскольку нередко были случаи, когда вместо сбежавшего каторжанина этапная команда хватала первого попавшегося крестьянина, обряжала в арестантскую робу и гнала по этапу вместе с остальными бедолагами.

Несмотря на наличие «великого кандального тракта», Сибирь долгое время была совершенно оторвана от европейской части России. Путь из сибирской глубинки до Москвы занимал несколько месяцев, да и отправиться в дорогу можно было не во всякое время года. Например, передвигающиеся пешком кандальные этапы добирались до места назначения около двух лет. В самой же европейской России долгое время не рассматривали Сибирь как полноценную часть империи: не делались вложения в инфраструктуру, не принималось управленческих решений, которые способствовали бы развитию огромного дикого края. Сибирь рассматривалась как место, удобное для ссылки, а также как богатый источник пушнины, золота, ценной в то время соли — и всё.

Из Москвы Сибирь виделась другой планетой. Измотанные кандальные этапы на границе Пермской и Тобольской губерний встречал столб с лаконичной надписью: «Сибирь». Для каторжников это было огромным душевным потрясением. Люди прощались с Россией. По свидетельствам современников, вой и плач на этом российском Рубиконе стоял такой, что можно было подумать, что наступил Страшный суд. Сколько слез здесь было пролито, сколько колен преклонено — сказать сложно, хотя по разным оценкам за все время существования

«великой кандальной дороги» по ней прошло от миллиона до полутора миллионов человек.

Словом, неудивительно, что в таких условиях и при таком отношении российских властей Сибирь в конце XIX в. во многом оставалась мрачным, диким, неизведанным и малолюдным краем. Так, в 1840 г. в огромных Томской и Тобольской губерниях проживало лишь около 1 300 000 человек, из которых почти 70 000 — ссыльные.

Вот как это описывал Константин Станюкович в рассказе «В далекие края» (1886 г.): «Через сутки с небольшим, ранним утром, пароход подходил к Тобольску, единственному сколько-нибудь населенному городу на всем громадном расстоянии между Тюменью и Томском. За Тобольском вскоре начинается безлюдный, пустынный приобский край, теряющийся в тундрах Ледовитого океана; деревни и юрты будут попадаться все реже, а два попутные городка, Сургут и Нарым, брошенные в этой неприветной и мрачной пустыне, — захолустные сибирские дыры, называемые городами единственно потому, что в них живут исправники».

А уже знакомый нам основоположник сибирского областничества Григорий Потанин писал в 1885 г.: «Действительно, приведение Сибири в одно целое с Европейскою Россиею установлением единства в системе управления обеими этими русскими территориями — это первое, что необходимо для того, чтобы сделать Сибирь не только окончательно русской страной, но и органическою частью государственного нашего организма».

Понимал это еще в 1881 г. и Александр III, получивший в народе имя Миротворец. Именно поэтому он не только не препятствовал учреждению Дня Сибири, но и всячески поддерживал инициативу.

Учреждение Дня Сибири, в котором немалую роль сыграла активность сибирских общественников, стало сигналом о

том, что в европейской России о сибирском крае помнят, понимают его огромное значение для империи и будут способствовать развитию его и приобщению к благам цивилизации. Неудивительно, что известие об учреждении праздника вызвало самую горячую радость сибиряков.

Словами и обещаниями император не ограничился — именно в его царствование в 1891 г. началось строительство Транссибирской магистрали, которая впоследствии накрепко связала Сибирь и Дальний Восток с европейской частью страны.

Как праздновали

Традициями новый праздник оброс достаточно быстро. Прежде всего, повсеместно было принято вспоминать отцов-основателей: в сибирских городах и поселках служились торжественные молебны в честь Ермака, а также других воевод и атаманов, которые стали строителями сибирских острогов, а население выходило на крестные ходы, отдавая таким образом дань памяти покорителям Сибири.

Светская часть празднования Дня Сибири была куда более насыщенной: так, например, у сибирских губернаторов считалось правилом хорошего тона приурочить ко Дню Сибири торжественный прием или бал. В те времена большое количество людей — в основном это были знатные и зажиточные сибиряки — на торжественный прием могло собраться только в губернаторских резиденциях. Но не только в губернских центрах в День Сибири собирались представители интеллигенции и именитые сибиряки — в остальных городах и поселках устраивались тематические собрания, на которых обсуждали общие сибирские проблемы и пути их решения, обменивались мнениями, рассуждали о роли Сибири в истории страны. В театрах и образовательных учреждениях к празднику были приурочены спектакли, концерты, выходили в свет специальные выпуски печатных изданий.

От благотворителей и меценатов к главному сибирскому празднику ждали крупных пожертвований и, как правило, не обманывались в своих ожиданиях.

Примечательно, что обе российские столицы также не стояли в стороне от Дня Сибири: сибирские землячества и в Санкт-Петербурге и Москве были достаточно велики, поэтому они устраивали торжественные приемы и собрания, привнося дух сибирского праздника в европейскую часть империи.

Дата 26 октября (8 ноября), на которую приходилось празднование Дня Сибири, была очень удачной — завершена страда, урожай в закромах, а значит, можно подводить итоги финансового и сельскохозяйственного года, подсчитывать дары щедрой сибирской природы. И, конечно, за дары эти благодарить — вот почему праздник иногда называли еще Днем благодарения Сибири. Ломились столы в крестьянских и городских домах от сибирских кушаний — гуляли весело и с задором, непременно обменивались визитами. Почти как Масленица — только осенью.

Многие историки и исследователи склонны говорить о преемственности и очевидных параллелях между упраздненным большевиками Днем Сибири и советскими Днями урожая — ведь нельзя же отобрать что-то, не дав ничего взамен. Тем более, как и предусмотрел мудрый государь Александр III, праздник пришелся сибирякам по душе и отмечали его не по разряду сверху, а от всего сердца. День Сибири пробуждал в людях как национальное самосознание, так и чувство единения и общности с другими жителями Российской империи — и в этом было великое объединяющее его значение.

Забывать и вспомнить

В последний раз, по свидетельствам современников, День Сибири отметили в 1918 г., да и то скорее неофициально.

Грозное эхо революции уже докатилось до сибирского края, разгоралась Гражданская война...

Да и был ли шанс у Дня Сибири на выживание? Конечно же, нет, и в первую очередь — из-за даты: начиная с 1918 г. большевики в течение двух дней 7 и 8 ноября (а после — только 7-го числа) торжественно отмечали годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это был главный идеологический праздник Советской России, у него не должно было быть никаких конкурентов. И День Сибири был упразднен.

Но время не стоит на месте. И вот — 1991 год: вслед за Российской империей вновь рушится огромное государство — империя советская. Одна за другой провозглашают независимость бывшие союзные республики, назревает вооруженный конфликт в Чечне, слышны первые выстрелы в Приднестровье, беспокойно в Татарстане и на Кавказе.

Тогда, в условиях очередной «эпидемии сепаратизма», в Новосибирске и ряде других сибирских городов звучат предложения о возрождении Дня Сибири. Эта инициатива вызвала благосклонное расположение руководителей некоторых сибирских регионов, но совсем не понравилась в Москве, куда каждый день приходили тревожные вести со всех окраин бывшей советской империи. Увы, руководство новой России на тот момент не проявило политическую мудрость, достойную Александра III Миротворца. Предложения о возобновлении празднования Дня Сибири поддержки не встретили.

Не стоит забывать и о том, что для многих людей, выросших в СССР, этот праздник в шаговой календарной доступности от 7 ноября был неприемлем, а поскольку проблем и без того хватало, страсти решили не нагнетать.

Казалось бы, День Сибири окончательно канул в Лету, однако в

2000-х гг. традиция его проведения сама собой возрождается в целом ряде сибирских городов: Тюмень, Новосибирск, Омск, Барнаул... Из года в год проходят культурные фестивали и собрания, посвященные празднику. Люди вспоминают полузабытые традиции предков, готовят особые сибирские блюда, рассуждают об общесибирской пассионарности и единстве мультикультурного этноса сибирского края.

Начиная со второго десятилетия XXI в. вновь и вновь поднимается вопрос о придании Дню Сибири статуса если не общегосударственного праздника, то по крайней мере — памятной даты в государственном календаре. Как и в конце XIX в., за возрождение Дня Сибири в первую очередь горячо ратуют общественники. Услышат ли их?

Законодательство предполагает, что памятные даты в государственном календаре с недавнего времени может утверждать Правительство РФ. Однако для того, чтобы выступить с такой инициативой, нужны веские основания.

Инициативу эту может выдвинуть Совет Федерации, Государственная Дума или любое общероссийское общественное объединение. Или, например, Российская академия наук. Далее инициативу должно одобрить профильное министерство Правительства. И только потом памятная дата может быть утверждена официально.

Сложный путь? Да. Но не для тех, кто хочет идти.

Я верю, что Сибирь и люди, которые живут в этом прекрасном краю, заслуживают собственного праздника. Именно Сибирь — тот самый узел, что скрепляет воедино европейскую часть страны и Дальний Восток. Здесь сосредоточены неизмеримые богатства, которые и в будущем только увеличат мощь нашего государства.

А значит, День Сибири — праздник, который должен быть!

Сергей Владимиров

Тамара ДРАНИЦА

АНАТОЛИЙ АНОСОВ

Ушел в историю XX век — последний классический век отечественной культуры. Среди великого многообразия культурных достижений русско-советской эпохи (изобразительное искусство, кинематограф, театр, музыка) размышления о времени и судьбе человека ярче всего проявились, пожалуй, в литературе. С литературой, с книгой связал свою творческую судьбу выдающийся сибирский художник Анатолий Иванович Аносов. Подобно многим талантливым современникам, начавшим свой творческий путь в послевоенный период XX в., Анатолий Аносов пережил стабильные и кризисные времена искусства, завершившиеся распадом культурных традиций и деградацией иллюстративно-художественного облика книги. «Кажется мне, что живи мой художник в иные времена и на иных пространствах, его одиночество было бы посветлее» (Анатолий Кобенков). Ностальгическая драма художника продолжалась почти два десятилетия: ушли друзья, кануло в Лету «Восточно-Сибирское книжное издательство», остановился печатный станок... «По сути, на сегодняшний день художник одинок больше прочих... те, что представляют себя как книжных графиков — ничего толком о книге не знают, но что самое ужасное, еще и не желают знать» (Анатолий Кобенков). Приведенные здесь цитаты друга художника известного российского поэта не случайны. Анатолий Кобенков и Марк Сергеев, оставившие замечательные размышления об Аносове, были искушенными

книговедами, высоко ценившими эрудицию и графический вклад художника в российскую книжную культуру. Сколь ни велико было разочарование художника в новых поставангардных культурных реалиях, Анатолий Аносов продолжал работать с полной самоотдачей, реализовав свой творческий потенциал в станковой графике и живописи, долгое время оставшихся в тени его книжных иллюстраций и уникальных экслибрисов.

Предел мечтаний иллюстратора — это равноценное соавторство с писателем в деле создания единого литературно-художественного пространства книги, образованного из сложившегося во времени изобразительно-выразительного ряда (обложка, титульный лист, страничные иллюстрации, форзацы, заставки, концовки, виньетки, шрифты, заглавные буквы и т. д.). К сожалению, далеко не все заказы издательства давали художнику-иллюстратору счастливую возможность творческого самовыражения, неразрывного с пафосом литературного произведения. Чаще всего художнику предлагался упрощенный вариант оформления книги, ограниченный обложкой, единственной иллюстрацией или форзацем. Случалось и так, что авторские тексты оказывались слабее возможностей талантливого графического интерпретатора «чужих» литературных сочинений. В таких нестандартных ситуациях Анатолий Аносов проявлял необыкновенный такт и невольно «улучшал» общее впечатление от прочитанного. Выполненные в

авторской технике гравюры на пластике, вызывающие ассоциации с ксилографией и линогравюрой одновременно, иллюстрации художника обладают редкой восприимчивостью к стратиграфии и интонационному строю произведения. Самобытный графический стиль художника, гармоничный в сочетании трезвой аналитики и эстетической эмоции, раскрылся в иллюстрациях к произведениям двух прижизненных классиков и современников художника — Валентина Распутина («Живи и помни», «Последний срок») и Александра Вампилова («Дом окнами в поле»). Не отступая от сюжетной основы повествования, Анатолий Аносов сделал осязаемыми не только ключевые моменты текстов, но и содержательные подтексты их «пустых» междустрочий. Рисуя образы героев, судьбы которых разворачиваются в драматическом потоке времени, А. Аносов философски осмысливает два несовпадающих друг с другом литературных пространства, две параллельно существующие во времени концепции личности, о которых еще не успели рассуждать литературные критики. Если в одном мире (Валентин Распутин) художник отобразил психологическую и духовную драму уходящего времени, то в другом (Александр Вампилов) — запечатлел парадоксальную двухмерность существования человека. Насыщенное графическое поле иллюстраций к повестям В. Распутина, с напряженными, разнонаправленными линиями и штрихами, обнажило драматический (даже трагический) контекст литературного полотна писателя, сравнимого разве что с живописной эпопеей великого русского художника Павла Корина «Русь уходящая». Спокойная изобразительная канва иллюстраций к драматургии А. Вампилова иллюзорна и обманчива. Трехчастное построение листа: сюжетный фрагмент (низ) и графическая аллегория (верх), разделенные нейтральной белой плоскостью (середина), — вводит читателя-зрителя в неза-

вершенное, раздвоенное существование «героев нашего времени», в судьбах которых странно переплелись земное бытие и воображаемое инобытие с неизвестным футуристическим исходом.

Художник книги — человек свободный и одновременно ограниченный в проявлениях своей творческой индивидуальности. Он свободен в своих размышлениях над литературными образами и способах художественно-графического оформления книги. Вместе с тем поток творческого сознания художника всегда ограничен сюжетом и философско-эстетическими представлениями автора. Возможно, по этой причине художник начал искать иные формы творческого уединения в экслибрисе. Вырезанные под лупой и отпечатанные сначала для себя и близких людей, эти виртуозно исполненные, строгие или вольные по формальному решению экслибрисы стали со временем самобытным явлением в российском графическом искусстве.

Творческая природа А. Аносова отличается своеобразной многомерностью: параллельно печатной графике, где нашло отражение свободное ассоциативное мышление художника, в его творческом багаже всегда существовал станковый рисунок, требующий особого, бережного отношения к живому объективному материалу — природе и человеку. Представитель исчезающего ныне поколения русской интеллигенции, Анатолий Аносов оставил замечательные портретные образы товарищей по книжному цеху Владимира Жемчужникова, Лины Иоффе, Бориса Роттенфельда и немного грустный по настроению «Автопортрет» в ироническом окружении «нимба» из старых советских денежных знаков. Эти выполненные в безупречной классической манере, строгие по форме и правдивые по психологическому рисунку образы многое говорят о личности самого художника, вся жизнь и творчество которого были освещены высоким нравственным смыслом.

Среди множества графических портретов художника выделяются портреты «байкальских аборигенов» — легендарных капитанов В. В. Стрекаловского и И. Г. Логинова, с которыми художник был связан по месту своей творческой прописки в поселке Байкал — в распадке Щелка. Эти небольшие по размеру портреты являются, по сути, портретами историческими — запечатленными образами мужественных и человечных «тружеников моря». Байкал был для художника заповедной, глубоко личной страницей жизни. Здесь художник обрел душевный покой и погружался в состояние лирического созерцания местных пейзажей и неспешного сельского быта. Из расположенной на солнечной стороне распадка «усадьбы» художника был виден треугольник Байкала, а на аккуратно возделанных грядках Анатолий Аносов собственноручно выращивал цветы, а потом их писал наряду с дикорастущим разноцветием. Там же, во дворе, под старым раскидистым деревом А. Аносов написал свой живописный «Автопортрет» («Раздумье») с заготовленным для новой работы чистым холстом. В этом простом с виду портрете автор решает задачу повышенной сложности: создает психологический портрет в стилистике русской пленэрной живописи (эта национальная особенность русской пленэрной традиции сложилась в последние десятилетия XIX в.).

Пленэрно «рефлексирующий» колорит произведения, сдержанный по своей световой температуре, парадоксальным образом не противоречит рельефной, осязаемой пластической структуре полотна, создавая в совокупности особую лирическую среду, акцентируя сосредоточенное, «размышляющее» состояние художника.

...В низине тихой и уютной Щелки с ветшающими избами, сараями и заборами протекает быстрый, прозрачный ручей, устремляющийся к Байкалу, а с его недалекого берега открываются чудесные виды и ландшафты. Камерные щелкинские мотивы или эпические просторы Байкала, выстроенные из вечных блоков материи воды, неба и скал, художник писал на протяжении всей жизни в своей излюбленной классической «объективной» манере. Однако в этой художественной «объективности» полотен заключена волнующая глубина переживаний художника, его спокойное и мудрое принятие действительности и вера в спасительную силу красоты. От созерцания графических и живописных творений замечательного мастера, по точному и взволнованному определению Марка Сергеева, «ощущаешь, что выходишь в мир обновленным, обнаженным, просветленным, точно сказал тебе художник на прощание заповедное, долго лелеемое, столь нужное каждому из нас душевное доброе слово».



АВТОРЫ НОМЕРА

Аргунов Алексей родился в 1972 г. в Барнауле. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Печатался в журналах «Ликбез», «Огни над Бией». Живет в Барнауле.

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Прозаик, драматург. Пьесы поставлены в театрах РФ и ближнего зарубежья. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия», «Сюжеты». Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Блынская Екатерина Николаевна родилась в 1979 г. в Москве. Окончила Литературный институт, Высшие литературные курсы. Работала в театре, затем в газете в г. Осинники Кемеровской области. Публиковалась в изданиях «День и Ночь», «Нева», «Литературная Россия» и др. Автор четырех поэтических сборников. Живет в Москве.

Владимиров Сергей родился в Новосибирске в 1977 г. Журналист, писатель, поэт. Долгое время работал на телеканале ОТС (Новосибирск), автор и ведущий телепрограмм «Итоги недели», «Многоточие». Живет в Новосибирске.

Высоцкая Татьяна родилась в с. Черемичкино Кемеровской области. Окончила Новокузнецкий педагогический институт, Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работала в Новокузнецком художественном музее научным сотрудником, преподавателем истории и теории искусства в НГПИ. Член Союза художников России. Живет в Новокузнецке.

Драница Тамара Григорьевна родилась в 1948 г. в Улан-Удэ. В 1979 г. окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. Искусствовед, старший научный сотрудник Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Живет в Иркутске.

Куняев Сергей Станиславович родился в 1957 г. в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного университета. Критик, литературовед, заведующий отделом критики журнала «Наш современник». Автор ряда книг по литературоведению. Лауреат нескольких литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Лобанова Елена Александровна родилась в Краснодаре. Окончила музыкальное училище по классу фортепиано и филологический факультет Кубанского университета. Работала концертмейстером, учителем русского

языка. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Автор нескольких книг прозы. Член Союза российских писателей. Живет в Краснодаре.

Магалиф Юрий Михайлович (1918—2001) — поэт и прозаик. Родился в Петрограде. Учился в Ленинградском театральном институте. В 1941 г. был осужден по 58 статье и выслан в лагерь под Новосибирском. После освобождения остался в городе. Работал почтальоном, маляром, тренером по плаванию, бетонщиком, портовым грузчиком. Около 40 лет отдал профессии артиста-чтеца, работая в Новосибирской филармонии. Автор многих прозаических книг для детей и взрослых, а также нескольких поэтических сборников, изданных в Новосибирске.

Немарская Марина Андреевна родилась в 1985 г. в Ленинграде. Училась в СПбГУ и Литературном институте. Ведет частную преподавательскую практику. Публиковалась в «Литературной газете», в журналах «Дети Ра», «Нева» и др. Финалист международной премии «Эмигрантская лира». Живет в Санкт-Петербурге.

Нервин Валентин Михайлович родился в 1955 г. Член Союза российских писателей, автор 12 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им. Н. Лескова (Россия) и им. В. Сосюры (Украина), Международной Лермонтовской премии и др. Стихи переводились на английский, немецкий, румынский, украинский языки. Живет в Воронеже.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдбери и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Румянцев Дмитрий Анатольевич родился в 1974 г. в Омске. Окончил философский факультет Омского педагогического университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир» и др. Автор трех поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2005). Член Союза российских писателей. Живет в Омске.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 05.05.2018 г. Дата выхода № 6 за 2018 г. в свет 04.06.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.